

**АМЕРИКАНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ
В КРАСНОЙ АРМИИ**

**НА ЛИНИИ
ФРОНТА**



**ПРАВДА
О ВОЙНЕ**

НА ЛИНИИ ФРОНТА

ПРАВДА О ВОЙНЕ

Никлас Бурлак

АМЕРИКАНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ В КРАСНОЙ АРМИИ



**НА Т-34 ОТ КУРСКОЙ ДУГИ ДО РЕЙХСТАГА.
ВОСПОМИНАНИЯ ОФИЦЕРА-РАЗВЕДЧИКА**

1943—1945

Н. Бурлак



**НА ЛИНИИ ФРОНТА
ПРАВДА О ВОЙНЕ**

Никлас Бурлак

**АМЕРИКАНСКИЙ
ДОБРОВОЛЕЦ
В КРАСНОЙ АРМИИ**

**НА Т-34 ОТ КУРСКОЙ ДУГИ ДО РЕЙХСТАГА.
ВОСПОМИНАНИЯ ОФИЦЕРА-РАЗВЕДЧИКА**

1943—1945



Москва
ЦЕНТРОЛИГРАФ

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622
Б91



Охраняется законодательством РФ
о защите интеллектуальных прав.
Воспроизведение всей книги или любой ее части
воспрещается без письменного разрешения издателя.
Любые попытки нарушения закона
будут преследоваться в судебном порядке.

Серия «На линии фронта. Правда о войне»
выпускается с 2006 года

*Авторизованный перевод с английского
А.В. Казакова*

*Разработка серийного оформления
художника И.А. Озерова*

Бурлак Н.Г.
Б91 Американский доброволец в Красной армии. На
Т-34 от Курской дуги до Рейхстага. Воспоминания
офицера-разведчика. 1943—1945. — М.: ЗАО Из-
дательство Центрполиграф, 2013. — 316 с. — (На
линии фронта. Правда о войне).

ISBN 978-5-227-04323-8

В ваших руках удивительное свидетельство о Великой Отечественной войне — воспоминания американского гражданина Никласа Бурлака, волею судьбы с семьей оказавшегося в 1930-х годах в Советском Союзе и разделившего горькую судьбу нашей страны в 1940-х. Автор несколько раз был тяжело ранен, дважды терял в бою экипаж своей тридцатьчетверки. Он уверен, что жизнью своей обязан большой любви, неожиданно встреченной им в совсем неподходящей для этого военной обстановке, но однажды трагически оборвавшейся. Никлас Бурлак прошел через крупнейшие сражения второй половины Великой Отечественной войны — Курскую битву, освобождение Белоруссии и Польши, взятие Берлина. В мае 1945 года он, как и многие советские воины, на стенах Рейхстага кратко описал свой путь от родного дома до логова врага. У Никласа Бурлака надпись начиналась очень необычно для советского офицера: «Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A.». В США эту замечательную книгу в 2010—2012 годах автор издал под именем М.Дж. Никлас, увековечив в псевдониме память двоих своих братьев Майка и Джона, также хлебнувших все «прелести» советской жизни.

УДК 94(47).084.8
ББК 63.3(2)622

- © В.Н. Бурлак, 2013
- © А.В. Казаков, авторизованный перевод с английского, 2013
- © ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2013
- © Художественное оформление серии, ЗАО «Издательство Центрполиграф», 2013

ISBN 978-5-227-04323-8

АМЕРИКАНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ В КРАСНОЙ АРМИИ

**НА Т-34 ОТ КУРСКОЙ ДУГИ ДО РЕЙХСТАГА.
ВОСПОМИНАНИЯ ОФИЦЕРА-РАЗВЕДЧИКА**

1943—1945

Приношу благодарность редактору этой книги Кэтрин Райт, а также моим родственникам и друзьям в США и бывших республиках Советского Союза, которые были первыми ее читателями, еще в рукописи: Уильяму Тимпсону, Гейлмари Киммел, Соне Бошко, Грегу Кингу, Науму Хомскому, Пийту Сигеру, Марку Соломону, Гарри Доттерманну, Келли Тимпсон, Софии Кугель, Валерии Бурлак, Дороти Литт, Мартину Шоцу, Ави Хомской, давшим мне немало ценных советов и замечаний.

М.Дж. Никлас

*Ньютон, США
Июнь 2009 г.*

ПРЕДИСЛОВИЯ К АМЕРИКАНСКОМУ ИЗДАНИЮ

Человек мира, воин мира

Вам предстоит встреча с человеком интересной и невероятно сложной судьбы, который трижды оказывался на краю могилы. Приятели и друзья зовут его просто Никлас, а литературный псевдоним его — М.Дж. Никлас.

Он родился в городе Бетлехеме, в графстве Нортхемптон штата Пенсильвания, в Соединенных Штатах Америки. Там он прослыл «истребителем крыс»: из снайперской пневматической винтовки научился бить крысу в глаз, как охотники в Сибири добывают белок.

А на Бродвее, в Нью-Йорке, его стали называть художником-моменталистом. На Украине, в Донбассе, он стал ворошиловским стрелком. В Актюбинске Казахской ССР он работал художником-оформителем областного кинотеатра «Культ-Фронт».

В Москве же он был курсантом военной спецшколы № 3 Центрального штаба партизанского движения.

В июле—августе 1943 года Никлас стал участником величайшей танковой битвы на Курской дуге.

Он был тяжело ранен, с полной потерей сознания. Похоронная команда сочла его убитым. С него, как положено, сняли жетон. Его матери отправили похоронку: «Пал смертью храбрых». Однако Никласу не суждено было оказаться зарытым в землю. Его спасла «принцесса Оксана», медсестра — первая фронтовая любовь Никласа.

Осматривая со своей санитарной группой поле боя, она обнаружила будущего автора этой книги на краю братской могилы, прильнула к его груди — и почувствовала едва заметное биение сердца...

В июле 1944 года Никлас участвовал в освобождении заключенных из немецко-фашистского концлагеря смерти Майданек.

В конце февраля 1945 года в Померании он освободил из лагеря военнопленных несколько тысяч американских и британских летчиков.

В начале марта 1945 года между городами Альтдамом и Штутгартом Никлас со своим танковым экипажем спас американского летчика-истребителя из штата Массачусетс капитана Ричарда О'Брайна, сбитого «Мессершмиттами».

Участвуя 862 дня в сражениях против немецко-фашистских агрессоров, он был четырежды ранен и дважды контужен, но каждый раз снова и снова возвращался на передовую.

Его не призывали на военную службу. В Красной армии он был американским добровольцем, так как агрессоры покушались не только на страны Западной и Восточной Европы, но и на его родину — Соединенные Штаты Америки.

2 мая 1945 года на одной из колонн Рейхстага среди автографов, оставленных советскими солдатами и офицерами на русском, белорусском, украинском, казахском, армянском, грузинском и других языках СССР, появилась надпись и на английском, выцарапанная осколком снаряда. Это был автограф армейского разведчика М.Дж. Никласа.

Вся его послевоенная жизнь в СССР была связана со сценическим искусством и международным культурным обменом со многими странами мира. В Кремлевском дворце съездов и на сценических площадках столичных городов союзных республик в постановке Никласа шли театрализованные представления и спектакли: «Мелодиа де Верано», «Золотая осень», «Вам улыбаются звезды», «Подмосковные вечера», «Приключения Николки-космонавта» и др.

Вернувшись на родину, в Штаты, он пишет и представляет в Бостоне на английском языке свою устную трилогию *The Death of a Giant* и пьесу *Wish You All a Happy New Year!*

В настоящее время Никлас работает над продолжением книги *LOVE & WAR* и пишет серию непридуманных новелл под общим названием: «Янки в стране большевиков, или Сага о Бурлаках». Эту серию новелл Никлас называет своей «лебединой песней».

Грег Кинг, писатель

Бостон, США

Июнь 2009 г.

Американец, защищавший советскую землю

Что может быть лучшим поводом написать мемуары, как не увиденные собственными глазами жестокость, деструктивность и ужасы войны? Что может быть лучшим поводом, как не желание заполнить большие лакуны в знаниях молодежи разных стран: не каждый юноша и девушка расскажет сегодня о том, кто с кем воевал и кто победил во Второй мировой войне. Кто может лучше других рассказать об огромном вкладе советского народа в дело победы над фашизмом, как не американец, который был участником той войны в качестве добровольца Красной армии, несколько раз был ранен, стал свидетелем немецко-фашистских зверств в лагерях смерти и который вместе со своими товарищами по оружию завершил победные сражения у стен берлинского Рейхстага. Все это вы найдете в монументальной книге М.Дж. Никласа «Любовь и война».

Работа автора исследует противоречивую, казалось бы, взаимоисключающую и, вместе с тем, неразрывную связь между любовью и войной. Страстная любовь молодого Никласа к юной и красивой медсестре, его глубокое уважение к товарищам по оружию в разгар трагических событий — все это подтверждает неуправляемый потенциал человеческого существа в его стремлении пре-

одолеть ужасы войны и выйти на качественно более высокий уровень людской солидарности.

Мы должны знать суровую правду о трагедиях той войны. Нам нужна новая эпоха прочного мира. Всем нам необходимо прочесть и поразмыслить над искренней, щемящей мемуарной работой М.Дж. Никласа.

*Профессор Марк Соломон,
автор книги *The Cry Was Unity**

ОТ АВТОРА

Всю жизнь я веду дневники, записываю все интересное и значительное, происходящее вокруг меня. Некоторые дневники сохранились, другие пропали, но все равно у меня их накопилось немало. Мои записи времен той, как ее называли, «священной войны» — это заметки обычного 17—19-летнего парня, оказавшегося в необычной ситуации, — записки американского добровольца, воевавшего с фашистскими агрессорами в рядах советской Красной армии и оставшегося живым.

О событиях, свидетелем и участником которых мне довелось тогда быть, я бы сегодня написал несколько иначе, чем сделал это тогда, во время войны. Блокноты более шестидесяти лет пылились в таком же старом, как и они, чемодане. Страницы в них пожелтели и стали хрупкими. Долгое время меня терзали сомнения: кому они нужны? Ведь на эту тему уже написано художественной и документальной литературы — море; фильмов и пьес о любви и о той войне — не счесть...

Но теперь все чаще и чаще из жизни уходят мои боевые товарищи. И вскоре, подумал я, в живых не останется подлинных свидетелей и очевидцев, способных рассказать правду о той войне и опровергнуть вымыслы многих горе-историков, вешающих молодым людям на уши лапшу гуще той, которую придумывал сам министр нацистской пропаганды Геббельс. Именно это заставило меня обратиться к моим старым блокнотам и написать настоящую книгу.

Для начала своего повествования я решил взять последнюю страницу блокнота:

9 мая 1945 года
Берлин, Германия

Спустя неделю после капитуляции группировки немецко-фашистских войск в Берлине к зданию Рейхстага прибыла группа советских военных корреспондентов, получивших задание описать празднование Дня Победы. На площади перед Рейхстагом толпились тысячи солдат и офицеров, водка лилась рекой по случаю взятия столицы гитлеровской Германии. Среди прибывших газетчиков был и Борис Полевой — известный журналист из «Правды», автор «Повести о настоящем человеке». Главы из нее мы читали в каждом номере газеты, у красноармейцев эта повесть пользовалась большой популярностью.

Полевой перевел взгляд с ликующей толпы и с изумлением стал рассматривать стены Рейхстага. Перед ним были «автографы» солдат и офицеров Красной армии, штурмовавших Берлин. Их было много тысяч снаружи здания и внутри от пола до потолка. Солдаты писали и вырезали свои имена чем только было можно: в ход шли ножи, штыки, осколки снарядов, стреляные гильзы, краски, чернила, жидкая смола... Всем им хотелось оставить след, запечатлеть имена победителей немецко-фашистских агрессоров.

— Гляньте-ка! — воскликнул Полевой, увидев необычный автограф на восточной стене Рейхстага. — Что за чертовщина!

Текст был написан не славянской кириллицей, не армянским, грузинским, не узбекским или казахским шрифтом, а по-английски.

— Видали, а? — Полевой снова обратился к своим спутникам. — Как, вы думаете, этот янки оказался 2 мая в Берлине? Нам ведь говорили, что американцев или англичан тогда не было здесь, только наши.

Автограф, так удививший тогда Бориса Полевого, и не только его, был действительно странным. На стене Рейхстага было выведено:

**Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A. — Makeevka, Donbass,
Ukraine — Aktyubinsk, Kazakhstan — Berlin, Germany.
2 May 1945 Nicholas**

(Бетлехем, Пенсильвания, США — Макеевка, Донбасс,
Украина — Актыубинск, Казахстан — Берлин, Германия.
2 мая 1945 Никлас)

— Бетлехем, Пенсильвания, США? — переспросил Полевой. — Не там ли крупный сталелитейный завод Америки? Может быть, этот американец приехал на Украину, чтобы строить такой же в Макеевке?

— Ну да, как многие иностранцы в 20—30-х годах, — подхватил другой корреспондент. — Шпионить. Слушайте, — продолжал он, — а ведь после Макеевки он оказался в Актыубинске. Не удивлюсь, если узнаю, что его сослали.

— Предположим, — сказал Полевой, — его выслали. Но как он оказался здесь, в Берлине, с Красной армией, 2 мая?

— Может, со штрафбатом? — предположил корреспондент.

— Возможно, возможно, — задумчиво молвил Полевой. — А все же, сдается мне, интересная история за этим автографом. Надо бы разыскать этого человека во что бы то ни стало.

Свидетелями этого разговора был я, мой начальник и другие офицеры отдела разведки 2-й гвардейской танковой армии.

— Почему бы тебе не сказать Борису Полевому, что ты являешься автором этого автографа? — спросил меня начальник.

— Боюсь, используют и извратят сюжет, — ответил я полушутливо. — Он мне самому когда-нибудь пригодится...

М.Дж. Никлас

*Ньютон, Массачусетс
Июнь 2009 г.*

Сороковые,
мною не забытые,
словно гвозди, в меня забитые...

Юрий Левитанский

9 февраля 1943 года
Московская военная спецшкола Центрального
штаба партизанского движения

Сегодня в шесть утра радио передало добрую весть от Советского информбюро. Диктор Юрий Левитан знакомым всей стране баритоном сообщил, что советские войска Воронежского фронта под командованием генерала Ивана Черняховского двумя ударными группами полностью освободили старинный русский город Курск от немецко-фашистских захватчиков.

Оккупация города длилась 463 дня. За это время более 2 тысяч курян было замучено и застрелено немцами, 10 тысяч человек угнано на принудительные работы в Германию и еще столько же умерло в Курске от эпидемий и голода. Уходя из города, немцы сожгли или взорвали все многоэтажные жилые дома, здания мединститута и пединститута, все школы и библиотеки, Дома культуры, собор, театр и цирк.

Я вспомнил, как полтора года назад, в самом начале Великой Отечественной войны, я попытался попасть на фронт в качестве снайпера. На моем счету к тому времени было участие в двух командных первенствах старшеклассников Совколонии (района Макеевки), а позже и самого города по стрельбе из мелкокалиберной винтовки и еще почетный знак «Ворошиловский стрелок». Я пришел в горвоенкомат с заявлением и удостоверением, как мне тогда казалось, настоящего снайпера, а также собственноручно заполненным личным листком по учету кадров. Со мной были мои верные друзья — Шурка, Борис и Толя.

Мы подошли к дежурному, подали ему свои документы и рассказали ему биографию Аркадия Гайдара. Он, едва заметно усмехнувшись, дал нам личные листки по учету кадров. Мы их заполнили, расписались, и он с нашими документами куда-то ушел. Вернувшись, всем, кроме меня, вернул документы и выдал повестки на медицинскую и какую-то «мандатную» комиссии, которые должны были определить, в какие военные училища можно нас направить.

— А мои документы где? — удивился я.

— Они у военкома майора Баева. Будете говорить с ним. Идите прямо по коридору. Последняя дверь справа.

— Счастливчик! — шепнул мне Шурка. — Тебя, как лучшего снайпера в Совколонии, направят, наверное, прямо на фронт; а нам — неизвестно, сколько в училищах еще торчать!

Подошел я к заветным дверям. Стучу. Молчок. Стучу громче. Снова молчок. Открываю дверь и вхожу в кабинет. Военком сидит и рассматривает какие-то документы. На столе слева от него горит настольная лампа с зеленым абажуром. Всю ночь, наверное, работал, бедняга, подумал я. Над ним на стене портрет Сталина, написанный маслом. На противоположной стене профили Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина, написанные на холсте сухой краской вразтирку. На столе справа от него бронзовый бюст Сталина. Сам военком весь в бумагах. На меня никакого внимания не обращает. Я громко кашлянул. Он поднял голову и посмотрел на меня с удивлением:

— Кто такой? Как здесь оказался?

Я доложил о себе по всей форме, как учил нас Гришка-бабник. Военком нашел на столе мои документы: паспорт, заявление, удостоверение ворошиловского стрелка и заполненный мною личный листок по учету кадров. Долго читал мой личный листок. Я обратил внимание на его нос. «Он как у композитора Мусоргского на картине Репина: большой, красноватый и еще с темными крапинками», — отметил я.

— За границей родился?

— Так точно, товарищ майор!

— В Америке, значит?

— Так точно, товарищ майор, в Америке! Товарищ Сталин во вчерашней речи сказал, что на стороне СССР народы Европы и Америки...

— Родственники за границей имеются? — не дав мне закончить, спросил носатый военком.

— Имеются, товарищ майор! — ответил я и добавил, полагая, что это меня оправдывает согласно политике пролетарского интернационализма: — Моя старшая сестра Энн — национальный секретарь текстильных рабочих Америки! За профсоюзную деятельность ее намеревались сжечь на электрическом стуле в Атланте, штат Джорджия.

— В переписке с заграницей состоишь?

— Так точно, товарищ майор! Но только со старшей сестрой Энн по кличке Red Flame («Красное пламя»)...

Я заметил, что каждый раз, когда я произносил «товарищ майор», его вроде бы передергивало. Я даже подумал, что может мне сказать: «Тамбовский волк тебе товарищ!»

Я ненамного ошибся.

— Забирай свои документы и мотай отседа. Красная армия не нуждается в иностранцах! — грубо произнес майор Баев.

Обозлившись на грубияна, я указал на профили «классиков марксизма-ленинизма»:

— Как же в таком случае прикажете мне понимать учение Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина о пролетарском интернационализме, товарищ майор? Почему в каждом номере газеты «Правда» на первой странице сверху мы видим призыв: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»? Вернусь домой и напишу товарищу Сталину письмо. И напишу ему, что товарищ майор Баев не совсем правильно понимает, к чему призывает всех газета «Правда».

— Что-что? Что ты, падла американская, сказал? Жаловаться на меня — майора Красной армии? — взорвался он. Его лицо при этом покрылось багровыми пятнами. Он встал с кресла и шагнул ко мне, положив правую руку на кобуру, из которой торчала ручка нагана. — Я сказал: забирай свои сраные документы и уябуй отседа к е... матери, пока я не сделал большую дыру в твоём американском черепке!

Мой Пап меня учил: если видишь, что тебе кто-то по-настоящему угрожает, — бей первым.

Я посмотрел на бронзового Сталина и подумал: «Вот если бы я успел схватить его и врезать военкому по носу, успеет ли он сделать дыру в моем американском черепке?»

Но здравый смысл взял верх над эмоциями. Вместо бюста Сталина я схватил свои документы и опрометью выскочил из Макеевского военкомата.

— Ну что, Ник, тебя шлют прямо на фронт? — спросили ждавшие меня ребята.

— Он настоящий враг народа! — выпалил я, трясаясь от негодования.

— Но-но, Ник, — произнес Шурка. — Ты с такими словами поосторожнее. Не то знаешь куда можно загреметь?

— Я все равно буду на фронте, — твердо заявил я. — Вот увидите!

Теперь я почти у цели. Благодаря случайной встрече (о которой я еще скажу ниже) со знаменитым писателем-орденоносцем Алексеем Николаевичем Толстым, замолвившим за меня словечко «где надо», меня направили на учебу не куда-нибудь, а в «специальную и совершенно секретную» школу диверсантов, располагавшуюся в центре Москвы.

В этой школе мы занимались по четырнадцать часов в сутки без выходных и без увольнительных: учились азбуке Морзе и владению телеграфным ключом и портативными радиостанциями «Северок» и «Белка», стрельбе из различного советского и трофейного немецкого огнестрельного оружия, подрыву железнодорожных путей и мостов, вождению различных транспортных средств, прыжкам с парашютной вышки в Измайловском парке.

23 февраля 1943 года

День Красной армии и Военно-морского флота

По случаю празднования дня Красной армии наши занятия отменили. Всех курсантов заставили мыть полы, окна, стены, двери в аудиториях, комнатах, коридорах.

— К нам по случаю праздника, — озираясь, полушепотом сообщил старшина, — на торжественное собрание приезжают высокие гости. Все должно сверкать.

— Кто приезжает?

— Это большой секрет! — ответил старшина.

Мы поняли, что он сам не знает точно, кто к нам приезжает.

Уборкой 30-й аудитории вместе со мной занималась моя сокурсница, красивая девчонка Ада Рокоссовская. Ее фамилия была громкой и широко известной, так как генерал Константин Константинович Рокоссовский был участником разгрома немецко-фашистских войск под Москвой и затем командующим Донским фронтом в Сталинградской битве. Он лично пленил и разоружил немецкого фельдмаршала Паулюса. Но Ада никогда не говорила мне, что она родственница генерала. Я думал, что вряд ли такой известный генерал, как Рокоссовский, отдал бы свою дочь или просто родственницу учиться в особо опасной и секретной партизанской школе, как наша. Если кто-либо спрашивал Аду, не родственница ли она Рокоссовского, она отвечала коротко и просто: «Мы однофамильцы».

А во время уборки 30-й аудитории она спросила меня:

— Вальс-бостон вечером станцуем?

— С тобой, Ада, — всегда с огромным удовольствием! — обрадовался я.

Вечерами по воскресеньям у нас в большом актовом зале устраивали танцы. Парней в школе было много, а девчонок мало. Чтобы привлечь к себе внимание Ады, я рассказал ей как-то все, что знал о вальсе-бостоне и о его авторе. О том, что танец появился на свет в 1872 году в американском городе Бостоне, куда из Вены на гастроли в Америку приехал всемирно известный король вальсов Иоганн Штраус. В Советском Союзе музыка Штрауса стала особенно популярной после того, как в 1940 году на экранах страны с ошеломляющим успехом прошел американский фильм «Большой вальс» с участием Фернана Гравея в роли Штрауса, Милицы Корбюс в роли Карлы Доннер и Луизы Райнер в роли жены Штрауса.

— Фильм этот в Америке получил сразу три «Оскара», — с многозначительным выражением лица сообщил я Аде.

— Откуда ты все это знаешь? — спросила она.

— Мне об этом рассказала моя старшая сестра Энн. Она же меня научила танцевать танго и вальс-бостон. Да так здорово у меня стало получаться, что в начале июня 1941 года мы с моей одноклассницей и партнершей Инной Керн-Быковой завоевали первый приз. Это было на танцплощадке в Макеевке. Да, первый приз — именно за исполнение танго и вальса-бостона!

Я не сказал Аде, что Энн живет в Бостоне. В нашей партизанской школе вообще никто, кроме большого начальства, не должен был знать, что я родился и жил в Америке. Никто, кроме начальства школы, не знал, что по ночам меня иногда увозили на радиостанцию имени Коминтерна, которая в то время вела на английском языке передачи на Соединенные Штаты, Канаду и Великобританию. Там я кое-что рассказывал о советском партизанском движении.

К вечеру все помещения нашей школы на Садово-Кудринской снаружи и внутри сверкали чистотой. Ровно в 18.00 на сцене актового зала в президиуме появились вместе с нашим начальством маршал Ворошилов и герой Сталинградской битвы генерал Рокоссовский. Мы вскочили и долго аплодировали, пока Ворошилов жестами не усадил нас. Но когда в зале и на сцене в президиуме все расселись по своим местам, мы с изумлением увидели между Ворошиловым и Рокоссовским нашу Аду! В зале сразу зашептали: «Смотрите, как они похожи. Это же дочь! Потому они к нам и приехали. Похожи, похожи...»

После торжественного собрания в зале все стулья раздвинули под стенки, возле больших зашторенных окон, и посередине зала образовалось пространство с до блеска натертым паркетным полом.

Ворошилов, Рокоссовский и Ада вместе с нашим школьным начальством сели в первом ряду на противо-

положной стороне от меня и группы наших курсантов — посмотреть, на что мы гожи в бальных танцах. Затем произошло самое удивительное.

Как только из динамиков послышались первые звуки венского вальса и в центре зала появились первые кружащиеся в ритме пары, генерал Рокоссовский поднялся во весь свой двухметровый рост, расправил широкие плечи и, чуть наклонив голову, протянул руку дочери. Она встала, сделала что-то наподобие книксена, и они, к изумлению всех присутствующих, грациозно вошли в круг уже начавших танцевать.

По тому, как они закружились в вальсе, стало ясно, что танцуют они вальс вместе не впервые. Генерал Рокоссовский вел свою «даму», как настоящий многоопытный кавалер. На это обратили внимание все. Мне подумалось: будь генерал не в своей ладно сидящей на нем военной форме, а во фраке и Ада в настоящем бальном платье, эта пара покорила бы и жюри, и публику любого международного конкурса бальных танцев.

Прозвучали последние аккорды вальса, и Рокоссовский проводил Аду и потом, снова чуть склонив голову, сел с ней рядом. Они обнялись и поцеловались. В зале раздались аплодисменты. Всем нам преподали прекрасный урок этики и эстетики.

Понятно, что после того первого вальса никто из наших курсантов, включая меня, не осмеливался подойти к Аде и пригласить ее на очередные фокстроты, танго, румбы и вальсы. Я смотрел издали на девушку, на Ворошилова и Рокоссовского и, грешным делом, мечтал о том, чтобы наши высокие гости поскорее (до окончания вечера) покинули школу, а у меня появилась бы возможность станцевать с Адой наш любимый вальс-бостон. «Мечты мои, мечты мои...»

И вдруг из репродукторов прозвучали знакомые нотки нашего любимого с Адой вальса-бостона. Ада, вероятно, сказала что-то смешное отцу и Ворошилову, и они рассмеялись. Она встала и через весь зал направилась в мою сторону. Ко мне или не ко мне? Когда между нами оставалось около двух метров, она протянула мне руку, сомнения мои отпали, и я шагнул к ней навстречу.

Она прижалась ко мне так тесно, что у меня закружилась голова, как от бокала шампанского. Так у меня бывало с моей макеевской партнершей Инной Керн-Быковой во время исполнения танго или вальса-бостона. Она тоже любила во время этих танцев приближаться ко мне очень, даже, пожалуй, слишком близко...

В конце этого вечера начальство школы и Ада проводили наших высоких гостей до проходной, от которой вокруг наших зданий шел высокий забор с колючей проволокой.

После проводов гостей мы с Адой встретились при погашенном свете на лестничной площадке между женским и мужским общежитиями, где она впервые поцеловала меня так, что у меня захватило дух и я боялся задохнуться. Так страстно меня еще никто не целовал. Я решил ответить тем же. Набрал полные легкие воздуха и стал так крепко ее целовать, да так, что Ада едва не потеряла сознание.

Если бы нас застукал на площадке дежурный офицер, то наказал бы и ее и меня. Но, вопреки всему, за первыми двумя поцелуями последовали еще и еще, и мы продолжали дарить их друг другу до головокружения...

10 апреля 1943 года Госпиталь в Пушкино

Лежу в палате выздоравливающих. Пытаюсь вспомнить и записать, как все было. С чего все началось?

На наши практические занятия в той части Измайловского парка, которая была абсолютно закрытой для посторонних лиц, появился совершенно незнакомый всем нам гражданский. Высокий, стройный, по-военному подтянутый. Он был одет в козий кожушок, шапку-ушанку и валенки. На руках у него были перчатки явно не советского производства. Скорее всего, американские или немецкие. Человек этот показался мне похожим на моего директора кинотеатра «Культ-Фронт» в Актюбинске. У него было такое же широкоскулое, мужественное лицо и острый взгляд. Мой директор до войны был летчиком-истребителем. А этот кто?

Незнакомец внимательно присматривался к нашим прыжкам с вышки и к тому, как мы готовили и затем подрывали учебный отрезок железнодорожного полотна. Отрезок пути, кстати, каждый раз заново прокладывали специально для наших практических занятий по подрывному делу. Мы пытались спрашивать нашего старшину, кто этот гражданский, но в ответ видели лишь указательный палец у губ и слышали что-то наподобие «тсы-с-с!». Мы поняли, что старшина и сам не знает, кто этот гражданский и почему он здесь.

На следующий день меня и еще двух курсантов нашего взвода вызвал к себе начальник школы полковник Стрельцов. У него в кабинете сидел вчерашний гость, которого нам представили Александром Петровичем, он без лишних слов приступил к делу:

— Я вчера видел, кто и как из вас прыгает с вышки, как приземляется, кто и как по-пластунски полз к железнодорожному полотну, как закладывал и маскировал взрывчатку. Одни словом, вы трое показали вполне достойные результаты. Полковник Стрельцов рассказал мне, кто из вас и как владеет советским и немецким оружием, как владеете рацией. Вы трое мне подходите... точнее — подойдете, если скажете, что готовы сегодня же ночью вместе со мной отправиться в тыл врага.

Теперь мы поняли, что перед нами — командир партизанского отряда!

Наш ответ прозвучал почти хором:

— Так точно, готовы!

Начальник школы полковник Стрельцов и Александр Петрович переглянулись и улыбнулись.

— Что я вам говорил? — произнес Стрельцов.

— Лады! — сказал Александр Петрович. — Школу покидаем через пятнадцать минут после отбоя, когда все, кроме дежурных офицеров, будут уже спать. Учтите чрезвычайно важное предупреждение: ни с кем, ни о чем не делиться, ни словом не говорить об уходе на задание. Письма не писать, все документы, личные вещи и фотографии сегодня же сдать в школьный сейф.

— А также напишите на листе бумаги и сдайте мне лично до вечерней поверки, кому и по какому адресу каждый месяц ваши шестьсот рублей... посылать... ежели что, — добавил наш начальник школы. Он посмотрел на нас внимательно и строго, потом спросил: — Вопросы или пожелания есть?

Вопросов у нас не было. А пожелание у меня лично было взять с нами на задание Аду-Адусю. Но высказать это вслух я не осмелился. Наверное, этот вопрос, подумал я, им пришлось бы согласовывать с ее отцом-генералом.

В полночь в закрытом американском «Виллисе» Центрального штаба партизанского движения нас четверых — троих курсантов и Александра Петровича — повезли от Планетария на Садово-Кудринской в сторону Калужской и далее в западном направлении. Через несколько суток комбинированного пеше-автомобильного марша мы оказались за линией фронта.

Нам дали сутки, чтобы отдохнуть и обустроиться.

Досыта выспавшись, стали знакомиться с жизнью партизанского отряда. Расспрашивали о том о сем мужчин и женщин, молодых и старых. Каждый рассказывал свою историю о том, как и почему он оказался в партизанском отряде.

В общении с партизанами я убедился в том, что АП (так в отряде звали Александра Петровича) пользуется уважением в отряде. В целом же жизнь партизан была тяжелой, и это было видно во всем: в суровые морозы они ютились в землянках, жили впроголодь. Их жизнь была, по сути, ежедневной игрой со смертью. Сейчас, когда я вспоминаю те дни, мне на ум приходит строчка из Хемингуэя: «Мужчины, никогда прежде не воевавшие, не умевшие обращаться с оружием, хотевшие лишь получить еду и работу, продолжали сражаться». Это и про наших партизан тоже.

На следующий день — было три часа пополудни — АП позвал нас, троих добровольцев, к себе.

— Сейчас ложитесь поспите, — сказал он, — а в девять вечера пойдете со мной на всю ночь. Предстоит важное

задание. Холодает, к вечеру может быть до минус сорока. Проверьте обмотки и валенки. Все должно быть совершенно сухим.

Как состояние обуви и обмоток может быть связано с важностью ночного задания? Это я понял, увы, с опозданием.

Спать мы не пошли, я никогда днем не ложился даже подремать. Нам было гораздо интересней походить втроем по лагерю, посмотреть, как живет отряд. Увидели нескольких мужчин, недавно вернувшихся в лагерь и теперь чинивших свои овчинные тулупы. Скорее всего, они повредили их, пролезая под колючей проволокой. Другая группа людей (среди них — две женщины) готовилась к выходу на очередное задание; эти партизаны тщательно осматривали свои обувь и оружие. На кухне стряпали две поварахи. Неподалеку от кухни, на опушке, стоял тщательно замаскированный самолет — «кукурузник-этажерка», предназначенный в мирное время для обработки посевов. На таких еще учились пилотировать курсанты летных школ. И это в партизанском отряде! В лесу! Никому из нас даже не снилось подобное!

Интересно, он летает? Или просто здесь ржавеет? — недоумевали мы. Подойдя поближе, мы увидели в кабине старика. На коленях он держал новехонький советский автомат.

— Вы — летчик? Летаете на этом самолете? — спросил я.

— Да не-ет, — отвечал старик. — Пилот отсыпается после ночного вылета. А я — часовой. Сторожу, значит, днем самолет.

— Часовой? А почему вы нас не остановили?

— Так вы ж свои, вчера приехали с Александром Петровичем...

— И куда же летает эта «птичка»? — спросил один из нас. — Если не секрет.

— А летает она по ночам, — сказал часовой. — Днем мессеры ее легко собьют... Знаете, а ведь эта «птичка» спасла немало жизней. Она перевозит больных и раненых партизан через линию фронта в тыловые госпитали, а возвращается со свежими газетами, журналами и почтой. И еще с новенькими автоматами.

АП не говорил нам, что в отряде есть биплан для перевозки раненых. Впрочем, с какой стати ему было сообщать нам об этом?

Время шло, быстро холодало, было уже 25 градусов ниже нуля. Ночь грозилась быть очень холодной, видать, готовилась «угостить» нас трескучим морозом. Но откладывать наше задание никто не собирался.

Мы оделись в стеганые ватные телогрейки и такие же штаны, после чего стали похожи на обычных селян. Натянули на ноги валенки с меховой оторочкой, под валенками были обмотки из шерстяной фланели. Каждому из нас выдали тонкий белый маскхалат с капюшоном на тот случай, если понадобится стать незаметным на снегу.

Опустив клапаны на ушанках из кроличьего меха, в девять вечера вышли на лыжах из лагеря. Несли взрывчатку, телефонный провод, и у каждого был такой же новенький автомат, как и у сторожившего «кукурузник» часового.

Никто не задавал лишних вопросов о том, что именно и где мы будем взрывать. Через два часа подошли к железной дороге. Только тогда АП сообщил, что, согласно разведанным, сегодня здесь между двумя и тремя ночи должен пройти на Орел немецкий воинский эшелон. Стоит он из тридцати теплушек с солдатами и множества платформ с новыми бронетранспортерами и танками. Длина поезда, сообщил АП, 500 метров. Взрывчатку нужно заложить вдоль полотна в пяти местах, на равном расстоянии друг от друга, и длина заминированного участка должна составлять полкилометра. Заряды, подсоединенные к одной подрывной машине, должны сработать одновременно. Предстояло все сделать так, как нас учили в Москве.

Работали мы быстро, всё успели подготовить вовремя. Затем залегли в снег и стали ждать появления эшелона.

— Когда состав окажется между первым и последним зарядом, замкнем цепь и взорвем путь. Все ясно? Потом быстро вернемся в лагерь, — сказал Александр Петрович.

— А если за нами погонятся? — спросил один из нас.

— О преследователях позаботились, — ответил АП. — На опушке леса наши люди заложили противопехотные мины.

Пока мы шли на лыжах, двигались, то мороза практически не чувствовали. Другое дело, когда приходилось лежать в снегу. Холод пробирался под тулупы, проникал в валенки. Мне казалось, что мои ступни и пальцы ног исколоты иголками.

Дождались трех ночи, а эшелона все не было. Продолжали еще два часа, почти до рассвета, но безрезультатно. Наконец АП решил, что либо он получил неверные сведения, либо эшелон остановлен из-за сильного мороза.

— Придется возвращаться в лагерь. Дождемся новых сведений от нашего связного, — сказал он и приказал убрать из-под полотна взрывчатку и смотать провод.

Покалывания и боли в ногах я больше не чувствовал. Попробовал встать, но ноги отказывались слушаться и словно одеревенели. Я не мог ступить и шагу. АП сразу все понял и сказал:

— Ничего, парень. Вот дело сделаем и займемся тобой.

Ошеломленный, я неподвижно лежал и смотрел на то, как мои друзья заканчивают работу без меня. И это все? А какие благородные были у меня порывы! Я чувствовал себя абсолютно беспомощным. Я — обуза для моих боевых товарищей! Мелькнула мысль: из такого положения есть лишь один выход. АП, видно, догадался о ходе моих мыслей и отобрал у меня пистолет, нож и автомат. Мои друзья смастерили из маскхалата волокушу и по очереди дотащили меня до лагеря.

Седая санитарка разместила меня в теплой землянке, стащила с меня валенки, внимательно осмотрела мои ступни, обернула каждую кусками толстого ватина, приготовила большую кружку травяного чая. Я выпил его и заснул.

Проснулся, когда уже начинало темнеть. В землянку вошел АП.

— Какая стадия? — спросил он санитарку.

— Поверхностное обморожение, — ответила она.

— Волдыри есть?

— Есть несколько штук.

— Кожа какого цвета?

— Ступни обморожены, чувствительность отсутствует, цвет кожи восковой. Надо везти его в Пушкино, и как можно скорее. Там знают, что делать.

— Мамаша, — обратился я к ней как можно вежливее; я был потрясен, — речь идет об ампутации?

— Нет-нет, не об этом, сынок, — успокоила она меня. — В Пушкине есть госпиталь для партизан. Там умеют лечить обморожения. Недели через три-четыре будешь плясать.

— Ну, счастливо, парень. Увидимся после победы, — сказал АП и вышел из землянки.

Добрая санитарка дала мне еще кружку с теплым питьем, и через несколько минут я снова уснул.

Наутро я проснулся уже в Пушкине, в госпитальной палате. Лежал в кровати с мягкими подушками, чистыми простынями и теплым одеялом.

Через три недели интенсивного лечения я уже ходил без костылей, и не только по коридорам госпиталя, но и вокруг здания. Главврач пообещал, что меня выпишут со дня на день.

— Как думаете, меня примут обратно на курсы? — спросил я его.

— Вчера мы говорили о тебе с полковником Стрельцовым, — ответил главврач. — Тебе уже взяли билет на поезд Москва—Актюбинск.

Спорить было бесполезно. Итак, меня хотят отправить обратно в Казахстан. Я недоумевал: как же так, я могу самостоятельно ходить, но меня считают непригодным к службе. Как быть? Что мне делать?

Я не спал всю ночь. Утром меня выписали и на электричке отправили в Москву. К этому времени в моей голове созрел новый план. Ладно, думал я, не все пропало. Так дело не пойдет, дорогие товарищи! Разве можно со мной так — после того, чему я учился в Актюбинске и военном училище под руководством полковника Стрельцова?! Да я соберу свои пожитки, порву ваш билет до Актюбинска, в Москве пойду в военкомат и попрошусь на фронт с первым же эшелоном. Попрошу, чтобы отправили меня на Курскую дугу, на Центральный фронт,

которым командует генерал Рокоссовский, отец Ады. Уж кому-кому, а ему-то обученные солдаты нужны позарез! ...А вдруг попросят показать паспорт? — подумал я. Ведь там на первой же странице черным по белому написано, что я родился в Соединенных Штатах. В военкомате, увидев, что я американец, откажут — так же, как уже отказали однажды в Макеевке. Решено!

Приехав утром в Москву, я вошел в первый попавшийся общественный туалет, изорвал свой паспорт на мелкие куски и выбросил. Прощай, американец! Я родился не в США, а в Макеевке! Кто проверит? Макеевка на территории, оккупированной фашистами. Я готов бить фашистов! Имею право? Имею!

На улице Горького, неподалеку от Белорусского вокзала мне на глаза попала вывеска: «Фрунзенский районвоенкомат г. Москвы». Вошел, рассказал дежурному военному с двумя «кубарями» в петлицах свою легенду и отрапортовал, мол, готов хоть сегодня отбыть добровольцем на фронт с любой маршевой ротой или маршевым батальоном. А вот ночевать мне негде: дом разбомбили. Показал значок «Ворошиловский стрелок» и удостоверение к нему. Офицер взял их и пошел к военкому. Вскоре вернулся и спросил:

— Фото есть?

— Конечно! — ответил я.

Через полчаса мне вручили красноармейскую книжку с приличной, сделанной еще в Актюбинске фотокарточкой, где я был с чубом и тонкими усиками. В книжке записали: «Доброволец-снайпер». Никаких «США» и в помине не осталось. Нерусский акцент? С Украины. Имя Никлас? Мама родом из Прибалтики. «Все путем!» — сказали бы в Макеевке.

Мне и другим новобранцам выдали форму: штаны и гимнастерки, ботинки, портянки, обмотки, шинели, пилотки, вещевые мешки, в них — НЗ (неприкосновенный запас): два больших черных сухаря, один десятисантиметровый кусок дочерна закопченной колбасы и два сухих, как камень, брикета-кирпича из перловой крупы. Из них, я знал, можно в котелке сварить две порции «кондёра», то есть перловой каши. Выдали солдатские книжки.

Все призывники были парнями моего возраста. Они рассказывали о себе. Ни у кого из них, как и у всех тогдашних сельских жителей, работников советских колхозов и совхозов, оказалось, не было паспортов вообще. Они им были просто не положены. Я рассказал свою легенду. Говорил в основном о Макеевке, о городском районе Совколония — все эти места я неплохо знал. Теперь-то, радовался я, не будут меня дразнить мерзопакостной частушкой, как было с тех пор, как наша семья приехала из Америки в СССР. Частушка была немудреной, но обидной:

Один американец
Засунул в ж... палец
И выгачил оттуда
Говна четыре пуда.

Вариант этого «шедевра»:

Один американец
Засунул в ж... палец.
И думает, что он
Заводит граммофон.

Идиотской песенкой меня изводили пацаны в Совколонии — по дороге в школу и обратно, пока я не стал носить с собой в школу мамин кухонный нож. Эти частушки «пели» вслед мне, моим братьям, отцу и маме не только в Украине. Мне их «исполняли» и в России, и даже в Казахстане. Я пытался понять, откуда в СССР такое презрительное, казалось мне, отношение к Америке и американцам? Возможно, из-за частушки из фильма «Волга-Волга»? В фильме 1938 года герой пел:

Америка России подарила пароход.
Две трубы, колеса сзади
И ужасно, и ужасно, и ужасно тихий ход!

...К 5 часам вечера 13 апреля в школе собралось около 600 человек новобранцев. Никто из них, кроме меня, не был добровольцем, все они были мобилизованы. И когда я кому-то из них сказал, что я доброволец, на меня посмотрели немного странно. Я решил больше не открывенничать на эту тему.

Все 600 новобранцев были надлежащим образом оформлены. В 7 часов вечера наш батальон построили в маршевую колонну и повели «пёхом» от Белорусской площади до Курского вокзала. Для меня и моих ног это расстояние казалось ужасно длинным. Шли по проезжей части улицы, а по тротуарам следом за нами двигалась небольшая группа женщин, девушек и мальчишек — родственники новобранцев, отправлявшихся на фронт. Этим людям хотелось насмотреться на своих близких, возможно в последний раз...

На платформе у длинного состава из теплушек я стал свидетелем грустных сцен прощания новобранцев со своими родными и близкими. Уезжающие держались как могли, а провожающие, никого не стесняясь, рыдали. Я смотрел на этих людей и думал: а что, если бы здесь оказалась Ада-Адуся, как бы я ей объяснил, что со мной произошло, почему я так внезапно исчез из нашей школы, как и почему я оказался в этой маршевой роте... И жалко, а вместе с тем и хорошо, что ее здесь не было, думал я.

Рядом со мной стоял паренек с гитарой за спиной. Его обнимала очаровательная девушка. Они целовались. Казалось, никак, никогда не смогут расстаться. В ее глазах стояли слезы, но было в них и еще что-то, что я не сразу понял. Она смотрела на него с восхищением. Влюбленные...

Прозвучала наконец команда «По вагонам!!!», и новобранцы стали заполнять теплушки. Толпа отпрянула, и поезд медленно двинулся вдоль перрона на юг. Парень с гитарой оказался в нашем вагоне.

До Подольска все мы сидели в нашей теплушке молча, на полу и на верхних полках, устланных старой, может быть, позапрошлогодней соломой. Но после Подольска, когда все поняли, что нас везут на юг, паренек взял гитару, прозвучало несколько аккордов... И вдруг он запел негромким, но чистым голосом.

Это была песня на известные всем нам стихи Константина Симонова, посвященные звезде советского экрана Валентине Серовой.

Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди.
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Слова брали за душу. Это потрясающей глубины и сердечности стихотворение Константина Симонова после публикации в «Правде» в 1942 году лежало, наверное, в нагрудном кармане у каждого фронтовика от рядового солдата до маршала. Его учили наизусть и повторяли в письмах с передовой. Его знали и в отряде Александра Петровича. Со словами все было ясно, но — мелодия! Мелодия, которую пел паренек с гитарой, нам очень понравилась.

За время жизни в Советском Союзе я узнал и полюбил музыку замечательных композиторов. Первой из всех была «Песня о встречном» Шостаковича, потом песни Дунаевского и Блантера, Фрадкина и Шамо, Богословского и Колмановского. Кто же был автором этой? Я спросил паренька, когда он закончил петь:

— Скажи, а кто автор мелодии, Дунаевский или Фрадкин?

Парень опустил глаза и тихо произнес:

— Я...

Несколько человек, включая меня, чуть не хором переспросили:

— Что? Что ты сказал?

— Это моя мелодия, — так же тихо и скромно ответил парень.

— Как тебя зовут? — спросил я.

— Родители и моя зазноба в Гнесинке — вы ее видели, на перроне — зовут меня так: Сашок.

— Спой нам еще что-нибудь свое, Сашок, — попросил его кто-то со второй полки.

Сашок подумал немного и сказал:

— Эти слова вы все хорошо знаете, но вместо мелодии, которая у всех вас на слуху, я сочинил свою.

И он запел песню, слова которой всем нам были давно известны, но музыку мы слышали впервые:

Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону.
Уходили комсомольцы
На Гражданскую войну.
Уходили, расставаясь,
Покидая чудный край.
Ты мне что-нибудь, родная,
На прощанье пожелай.
И родная отвечала:
«Я желаю всей душой,
Если смерти, то мгновенной,
Если раны — небольшой»

— Потрясающе! — воскликнул кто-то.

Я был полностью согласен с такой оценкой.

Похоже, подумал я, с нами в теплушке едет на фронт будущий великий композитор. Не случайно его приняли в известное Гнесинское училище. Может, зря его отпустили на фронт, человека такого редкого таланта? Слушая замечательные мелодии и стихи в исполнении Сашка, мы и думать забыли о том, в каких неудобных, мягко говоря, условиях едем и не знаем точно, куда, на какой из южных фронтов нас везут.

В центре теплушки была железная печурка. По бокам — три полки. Первая — чуть выше пола; вторая — повыше; и третья под потолком. Двадцать пять человек по одну сторону, по другую — столько же. Печка не топилась. При таком количестве людей в этом весьма ограниченном пространстве и апрельской погоде затапливать печурку не было смысла.

Нам повезло. За всю ночь наш эшелон ни разу не попал под бомбежку. На рассвете остановились на небольшой станции. Сашок отложил гитару, выглянул из вагона и воскликнул:

— Ух ты! Это же мой родной город, это Елец! Вон там наш дом, а это — речка Сосна. — Он произнес название речки с ударением на первый слог. — Мы летом всегда

приходили на Сосну ловить рыбу и купаться. Вода здесь до войны всегда была чистой и холодной. Знаете, ребята, ведь Елец, — продолжал Сашок, — это один из самых старых русских городов. Когда-то здесь была крепость, она защищала Россию от набегов половцев. А в XIV веке эту крепость все-таки взял Тамерлан...

Я понял, что Сашок — не только одаренный композитор и исполнитель замечательных песен, но еще и любознательный, начитанный парень. Если командование соединения, в которое мы поступаем, не возьмет Сашка во фронтальной ансамбль песни и танца, думал я, то совершит большую ошибку. Ведь песни Сашка подняли наше настроение, а значит, и боевой дух. Я, благодаря ему, на какое-то время забыл о боли в ногах. Будь бы моя воля, я бы без сомнений определил Сашка в ансамбль Александра. Его место там, а не на передовой, где может с ходу погибнуть такой талант.

В 6 часов утра командир маршевого батальона, майор Фастов, объявил, что наш эшелон простоят здесь до вечера и двинется дальше, как только небо начнет темнеть. Мы вышли из вагонов, стали собирать сухие ветки, какие-то деревяшки, чтобы развести костер и приготовить завтрак. Вдруг Сашок закричал что было сил:

— Мама! Мамуся! Мамочка!

После этих криков он ошалело помчался через поле к женщине, которая появилась из-за домишек, стоявших на окраине Ельца, и теперь спешила к нему навстречу с протянутыми вперед руками,

Мы с изумлением наблюдали эту сцену. Возгласы Сашка удивили новобранцев, которые в это время выбирались из теплушек эшелона. Очень нежно, но при этом почти по-детски обращался сын к матери.

Потом Сашок рассказал нам, что мама всю неделю приходила на этот елецкий полустанок, осматривая все останавливавшиеся здесь эшелоны — в надежде встретить сына. И вот сегодня ей, наконец, несказанно повезло. Сашок из Москвы отправил ей письмо, где писал, что поедет на фронт, но точной даты не знал и не был уверен, что эшелон по пути окажется здесь. Но вот как все удачно сошлось.

Мать и сын сидели, обнявшись и разговаривая, на скамье у последнего домишки на окраине Ельца, примерно в 800 метрах от поляны, на которой новобранцы со всех вагонов разводили костры и в принесенной с полустанка воде варили в новеньких блестящих котелках «кондёр» из своих НЗ-брикетов.

Кстати, кроме каши, нам разрешили съесть по сухарю и половину той самой, твердой как камень, колбасы. Чай, заваренный все в том же котелке, из которых перед этим ели «кондёр», был с ароматом каши, но и ему были рады.

В середине дня майор Фастов собрал весь батальон и рассказал нам, как вести себя в случае налета вражеской авиации в дневное и в ночное время.

— Вам всем следует бежать врассыпную и, услышав свист летящих бомб, бросаться на землю плашмя. Так вы сохраните себя от осколков, — объяснял майор, который наверняка сопровождал на фронт не один маршевый батальон и не один эшелон. И, кроме того, сам, надо полагать, не раз попадал под бомбежку. А стрелять по самолетам нам было совершенно нечем.

Как только стало темнеть, вновь раздалась команда: «По вагонам!» Буквально через пять минут поезд тронулся с места и стал быстро набирать скорость.

Среди новобранцев было немало тех, кто с трудом запрыгнул в теплушки уже на ходу. Эшелон уже мчался на полной скорости, а Сашка нашего не было. На нарах лежала лишь его гитара. Мы надеялись, что он все же успел вскочить в один из последних вагонов и присоединится к нам на первой же остановке в пути. «Не дай бог нашему Сашку отстать от эшелона», — говорили ребята. Еще бы! В Москве нас предупредили, что отставшие от эшелона могут предстать перед военным трибуналом как дезертиры.

Эшелон теперь двигался уже не на юг, а строго на запад. А там, по моим расчетам, Курск, Центральный фронт, которым, как сказала мне 23 февраля Ада, командовал ее отец, генерал-полковник Константин Рокоссовский. Неужели до самого Курска не будет больше ни одной остановки? «Неужели до самого Курска мы не услышим ни одной песни нашего друга-композитора Сашка?» — записал я в ту тревожную ночь в своем блокноте.

15 апреля 1943 года

Курск, железнодорожная станция

В очередной раз, как сказала бы моя мама, «с Божией помощью», ночь прошла без единого авианалета. Но на станции Курская мы увидели истинное лицо войны.

...Наш эшелон целый час стоял примерно в 10 или 15 километрах от станции, ожидая открытия семафора. Когда же мы прибыли в Курск, то поняли, что нам повезло. Мне показалось, что я оказался в разбомбленной Гернике, о которой знал по репродукции картины Пикассо. Изуродованные тела убитых людей и лошадей, искалеченные солдаты, кричавшие и стонавшие; бьющийся в предсмертных конвульсиях скот, гражданские и военные санитары, тащившие на носилках окровавленных людей.

Как рассказали нам очевидцы, за час до прибытия нашего состава, в 6.30 утра, начался полтора часовой авианалет. Немецкие самолеты первой волны атаковали фу-гасными бомбами вагоны с пополнением, с лошадьми и скотом, платформы с боевой техникой. Второй волной над станцией пронеслись немецкие истребители-мессеры, расстреливая солдат, которые, рассредоточиваясь, отбежали от вагонов. Третья волна самолетов противника сбрасывала зажигательные бомбы, чтобы на путях запылало все, что могло гореть.

Но нас тоже ждало нелегкое испытание. Едва наш эшелон остановился и новобранцы вышли из вагонов, как вокруг снова раздалось: «Воздух! Воздух! Воздух!» Люди на станции и мы — прибывшие из Москвы новобранцы, как нас учили в Ельце, бросились бежать в разные стороны как можно дальше от нашего эшелона. Я, услышав над головой, как мне казалось, душераздирающий вой бомбы или бомб, бросился на сложенные штабелем старые прогнившие шпалы и словно влип в них. Обхватил голову руками, наивно полагая, что так смогу защитить ее от осколков. С тревогой следил за проносившимися надо мной самолетами с фашистскими крестами на боках; мне казалось, что все бомбы, которые они сбрасывали, летят напрямиком на меня. Невозможно передать то

ощущение: ты видишь, как прямо на тебя летят вражеские самолеты, а в руках нет никакого оружия, и ты не в траншее, окопе или бомбоубежище, а на совершенно открытом месте. Я ощущал, как от взрывов бомб подо мной содрогаются шпалы и сама земля... Впервые в жизни я горько пожалел о том, что толком не запомнил ни одной молитвы, которым старалась обучить меня моя дорогая мама. Я думал в тот момент: если меня здесь сразу разнесет в клочья одна из немецких бомб, значит, так тому и быть, но боже упаси остаться без руки, ноги, остаться на всю оставшуюся жизнь слепым или глухим.

Не помню точно, как долго длилась эта адская пытка. Она казалась мне бесконечной.

Тех, что остались после налета живыми, включая меня, было трудно узнать: куда девался наш юношеский задор, стремление поскорее оказаться на передовой? Все были перепачканные с головы до ног, перепуганные насмерть и оглохшие...

Когда нас наконец смогли собрать и построить неподалеку от горящего складского помещения, мы с ужасом узнали, что потеряли убитыми и тяжелоранеными примерно треть личного состава. Вскоре родители погибших 17- и 18-летних пареньков, подумал я, получают похоронки, в которых будет написано: «Ваш сын пал смертью храбрых в боях за Советскую Родину»...

Моя голова кружилась, сердце колотилось, мысли путались. Я какое-то время только и мог, что мысленно себе твердить: «Никто тебя не гнал в эту военную спецшколу из Актюбинска, никто не заставлял идти в партизанский отряд, и никто тебя после госпиталя не вынуждал избавляться от своего паспорта и бежать во Фрунзенский райвоенкомат записываться добровольцем. Ты сам этого хотел! Ты сам, глупый, к этому стремился с июня 1941 года. Надо было оставаться в Актюбинске и спокойно рисовать афиши до самого конца этой проклятой войны, после чего на законном основании вернуться к себе на родину, в Америку!»

Неподалеку от нас стояли наши командиры и о чем-то горячо спорили. В нашем строю слышались злые, раз-

дражительные реплики: «Какого хрена они нас держат возле этой чертовой станции?! У немцев здесь ведь на-верняка полно шпионов-корректировщиков! Чем так сто-ять и ждать нового налета, надо быстрее валить отсюда!»

Наконец нам скомандовали «Шагом марш!» и повели от станции по улицам Курска. Вокруг были остовы домов с косо висящими кое-где балконами и горы битого кир-пича. Мы видели пожилых женщин, стариков и детишек, копающихся в свалках в поисках того, что уцелело, — сковородок, металлических кроватей, обломков мебели, а может быть, и какой-нибудь еды.

Курск всегда был важным железнодорожным узлом, принимавшим эшелоны с войсками и техникой для Цен-трального фронта, и поэтому немцы бомбили станцию и днем и ночью.

Я прохожу по улицам твоим,
Где каждый камень — памятник героям.
Вот на фасаде надпись: «Отстоим!»
А сверху «р» добавлено: «Отстроим!»

Эти строки написал Самуил Маршак 9 февраля 1943 го-да, в день освобождения Курска... Но это будет потом... А я продолжу свой рассказ о апрельских событиях 43-го.

Один из парней нашего маршевого батальона, как ока-залось, родился и жил в Курске до войны. Он произносил название своего родного города не так, как мы, а с про-тяжным «у-у». «Ку-у-урск». По его словам, до оккупации немцами в городе было 250 тысяч жителей. Но, проходя по улицам города, мы видели совсем немного граждан-ских людей.

16 апреля 1943 года **Утро в сосновом бору**

Вчера вечером опять бомбили железнодорожную стан-цию. Мы находились километрах в десяти от нее, но мне всю ночь мерещились в полусне вопли, стоны и брань раненых, ржание лошадей и крики санитаров. Появлялся и Сашок со своей мамой...

В подвале было очень холодно, мы притащили туда с улицы автомобильные покрышки и жгли их всю ночь, чтобы хоть немного согреться. Спали все в густом черном дыму. Утром не могли узнать друг друга: лица у всех были покрыты слоем черной сажи. Все мы, включая командиров, были теперь похожи на макеевских шахтеров после шестичасовой смены в забое.

Сажу с лиц и рук смыли с трудом. После завтрака, состоявшего из одного черного сухаря, кусочка колбасы, брикета «кондэра» и котелка чая, объявили общее построение. Нашего Сашка никто не видел ни на станции, ни в подвале, ни при этом построении. Его гитару во время бомбежки наверняка разнесло вдребезги вместе с нашей теплушкой.

Колонной в четыре сотни человек мы двинулись за город в южном направлении. Молча и понуро прошли километров десять с одним привалом.

Наконец показался сосновый бор, где нас ожидала группа молодых санитарок в белых халатах и три пожилых санитар-парикмахера. Они стояли возле пяти дезкамер и примитивных душевых установок. Командовала этим хозяйством красивая девушка с роскошными волосами, в ладно пригнанной по фигуре офицерской форме с белыми медицинскими погонами на плечах. На погонах было по одной полоске и по одной малой звездочке, означавшей, что она младший лейтенант медицинской службы.

Всем нам, включая майора Фастова, она приказала (именно приказала) раздеться догола и сложить все, включая портянки, обмотки, обувь и даже вещмешки и пилотки, в дезкамеры, после чего выстроиться в очередь к парикмахерам. Те вскоре начали нас не просто стричь под нулёвку, но и брить те части тела, где росли волосы.

То, что во всех частях Красной армии вшей боялись как черт ладана, мне было понятно. Ведь во время Гражданской войны от вшей — прямых виновников страшного сыпного тифа — погибло больше миллиона красноармейцев и белогвардейцев. Из-за тифа по дороге с Кавказа в Москву умер один из самых талантливых американских

военных журналистов и писателей — автор книги «Десять дней, которые потрясли мир» Джон Рид. (Кстати, когда мой Пап однажды в советской библиотеке попросил книгу Джона Рида на русском языке, то получил потрясший его ответ: «Разве вы, товарищ, не знаете, что эта книга запрещена к выдаче лично Иосифом Виссарионовичем?»)

Мы, оказывается, не просто завшивели в теплушках на старой соломе, мы еще, как оказалось, ухитрились завести на своем теле особых вшей, которых некоторые из нас называли «веселыми ребятами». Эти «веселые ребята» забирались повсюду, где у людей растут волосы. Вот и пришлось мне расстаться с моим чубом, тонкими модными усиками и даже бровями. Ну и на кого я стал похож? Подумать стыдно!

Сидя у парикмахера, я заметил на гимнастерке девушки, младшего лейтенанта медицинской службы, боевой орден Красной Звезды и очень престижную солдатскую медаль «За отвагу». Невероятно! Я спросил у парикмахера, который меня «обрабатывал»:

— Что это у нее? За какие дела такие боевые награды?

— Она, парень, в битве под Сталинградом вытащила из-под огня около сотни наших бойцов и командиров. Тяжело раненных. Награды эти ей генерал Рокоссовский вручал лично!

— До чего же она красивая! — не удержался я.

— Красавица, да не про твою честь, парень! Ты посмотри на тех боевых офицеров, которые за вами приехали на «Фордах». На груди у них целые иконостасы. Видишь, как они на нее заглядываются!

После парикмахера был ужасно холодный душ с миниатюрными кусочками хозяйственного мыла. Потом все мы, голые, сели на бревна и как замороженные, во все глаза глядели на младшего лейтенанта медицинской службы. Кого-то мне она напоминала — красавицу с такой же пышной прической, очаровательными очами и лицом краше, чем у Моны Лизы Леонардо да Винчи или Венеры Милосской. Я наконец вспомнил! Младший лейтенант медслужбы была копией самой яркой американской кинозвезды 30-х и начала 40-х годов — Дины Дурбин.

Мой старший брат Майк — художник — получал из Америки цветные журналы. В них были ее большие портреты. Появлялись они и на обложках голливудских журналов. Ее портреты были способны заворожить любого — от мала до велика, в полном смысле этого слова. Я помню, какое потрясающее впечатление одна ее большая цветная фотография производила на моего четырехмесячного племянника — Валерика. Если мы с ним в доме оставались одни и Валерик начинал плакать, то я, отложив занятия по русской грамматике, показывал ему большой цветной портрет Дины, — и он умолкал. Но как-то раз он сильно капризничал, и тогда я придумал, что надо сделать для того, чтобы он не мешал мне учить уроки (а делал я это лежа на диване). Я вырезал из журнала портрет Дины Дурбин, наклеил его на картонку, прикрепил его на веревочках над головкой Валерика, привязал к портрету леску, конец которой протянул к дивану и петелькой накинул себе на большой палец ноги; как только Валерик начинал орать, я шевелил большим пальцем, леска покачивала портрет Дины, и Валерик мгновенно засыпал. Голливудская дива оказывала на малыша прямо-таки магическое действие! И не только на него, на четырехмесячного ребенка... Я рисовал ее прекрасное лицо в своих тетрадях и учебниках, на классных досках и на стенах школы. Я влюбил в нее всех своих одноклассников в макеевской средней школе № 6: Шурку Воробьева, Вильку Любарского и многих других.

В сосновом бору южнее Курска, глядя на девушку — младшего лейтенанта медицинской службы, очень похожую на американскую кинозвезду Дину Дурбин, я вспомнил сон, который приснился мне в Макеевке, еще перед войной.

...Перед отъездом из Америки вся наша семья стояла на пристани Нью-Йорка и фотографировалась на фоне огромного четырехтрубного океанского лайнера «Мавритания», похожего на печально известный «Титаник». На мне был дорогой и необыкновенно красивый шерстяной светло-серый костюм-тройка: спортивного покроя пиджак, жилетка и бриджи; и еще: новая белая рубашка, черный галстук-бабочка и черные, похожие на лаковые полуботинки. Все это мне купили впервые в жизни за не-

малые по тем временам деньги: 10 долларов 99 центов. Для меня подобная одежда была пределом мечтаний, так как всю жизнь в Америке я носил только то, что Пап для меня перешивал после старших братьев Майка и Джона. И вот в то самое время, когда мы фотографировались, откуда-то появилась кинозвезда Дина Дурбин, подошла к нам и, глядя на меня, воскликнула:

— Боже мой, Никки, ты в этом одеянии смотришься на миллион долларов! Уверена, — оживленно продолжала она, — что в стране большевиков, куда вы собираетесь ехать на этой «Мавритании», все девчонки в красных козыньках, увидев тебя в этом одеянии, будут у твоих ног!

Наконец из дезкамер мы получили свою униформу, мятую так, будто стадо коров всю ночь ее жевало. Одевшись, выстроились в длинную очередь на регистрацию к столу, за которым сидела она — советская Дина Дурбин.

Я стоял в очереди и мучительно искал способ обратить ее внимание на себя. Да, нелегко это было... Вся форма измята, чуба нет, усов нет, бровей тоже нет, уши торчат, как у барана... Когда передо мной оставалось три человека, в мою бедную башку пришла блестящая идея: прежде чем очаровательная младший лейтенант поднимет на меня свои очи, я протяну ей свою красноармейскую книжку, где на фотографии, сделанной еще в Актюбинске, я выглядел сносно. Пускай сначала посмотрит, каким я был сравнительно недавно, а потом уже на меня оскубленного. Так я и поступил.

Она посмотрела на фотографию, на мое имя и произнесла:

— Никлас? Никлас... какое красивое имя!

Она подняла на меня глаза, и в голове у меня прозвучала строка из украинской песни, которую пел в Америке мой Пап: «Ой, очі, очі! Очі дівочі, дэ вы навчились зводити людий?» Я, честно говоря, никогда не думал, что имя мое красивое, хотя мне было еще в Америке известно, что последнего царя в России звали Nicholas II и что супруга императора Александра звала его как моя мама меня: Nicky.

Дина Дурбин, улыбаясь, спросила меня:

— Откуда у вас такое красивое имя?

Я расправил плечи, вытянулся по стойке «смирно», отдал честь и, шелкнув каблуками, отрапортовал:

— От мамы и папы, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы!

Она снова одарила меня своей божественной улыбкой и произнесла — негромко и мягко:

— Вольно. — Затем спросила: — Ваша гражданская специальность, Никлас?

— Художник, товарищ гвардии старший... Простите, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! — Потом добавил к сказанному: — Точнее, я был художником-рекламистом Актюбинского областного кинотеатра «Культ-Фронт», товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! — А еще через секунду добавил: — Рисовал звезд советского кино: Любовь Орлову, Зою Федорову, Валентину Серову на огромных рекламных щитах, сделанных из фанеры.

Чарующе улыбаясь, советская Дина Дурбин спросила:

— А меня вы нарисуете, Никлас? — Она так мило произнесла мое имя, что я подумал: может быть, в Союзе оно действительно звучит чуть ли не царственно красиво?

— С огромным удовольствием, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы, — ответил я. — Только скажите, где и когда.

В это время у меня мелькнула мысль: все, милая моя Дина! Ты, кажется, попалась!

В очереди товарищи мои занервничали.

— Я вас сама найду, Никлас, — тихо произнесла она. — Не сомневайтесь, Никлас, непременно найду!

17 апреля 1943 года

В лесах

Вчера мы прибыли в расположение танкового корпуса генерала Богданова, и здесь нас впервые накормили горячей перловой кашей с тушенкой. Какой же вкусной по-

казалась нам эта еда! Ребята приговаривали: мол, ничего вкуснее в жизни не ели! Мне же эта тушенка напомнила мое американское детство. Что-то похожее на эту кашу бывало у нас иногда дома в Бетлехеме.

— Откуда такая вкусная тушенка? — спрашивали поваров ребята.

— А! Так это — «улыбка президента Рузвельта», — охотно отвечали повара.

Вот в чем дело! — обрадовался я. Это, значит, еще одно проявление действительной помощи Красной армии со стороны США и президента страны.

Ночевать нам предстояло в большом — и тоже американского производства — тенте. Ни кроватей, ни матрасов, ни печек в нем не было, лишь голая земля. И все же — лучше так, чем в маленьких палатках. Матрасами, подушками, простынями и одеялами нам стали вещмешки и шинели. Под головой — вещмешок, половина шинели — под тобой, половина — сверху, вот и все! Спать было холодно, как в том памятном курском подвале. Чтобы согреться, мы прижимались друг к другу плотно всей «шеренгой» из тридцати человек, и это помогало. Но если кто-то из крайних поворачивался на другой бок, то же самое приходилось делать и всем остальным. Так и поворачивались туда-сюда всю ночь. Причем не просыпаясь при этом. Интересный феномен!

После построения нам представили капитана Жихарева — командира разведтанковой роты в бригаде 9-го танкового корпуса под командованием генерала Богданова. На груди капитана Жихарева мы увидели гвардейский знак, два ордена Боевого Красного Знамени и два ордена Красной Звезды.

— Прошу внимания! — произнес он зычным командирским голосом. — Кто из вас желает служить в танковой разведке нашего соединения, три шага впе-р-ред!

Все стояли не шелохнувшись.

В чем дело? — поразился я. То ли не поняли, что было сказано четко и ясно, то ли... В теплушке все были такими храбрыми, а здесь, после первого крещения на станции Курская, у всех что — поджилки затряслись?

В тот момент мне подумалось: а если бы здесь, сейчас, перед нашим строем, находилась гвардии младший лейтенант медицинской службы с боевыми наградами на груди: «За отвагу» и «Красной Звездой» — и она смотрела на всех нас, — вышел бы кто-нибудь три шага вперед? Я вспомнил нашего Сашка и подумал: он бы наверняка вышел! Ведь одаренные люди вроде него не показывают страха. Такие, как Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский... и мой американский герой — Джо Хилл — всегда идут впереди...

Но что делать мне, который добровольно пошел в Московскую военную школу Центрального штаба партизанского движения? Ответ для меня был очевиден. Я сделал три шага вперед, повернулся лицом к строю и встал по стойке «смирно». Пристально смотрел в глаза оставшимся в строю. Выйдет еще кто-нибудь или нет?

Вышли еще два парня.

Капитан Жихарев подошел ко мне и спросил:

— Где проходил военную подготовку?

— В одной из московских военных школ, товарищ гвардии капитан! — доложил я по форме. О том, что это совсекретная партизанская школа, я сказать не мог — с меня взяли подписку о неразглашении.

— Рацией, ключом, морзянкой владеете? — Капитан задавал вопросы «в десятку».

— Так точно, товарищ гвардии капитан!

Он посмотрел на меня с уважением.

— Из танковых орудий стрелять приходилось?

— Немного, товарищ гвардии капитан!

— Возьмите в тенте свой вещмешок и садитесь на переднее сиденье моего «Виллиса». Ясно? — Он посмотрел на тех двоих, что сделали три шага вперед из строя после меня, и приказал: — Вы тоже!

Капитан усадил их на заднее сиденье, меня — на переднее, рядом с собой. Включил зажигание, машина тронулась с места, и мы поехали в глубь леса, в расположение его разведоты.

В тот же день Жихарев назначил меня стрелком-радистом на одну из своих Т-34-76. Моими товарищами по экипажу стала забавная тройка: коротышка Николай

Хромов — наш командир танка, долговязый сержант Федор Филиппов — механик-водитель по кличке Длинный, и Колобок — младший сержант Иван Кирпо, заряжающий.

18 мая 1943 года Лес к западу от Курска

Где же ты, моя милая «советская Дина Дурбин»? Ты же обещала найти меня... На западе, в 60 километрах от нас — фронт, а в 20 километрах на востоке, у нас в тылу — Курск. Южнее, в 150 километрах — Белгород. Севернее, в 100 километрах — Орел. Странно: со стороны фронта на западе не слышно ни стрельбы, ни разрывов снарядов или бомб. А в тылу, со стороны Курска, почти каждую ночь доносится гул и грохот мощных взрывов. Нетрудно догадаться, что там чуть ли не каждую ночь немцы бомбят ту самую станцию, куда прибывают эшелоны с живой силой и техникой для Центрального фронта. Месяц назад мы прошли через этот ад, эту Гернику.

Моя сестра Энн написала нам из Америки в 1939 году о том, что ее муж Артур — американский доброволец, воевавший против фашистов в бригаде Авраама Линкольна в Испании, — видел прекрасную Гернику до того, как город разбомбили немецкие самолеты. Видел он и то, что от нее осталось после...

У нас — новобранцев, переживших бомбежку на станции Курская, — при воспоминании об увиденном сердце кровью обливалось. Ведь мы там потеряли треть нашего маршевого батальона — около двухсот мальчишек, не успевших даже нюхнуть пороха и сделать хоть один выстрел...

Все эти думы приходили мне в голову только утром и вечером, перед отбоем. Между завтраком и отбоем думать было невозможно. Руки, ноги, голова — от упражнений, занятий, дневных и ночных марш-бросков — все тело до такой степени уставало, что ни о чем, кроме дела, которым мы занимались, подумать было невозможно, никакой щелочки для посторонних мыслей не оставалось.

И в таком напряженном режиме мы жили ежедневно полные 14 часов: усиленная зарядка, сборка и разборка, чистка и смазка спаренных пулеметов и откатного устройства 76-миллиметровой танковой пушки, проверка работы внутренней телефонной связи и обращение с ларингофонами, работа с телефонной радиосвязью на расстоянии 3, 5 и 10 километров, устранение обрыва гусеницы, замена траков, работа с топографическими картами и хождение по азимуту, практические стрельбы из танковых пулеметов и 76-миллиметровых орудий по движущимся целям на полигоне и, наконец, тактика танкового боя.

Мастером тактики был командир нашего взвода — гвардии старлей, одессит Олег Милюшев. Мы ему иногда пели: «Ты одессит, Милюш, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда-а! Ведь ты танкист, Милюш...» Он не обижался, ему нравилось любое воспоминание или простое упоминание о его родной Жемчужине у моря, как мне о Бетлехеме. У него на груди, кроме гвардейского знака, был, как и у нашего капитана Жихарева, орден Боевого Красного Знамени за битву под Москвой и орден Красной Звезды за Сталинград. Во время учебы по тактике боя он нам показывал слабые места немецких танков: гусеницы, катки, участки бортов.

— До прошлого года включительно, — говорил Милюшев, — мы могли из своих 76-миллиметровых орудий бронебойными снарядами прошивать башню любого немецкого танка насквозь. Они нас боялись. Но теперь они грозятся поставить на вооружение новые «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды». С ними сражаться с нашими 76-миллиметровыми орудиями будет наверняка куда сложнее. Нам теперь придется прятаться от их мощных орудий. Правда, они, говорят, не такие поворотливые, как наши Т-34, и не такие быстрые. Вот мы и должны научиться использовать эти преимущества.

Гвардии старлей Олег Милюшев был опытным командиром танкового взвода разведки. С ним всегда было интересно и полезно общаться, у него было чему поучиться. А нам нужно было осваивать технику, изучать тактику ведения танкового боя. Не менее трех раз в неделю нас поднимали глубокой ночью по тревоге, после чего мы

шли на расстояние как минимум 3 километров в полной темноте: танковые экипажи впереди, а следом за нами мотопехота и десантники. Назывались эти броски «пеши по-танковому». Но мы их между собой называли «хождениями по мукам».

«Тяжело в учении — легко в бою», — повторял часто суворовское изречение капитан Жихарев. И потом добавлял свое: «Бои нам предстоят тоже неимоверно трудные...»

— Сегодня, сразу после ужина, — объявил нам однажды капитан Жихарев, — политчас проведет помполит комбрига — майор Петровский!

Жихарев дал ему блестящую характеристику.

— Представьте себе, — сказал он, — до начала битвы под Москвой, когда масса известных ученых эвакуировалась из столицы в Среднюю Азию, профессор, доктор исторических наук Петровский идет в народное ополчение рядовым бойцом. Однако очень скоро командование назначает его политруком в строевую часть в звании старшего лейтенанта. В боях под Сталинградом он уже комиссар полка в звании майора; а теперь профессор Петровский — помполит нашей танковой бригады и, по моему мнению, лучший лектор-международник, которого я когда-либо слышал.

Профессор Петровский с первых минут своего выступления захватил всеобщее внимание четкостью, простотой и увлекательностью изложения довольно сложной ситуации.

Говорил он неторопливо и негромко, но так, чтобы его одинаково четко понимали все, кто его слушал: русские, белорусы, украинцы, узбеки, казахи, грузины, латыши и другие представители союзных республик.

— Что мы знаем сегодня о нашем противнике? — задал вопрос Петровский и сам же начал отвечать на него: — В листовках, которые мы находим в карманах военнопленных, сказано, что 15 апреля 1943 года фюрер подписал приказ о наступательной операции под названием «Цитадель». Противник намерен двумя мощными группировками с севера от Орла и с юга от Белгорода окружить советские войска, сосредоточенные вокруг Курска.

Фюрер считает, что это будет немецкий реванш за поражение под Сталинградом... Предстоят нелегкие бои, и вот почему вы каждый день по четырнадцать часов усиленно готовитесь, товарищи танкисты-разведчики.

Когда Петровский спросил, есть ли вопросы, руку поднял один из наших механиков-водителей, старший сержант Орлов. Он был старше всех нас. Большинство из нас были 18-, 19- и 20-летними мальчишками, ему же было тогда под сорок. Кто-то из ребят мне рассказал, что перед войной он был чуть ли не капитаном, но по чьему-то навету его разжаловали до звания старшего сержанта.

Орлов задал вопрос Петровскому о втором фронте.

— Если я правильно понял, то вы, товарищ старший сержант, хотите услышать мое мнение о том, почему наши союзники до сих пор не открыли второй фронт?

— Так точно, товарищ майор, — ответил Орлов.

— Что ж... — Петровский вынул из кармана небольшую записную книжку. — Предлагаю вам послушать две цитаты. Первая принадлежит бывшему послу Соединенных Штатов в Германии Уильяму Додду: «Клика американских банкиров и промышленников склонна на смену нашему демократическому правительству привести в Америку фашистов. Она (эта клика) работает в тесном взаимодействии с фашистским режимом Германии...» А вот следующая... 24 июня 1941 года, спустя два дня после нападения Германии на СССР, газета «Нью-Йорк таймс» опубликовала выступление американского сенатора Гарри Трумэна. Читаю: «Если мы увидим, что побеждает Германия, надо будет помогать России, а если будет побеждать Россия, то надо помогать Германии. И пусть они перебьют как можно больше своих солдат в этой войне».

Признаюсь: прочитанное вслух Петровским тогда поразило меня до глубины души. Да, думаю, и многих моих боевых товарищей тоже. Честно говоря, мне не верилось. Нет, этого не может быть! — думал я. Да, конечно, американцы разные. Настоящим реакционером в моем родном городе был хозяин огромного металлургического завода «Бетлехем-Стилл» Чарли Шваб. Известно, что Генри Форд перед войной получил из рук Гитлера лично

высшую награду Третьего рейха — какой-то фашистский крест. А знаменитый американский летчик, первым перелетевший через Атлантику на своем одномоторном самолете «Спирит оф Америка» и ставший после этого самым популярным человеком в начале 30-х годов XX века, уехал к Гитлеру, обучать немецких пилотов. Да, есть и такие. Но все же огромное большинство моих земляков совсем иные... Если выживу и вернусь на родину, зайду в Библиотеку конгресса США в Вашингтоне, найду тот номер газеты «Нью-Йорк таймс» и проверю, действительно ли сенатор Гарри Трумэн написал или сказал такую ужасную вещь».

Никто в нашей роте по-прежнему понятия не имел о том, что я — уроженец Соединенных Штатов Америки. Все считали меня парнем из Донбасса, а я помалкивал об Америке и о своей прежней учебе в совсекретной партизанской школе. Надолго ли это останется в тайне?

30 мая 1943 года **На берегах Сейма. Сашок**

Никто не знал, по какому поводу и зачем организовали построение всех наших бригад и подразделений. Весь корпус построили огромной буквой «П», в 7—8 километрах от расположения нашей разведроты. Это было на большом, похожем на футбольное поле пространстве чуть южнее берега реки Сейм. Нашей роте указали место на правой нижней оконечности «буквы П». Впереди нашего танкового взвода стоял гвардии старлей Олег Милюшев. Рядом со мной оказался «старик», как мы его называли, — механик-водитель старший сержант Орлов. Он вдруг произнес негромко:

- Показательный расстрел.
- Кого? За что? Где? — вполголоса спросил я Орлова.
- Горку земли впереди нас видишь?
- Вижу.
- Впереди той горки земли яма. Сейчас кого-то привезут и поставят перед ямой, — сказал Орлов.
- Тихо! — обернувшись, приказал нам Милюшев.

Что это — расстрел «врага народа»? Но почему это надо делать на глазах десятка тысяч людей? Какое отношение имеет «враг народа» к нашему корпусу?

К яме подъехал грузовой американский «Форд», в котором было шесть человек: пять солдат с винтовками и один человек в нижнем белье, у которого руки были связаны веревкой. Спрыгнуть с «Форда» со связанными руками сам он не мог. Поэтому его, открыв задний борт грузовика, двое солдат сняли и поставили перед ямой. У солдат, как я заметил, окантовка на погонах была синей, что означало, что они — из Смерша. А в нижнем белье, очевидно, тот, кого Смерш собирается «показательно» расстреливать.

— А почему веревка, а не стальные наручники? — спросил я шепотом.

— Сталь нужна нашей стране для производства танков и пушек, — с ехидцей ответил Орлов тоже шепотом.

— А почему в исподнем и босиком? — продолжал я допытывать.

— Чтобы пулями не продырявить форму. Она еще вместе с его ботинками, портянками и обмотками пригодится для нового призывника.

— Понял... — сказал я. На душе моей становилось все тяжелее.

Из кабины «Форда» вышел офицер в звании капитана, тоже в погонах, окантованных синим. Капитан начал отдавать указания по подготовке казни.

Обреченный в исподнем был низкорослым худым пареньком, стриженным наголо и с лицом белым как мел. Когда он повернулся в нашу сторону, трое в нашей роте, включая меня, сразу его узнали.

— Сашок! — непроизвольно вырвалось у меня.

И тут же последовал чей-то грубый окрик:

— Молчать!!

— Товарищ гвардии старший лейтенант, — не выдержав, обратился я к командиру взвода. — Мы его знаем! Это же Сашок! Он талантливый композитор-песенник. За что его собираются расстрелять?

— Закрой рот и слушай приговор, — резко оборвал меня Милюшев.

Приказ командира — закон для подчиненного. Но заставить меня не думать взводный не мог. Мне вспомнилось, как Сашок в тускло освещенной теплушке играл на гитаре и пел свои чудесные, бравшие за душу песни. Вспомнил я и о том, как они с матерью бежали навстречу друг другу, вытянув руки для объятий. Тогда мама принесла сыну что-то вкусное, любимое, домашнее — несравнимое с нашим НЗ и «кондёр»... Они, мать и сын, казались... нет-нет, не казались, а на самом деле были в тот день, 14 апреля 1943 года, 46 дней тому назад, на берегу речушки Сосны, такими счастливыми!..

Глядя на поникшего головой Сашка, я вспомнил еще и о том, как кто-то из нашей теплушки произнес, узнав, что парнишка не успел добежать и вскочить на подножку последнего вагона нашего эшелона: «Не дай ему бог попасть в руки заградотряда!» О том, что он бросился бежать и стремился во что бы то ни стало успеть за эшелон, я нисколько не сомневался.

— Почему ему не надели повязку на глаза? — спросил я Орлова.

— Еще чего захотел от нашего Смерша! — горько усмехнулся Орлов.

Тем временем в самом центре посредине буквы «П» послышалась команда: «Корпус, смирно!» А дальше прозвучало совершенно жуткое:

— Решением военного трибунала — по дезертиру и изменнику Родины... Огонь!

После залпа Сашок вздрогнул и потом медленно свалился в яму.

До сих пор убежден: расстрелянный паренек стал «дезертиром» случайно. Сашка попросту использовали, ни на секунду не задумавшись о том, что это был человек, талант, что могло случиться недоразумение...

У меня и у многих других в нашей разведроты до самого отбоя было тяжело на сердце. Мне перед сном вспомнились строки из Лермонтова:

Погиб поэт! — невольник чести —
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жадной мести,
Поникнув гордой головой!..

2 июня 1943 года

На стрельбах

Бедный Сашок! Мысли о нем и его казни не идут у меня из головы. С ними просыпаюсь, с ними засыпаю. Никогда не забуду Сашка! Виновато в его трагедии, безусловно, наше руководство маршевого батальона и машинист поезда. Могли дать минуты три—пять на то, чтобы все собрались, а не прыгали в теплушки эшелона на ходу, рискуя сорваться и попасть под колеса состава? Могли дать, но не дали... Мой Пап сказал бы о них: «Дурной поп их крестил». Вот кого следовало отдать под трибунал, а не нашего Сашка!

...Моего командира танка увезли с острой болью в области сердца и под лопаткой в санчасть. Гвардии старший лейтенант назначил меня исполняющим обязанности командира танка. А это значит, что сегодня поражать из танковой пушки движущиеся цели, изображающие немецкие «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды», будет впервые доверено мне. От меня потребуются максимальное внимание, сосредоточенность и сообразительность: ведь цели будут двигаться, а попадать я должен буду не в башню танка (их башни, сказали нам, из наших 76-миллиметровых орудий непробиваемы!), а в корпус.

Когда вот-вот должна была подойти моя очередь выходить на исходную позицию, я вспомнил, как в свое время сдавал норму на знак «Ворошиловский стрелок». «Дыши спокойно», — говорил мне тогда наш физрук, которого мы, мальчишки старших классов, называли «Гришка-бабник» потому, что он очень настойчиво во время упражнений на брусьях стремился поддерживать нашу одноклассницу Инку Сарычеву. И она, казалось нам, тоже была неравнодушной по отношению к Гришке-бабнику.

Вдали наконец появились вражеские машины. Двигались они быстрее, чем я предполагал.

Я целюсь, а они движутся. В моем распоряжении — три бронебойных снаряда. Их тоже трое. Целюсь в бок мишени, чуть ниже башни. Огонь! Все удачно: попал и в «Тигра», и в «Пантеру», и в «Фердинанда!». Слышу по рации, кажется, голос комкора:

— Молодец! — и через пару секунд тот же голос: — Кто стрелял?

— Новичок из Донбасса, ворошиловский стрелок. Рядовой, исполняет обязанности командира танка. — Это, несомненно, был голос капитана Жихарева.

Вечером, за полчаса до отбоя, к нам в землянку зашел Олег Милюшев с бутылкой водки.

— Ну, ты, брат, стрельбой своей фурур произвел! — произнес он с воодушевлением. — Комкор приказал присвоить тебе звание старшины и утвердить командиром танка Т-34. Это в его власти. (Я же подумал: знал бы комкор, что я американский доброволец, то дал бы он мне с ходу звание старшины и должность командира танка?) Капитан Жихарев за то, что я тебя выдвинул исполняющим обязанности, и мне благодарность объявил, — сказал Милюшев. Он ловко ударил своей мощной ладонью по дну бутылки так, что пробка пульей вылетела и ударилась в потолок землянки. Поставил бутылку на столик: — Экипажу моему! Вы, хлопчики мои, молодцы! За это полагается. Подставляйте свои алюминиевые кружки.

Что такое 500 граммов водки на пятерых? Так себе, не густо — дробинка для пневматички... Но, как говаривал мой батя, водка сближает и очеловечивает...

Эти 100 грамм на самом деле нас сблизили. Вряд ли, не приняв их на грудь, стал бы наш комвзвода делиться с нами своими наблюдениями.

Он рассказал нам много интересного о нашем комкоре, а также о генерале Рокоссовском — командующем войсками нашего Центрального фронта на северном фесе Курской дуги.

Рассказывал и о себе. Олег Милюшев родился и вырос в Одессе, в городе великих писателей, музыкантов, рассказчиков и... трепачей. Наш комвзвод оказался действительно великолепным рассказчиком и человеком, влюбленным в свою дорогую Одессу, которую он называл Жемчужиной у моря. О ней он мог рассказывать сутками.

— А наш командир танкового корпуса — человек умный и смелый в бою, но грубый: рубит правду-матку с

плеча, — рассказал нам Милюшев. — Во время боя он, например, может разъезжать в боевых порядках танков на своем открытом «Виллисе» и нерадивых командиров танков ругать так: «Вашу в дугу мать!»

— Курскую дугу? — решил уточнить я с ехидцей.

— Нет! — вполне серьезно продолжал Милюшев. — Это у него давнишнее... ругательство такое. Говорят, еще с довоенного времени. За свою правду-матку в 37-м он пострадал: его оговорили, Ежов его арестовал, посадил, пытал, но он прошел через все это и не сломался.

А вообще-то, друзья, — продолжал комвзвода, — в 30-х годах таких случаев было немало. Знаете, почему? Вот моя точка зрения: многие начальники НКВД в республиках, областях и даже в городах и районах соревновались между собой, кто из них больше выловит у себя в районе, области, республике «врагов народа». Чем больше такой «улов», тем больше они получали орденов и повышений.

А как же Сталин, думал я, на все эти безобразия Ягоды и Ежова смотрел? Неужели он об этом не знал?

— А вы, товарищ гвардии старший лейтенант, — обратился к Милюшеву старший сержант Орлов, которого перевели в мой экипаж после того, как я стал исполняющим обязанности командира, — вы не боитесь вести разговор на эту тему?

Комвзвода взглянул на Орлова пытливо, а потом сказал:

— Все, о чем я говорю, было напечатано в «Правде». Вы что, Орлов, «Правду» не читаете?

— Читаю, когда ее нам приносят, — ответил Орлов, немного смутившись.

С разговора о нашем комкоре Олег Милюшев переключился на командующего Центральным фронтом Константина Рокоссовского:

— Я считаю, что среди всех восьми командующих фронтами Константин Константинович — самый талантливый и уважаемый солдатами и офицерами. Он никогда не кричит на подчиненных, никогда не матерится, никому не говорит «ты».

Милюшев рассказал нам, что после разгрома немцев под Москвой и Сталинградом портреты Рокоссовского

появились во всех советских газетах и журналах, а также в прессе союзников. Из Англии и Америки к нему мешками стали приходить письма, в основном от молодых женщин, которые по уши в него влюбились. Он в те годы был в расцвете сил — видный, высокий, спортивный, с мужественными чертами лица и доброй, обаятельной улыбкой.

В боях под Москвой он был тяжело ранен и лежал в одном из столичных госпиталей. Как-то раз в госпиталь приехала, чтобы выступить перед ранеными, Валентина Серова — звезда нашего кино. Константин Константинович лежал в отдельной палате, и не смог ее увидеть и послушать. К Серовой после выступления подошел главный врач госпиталя, сказал ей, кто лежит в отдельной палате, и попросил, чтобы она хотя бы на несколько минут зашла к Константину Константиновичу. Серова зашла к Рокоссовскому и пробыла у него не десять и не двадцать минут, а часа полтора — так интересно было ей говорить с легендарным генералом. А вернувшись домой, она честно призналась мужу — поэту Константину Симонову, который посвятил ей свое знаменитое произведение «Жди меня», что она всерьез влюбилась в Константина Рокоссовского.

— Простите, пожалуйста, товарищ гвардии старший лейтенант, могу я у вас спросить: откуда у вас сведения о мешках писем и о Валентине Серовой? — снова встрял неугомонный и дотошный Орлов.

Все с интересом ждали ответа Милюшева. Комвзвода ответил спокойно и убедительно, как бы не заметив язвительность:

— Дело в том, старший сержант, что я пользуюсь абсолютно точной информацией, которой со мной не по секрету, а в открытую делится мой школьный друг. Я говорю о человеке, с которым мы учились вместе с первого по десятый класс, а потом стали однокурсниками в танковом училище, — об Илье Руецком. Он уже капитан и адъютант Константина Константиновича. Понятно, да?

— Понятно, товарищ гвардии старший лейтенант. Спасибо! — ответил Орлов.

— Так вот, — продолжил свой рассказ Милюшев. — Выписали Константина Константиновича из госпиталя в Сталинград. Там он, вдали от Москвы, другую себе завел. Звал ее «птичкой». О ней тоже знаю. Она военврач, а звать ее Галина Васильевна Таланова.

Никто больше не задавал лишних вопросов, мы понимали: адъютант — самый надежный источник информации...

Не дай бог, попадется на глаза Рокоссовскому очаровательная девушка моей мечты, советская Дина Дурбин, вдруг подумал я.

Милюшев ни слова не сказал о семье Рокоссовского. Может быть, он и не знал ничего об этом и об этих людях. Я же, хоть и принял свою порцию водки, промолчал о наших отношениях с Адой и о том, что она рассказывала мне о своем отце. По этому вопросу у меня было железное обоснование: на военных курсах я дал подписку о неразглашении любых сведений, касающихся моих преподавателей и однокашников.

Ретроспекция-1

Как все начиналось

«По-о-одъ-ем!!!» — снова эта ненавистная команда. Но сразу после нее я услышал над своей головой самый приятный для меня мягкий девичий голос: «Никлас, Никлас. Какое красивое имя! Я ведь сказала вам, что сама вас найду! Помните? Это было там, в сосновом бору...» Мама не раз говорила мне:

— Если кто-то любит тебя, он по-особому произносит твое имя!

Я мгновенно вскочил на ноги и огляделся по сторонам. Галлюцинации? Вокруг меня, кроме членов моего экипажа, в землянке никого не было. Не свихнуться бы на почве любви до того, как начнутся настоящие боевые действия на Курской дуге.

Из репродуктора над нашей землянкой зазвучал голос Левитана: «От Советского информбюро... Сегодня, 22 июня, во вторую годовщину начала Великой Отече-

ственной войны, противовоздушные силы Красной армии сбили в районе Курска более ста двадцати фашистских стервятников люфтваффе...»

Даже не верится, подумал я. Ведь совсем еще недавно, 15 апреля, наш эшелон на станции Курская бомбили фашистские самолеты, но я не увидел ни одного из них сбитым. Может быть, особо уважаемый мною президент Рузвельт прислал Красной армии какие-то особые зенитные установки?

После сводки Совинформбюро из репродуктора зазвучала знаменитая песня Александра:

...Вставай на смертный бой
С фашистской силой грозною,
С проклятою ордой...

Итак, за спиной — ровно два года войны. Где я был в самые первые ее дни?

Вскоре после выступления Сталина 3 июля 1941 года и моего неудачного визита к военному комиссару Макеевки майору Баеву, о котором я рассказал в начале книги, я оказался на железнодорожной станции с твердым желанием любым путем оказаться на фронте. Я решил ехать к моему дяде в Актюбинск, в надежде, что он поможет мне пристроиться в одно из военных училищ.

В день моего отъезда накрапывал мелкий дождь. Город как вымер — ни людей на улицах, ни машин, ни трамваев, ни милиции — никого.

Железнодорожная станция Унион находилась от нас в 3 километрах. Пришлось добираться до нее пешком с вещмешком за плечами. На станции — тоже ни души. Стоял лишь длинный состав железнодорожных платформ с оборудованием завода Кирова, который эвакуировали в Нижний Тагил. Впереди состава пополнял запас воды паровоз. Я подошел поближе к паровозу, и тут меня окликнул седовласый машинист:

- Эй, парень! Тебе на восток?
- На восток.
- Хочешь, возьму тебя кочегаром?

Я охотно согласился, так как никакого выбора у меня по сути не было.

Машинист показал мне, что и как делать, предложил спецовку. И я довольно быстро освоил нехитрые приемы забрасывания угля в ненасытную паровозную топку. Но спустя час меня бы и родная мать не узнала: я стал похожим на шахтера, поднявшегося после смены из забоя. Черная угольная пыль покрыла все лицо, шею, руки и всю спецовку.

— Тебя как звать, парень? — спросил машинист, когда я остановился на минуту вытереть пот и отдышаться.

— Никлас.

— Прибалт, что ли?

— Ну да, прибалт, — соврал я. Мало ли что он может подумать, скажи я ему, что имя это американское.

— А меня будешь называть Петровичем, — сказал машинист.

Но, обращаясь к нему, я решил прибавлять к «Петровичу» слово «дядя». Получалось немного смешно: «Дядя Петрович». Он не возражал, видимо предполагая, что так принято в Прибалтике.

Петрович оказался человеком, на мой взгляд, мудрым и немногословным. Расстояние, которое в мирное время заняло бы не более пяти часов, мы от макеевской станции Унион до станции Дебальцево преодолевали больше недели. Было много неожиданных остановок, мы пропускали военные составы, которые шли на запад, к фронту, и составы с эвакуированными людьми, ехавшими на восток. Мы видели, как те составы не раз бомбили немецкие пикирующие бомбардировщики и обстреливали «Мессершмитты» на бреющем полете.

По дороге пришлось голодать, ибо на станциях ничего съестного нельзя было купить ни за какие деньги.

Однажды ночью, остановившись у закрытого для нашего состава семафора перед станцией Дебальцево, мы увидели зарево пожара. Петрович, знавший эту дорогу как свои пять пальцев, сказал:

— Должно быть, немец разбомбил здешнюю тюрьму. Она от железной дороги в двух или трех километрах.

— А что с заключенными, дядя Петрович? — спросил я.

— Одни, наверное, погибли, другие — те, что уцелели, дали деру, кто на восток, а кто и на запад, к немцам.

Мы стояли в ожидании сигнала семафора около двух часов. За это время к нам «пожаловал» новый пассажир. Он, словно призрак, явился вроде бы из ниоткуда: мы обнаружили его сидящим на куче угля в тендере. На вид ему было лет около сорока. Судя по его внешности: борода, стрижка, татуировки на обеих руках, я сразу почему-то подумал, что он один из тех заключенных, которые, как сказал Петрович, дали деру на восток. На вопрос, откуда он, пришелец ответил:

— Чернорабочий с завода. Завод частично эвакуировали в сторону Сталинграда, а частично разбомбили. Разбомбили и общежитие вместе со всеми шмотками и документами. Я с трудом успел выскочить в чем был. Доберусь до Сталинграда, зарегистрируюсь в ихнем военкомате...

Услышав, что Петрович обращается ко мне, называя меня Никласом, пришелец удивился и спросил:

— Откуда такое имя?

— Так записано в моем свидетельстве о рождении, — ответил я.

— А меня зовут... Юлий Цезарь, — неожиданно заявил нам, криво усмехнувшись, пришелец.

— Как римского императора? — с усмешкой спросил Петрович.

— Век свободы не видать — правда! — ответил Юлий Цезарь.

— А отчество?

— Отчество? Отчество мое... Клеопатрович!

— Странно! — заметил я. — Цезарь — имя римское, а Клеопатра — египетское.

Заметив неладное, Цезарь быстро нашелся:

— Я тут ни при чем, век свободы не видать! Мать родная рассказала мне, что наш батюшка был в стельку пьян и держал в руках не именов слов славянский, а какую-то старую книжицу.

Мы с Петровичем переглянулись, поняв, что вешает нам лапшу на уши.

— Но ведь царица Египта была женщиной, — сказал я.

— А это никем не доказано, — возразил странный пришелец. — Ну бывают же Валентин и Валентина, Ва-

лерий и Валерия, Петр и Петра. Так и в Египте — Клеопатр и Клеопатра...

— Ладно, — сказал Петрович, — будем тебя звать «Клеопатрыч».

— Годится! — обрадовался Юлий Цезарь. — А шамовки какой у вас не найдется?

— Сами уж какой день голодные, — ответил Петрович. — Хочешь ехать с нами, Клеопатрыч, — давай Никласу помогай кочегарить.

— Годится, — снова сказал Клеопатрыч.

Невдалеке от одной из наших частых остановок под вечер мы увидели много пчелиных ульев. Петрович посмотрел на них, вздохнул и произнес:

— Был бы поблизости пасечник, могли бы купить у него сот.

Клеопатрыч вдруг сказал, поспешно спускаясь вниз:

— Мне похезать надо!

Прошло еще минут двадцать, семафор для нас открылся. Я посмотрел вниз: нет Клеопатрыча. Сказал об этом Петровичу. Он дал несколько гудков. Никто не отозвался.

— Дал, видно, деру наш Юлий Цезарь, — произнес Петрович.

И мы двинулись вперед. Следующий семафор встретился нам минут через двадцать, и Клеопатрыч вдруг появился. В руках он держал свою майку, чем-то наполненную.

— Живем! — воскликнул он, широко улыбаясь. — До самого Сталинграда теперь с голодухи копыта не откинем!

— Где был? Чего принес? — строго спросил Петрович.

— Доставал рамы с сотами и еле-еле успел запрыгнуть на ходу на последнюю платформу, — ответил Клеопатрыч, раскладывая пчелиные соты на три равные кучки, грамм по пятьсот каждая.

— Украл небось! — сердито произнес Петрович.

— Не-не! Ульи абсолютно безхозные. Немцу достанутся. А Сталин 3 июля говорил: ничего фашистам не оставлять!

Я подумал в тот момент: если он сидел в тюрьме, неужели заключенные слушали речь Сталина?

— Прошу, граждане-господа, угощайтесь! — продолжал тем временем Клеопатрыч. — Наша врачиха в... э-э... наша врачиха на заводе говорила нам, что жевать пчелиные соты очень полезно. Лечат любые желудочные и кишечные болезни.

— Да, верно, соты лечат, — подтвердил Петрович.

И мы с голодухи набросились на соты.

А часа через полтора мы с Петровичем испугались: неужели отравились? У нас на животах выступили крупные капли чего-то липкого.

Клеопатрыч увидел наши испуганные лица и рассмеялся: он задрал свою рубаху до самой шеи и шутливо скормандовал:

— Делай как я! — В руке у него откуда-то взялась заточка. Он ею соскреб со своего живота крупные капли и слизнул их, соскреб еще и снова слизнул. — Чистый, стерильный мед! Не бойтесь! Врачиха говорила: так бывает, ежели на голодный желудок съешь много сот. Их надо жевать долго, сказала она нам. Теперь до самого Сталинграда будем жевать и слизывать, жевать и слизывать.

Станным и смешным человеком оказался этот Клеопатрыч. На одной остановке мы с ним вышли полежать на траве под лучами садившегося октябрьского солнца. И вышел у нас с ним примечательный разговор по душам.

— Вы в Сталинградском военкомате назовете себя тоже Юлием Клеопатровичем Цезарем? — спросил я его.

— Да ты что! — изумился он. — Да меня они там сразу за иностранного шпиона примут и посадят, как посадили в 37-м генерала Рокоссовского. Тот вроде бы шпионил сразу для японских и польских секретных служб. А почему? Лишь потому, что он родился в Варшаве и переписывался с сестрой, оставшейся там.

— Откуда у вас такие сведения о генерале Рокоссовском? — поинтересовался я.

— А мы... на нашем заводе... по беспроволочному телефону узнавали о всех посадках раньше всех, кто был на воле.

— А ваш сгоревший завод был зоной, не так ли? — спросил я, глядя ему прямо в глаза.

— Тюряга! — сказал он, тяжело вздохнув.

— За что вас посадили?

— Вы про голод по всей Украине слышали? — вопросом на вопрос ответил Клеопатрыч.

— Слышал и сам кое-что видел и испытал — по дороге на Донбасс и в самой Макеевке.

— Ну вот. А посадили меня с моим подельником за мешок черного хлеба и немного денег. Мы взяли магазин и удрали потом в Красный Сулин. Думали — там народу много, затеряемся. Но нас там накрыли и дали десятку на двоих. Непонятно? По пятерке на брата.

— А зачем вам понадобилось вешать нам с Петровичем лапшу на уши с Юлием Цезарем, да еще с Клеопатрычем?

— Ты сказал, что тебя зовут Никласом. А я подумал: туфта! И решил тебя переплюнуть.

— И с пьяным батюшкой тоже?

— Про Юлия Цезаря и про царицу Клеопатру я прочел в сильно зачитанной книжонке Шекспира. Но наш сильно умный пахан сказал, что это все туфта, что сам Юлий Цезарь был пидором, а царь Египта — на самом деле Клеопатр и что Цезарь назвал царя Клеопатрой, чтоб в Риме у них не догадались. Сколько за это давали в Риме, наш ученый пахан нам не сказал, но, если бы их по этому делу поймали в СССР, они бы оба по закону, который подписал всесоюзный староста Калинин, схлопотали по десятке строгого.

— Интересный был у вас пахан, — сказал я.

Петрович дал два гудка. Семафор для нас открылся. Мы двинулись дальше на восток.

В Сталинград на станцию Сортировочная прибыли утром. Душевно распрощались с Петровичем. Нашли какую-то районную баньку. Попарились, обмылись, Клеопатрыч сбрил черную «дикую» бороду. На трамвае поехали в центр Сталинграда.

Город раскинулся вдоль западного берега Волги-матушки километров на пятьдесят. Приехали мы с Клеопатрычем в центр к военкомату около полудня. Я тут же

купил в киоске все московские газеты, чтобы узнать последние новости с фронтов. А Клеопатрыч направился, я бы сказал, довольно смело, напрямик в военкомат, попросив меня дожидаться его на скамье в скверике. Он пообещал мне помочь в речпорту устроиться на пароход, идущий вверх по Волге до Куйбышева. Оттуда, я был уверен, сяду на поезд Москва—Алма-Ата и через сутки или двое буду в Актюбинске.

За чтением газет два часа промчались незаметно. Время от времени я посматривал на военкомат. В него входили и выходили люди, главным образом военные. Один из них вдруг направился прямо ко мне. Он был рядовым в новой форме и армейских ботинках с обмотками. Подошел ко мне, встал по стойке «смирно» и доложил:

— Рядовой маршевой роты Иван Иванович Иванов с увольнительной до 17.00!

Я оторопело смотрел на него и лишь через пару минут узнал. Вскочив со скамейки, обрадованно воскликнул:

— Клеопатрыч?

— Был да сплыл Клеопатрыч! Идем в речпорт. По пути расскажу тебе кое-что.

Мы пошли, и он рассказал:

— Во всех военкоматах сейчас большой недобор. И каждый военком из кожи вон лезет, чтобы хотя бы приблизительно выполнить спущенную ему цифру... Сказал, что я с завода, который немец разбомбил, поверили. Сказал, что документы сгорели, тоже поверили. Сказал, что зовут Иваном Ивановичем Ивановым, — выдали красноармейскую книжку с круглой гербовой печатью. Смори! — Он показал мне свою новенькую книжку и воскликнул: — Закон!

В речпорту меня ждала неприятная неожиданность: пассажирский пароход на Куйбышев ушел вверх по Волге час тому назад. А следующий будет или не будет через день. Но шустрый Клеопатрыч, или, вернее, теперь уже И.И. Иванов, сказал мне:

— Стой здесь, возле кассы, и никуда не отходи.

Он направился на пристань, где стояло несколько барж со скотом в ожидании буксира. Вскоре вернулся с каким-

то типом сомнительной внешности, тоже с татуировками на пальцах.

— Я дал ему на бутылку водяры, и он тебя пристроит на одну из тех барж, что сегодня уходят на Куйбышев. Годится, Никлас?

Я подумал несколько секунд — минуту и ответил:

— Годится!

Я тепло попрощался с экс-Клеопатрычем и через пару дней, медленно двигаясь вверх по Волге на барже, отметил мысленно свой семнадцатый день рождения в обществе коров, коз, баранов и свиней.

В Куйбышеве без проблем купил билет в общий вагон на поезд Москва—Алма-Ата и, лежа на третьей полке, размышлял над своей судьбой, устраивающей со мной всякие злые и невероятно смешные штучки. В поезде у меня было время тщательно продумать мои действия в Актюбинске. Попрошу-ка я дядю Родиона устроить меня не в училище, а на краткосрочные курсы пулеметчиков-мотоциклистов, так чтобы через месяц-другой оказаться на передовой. Мне сказали, что такие курсы сейчас существуют во многих тыловых городах. Скажу дяде Родиону, чтобы он никому о моем американском прошлом не говорил и что свой паспорт я потерял во время бомбежки. Решено!

Ретроспекция-2

Знакомство с Алексеем Толстым

На станции Актюбинск (по моей телеграмме из Куйбышева) встретил меня мой родной дядюшка Родион. И — огородил меня новым выкрутасом, предложенным мне судьбой.

— ...Приличная зарплата тоже дело не последнее, — издавело начал дядя Родион, когда мы шли со станции домой. — А вообще-то свершилось чудо. Три дня назад в местной газете попало мне интересное объявление: кинотеатру — есть у нас такой на улице Ленина, «Культ-Фронт» называется, требуется художник, рисовать афиши. Я — сразу туда, мол, говорю: «Племянник мой приезжа-

ет из Америки. Он художник». Ну, думаю, директор на это клюнет, — раз из Америки, значит, художник хороший. Короче говоря, тебя берут в штат и дали карточку на четыреста граммов хлеба в день. Так что это — дело решенное!

Я обратил внимание на то, что, рассказывая мне эти новости, мой дорогой дядя Родион лукаво улыбался. Мне при этом почему-то вспомнился Юлий Клеопатрыч, и я решил расставить все точки над і.

— Во-первых, дядя, — сказал я ему, — не профессиональный я художник, а самодеятельный; во-вторых, приехал я сейчас не из Америки, а с Донбасса; и, в-третьих, надеялся я, что вы меня пристроите в какое-то военное училище или по крайней мере на какие-то военные курсы, чтобы как можно скорее оказаться на фронте, на самой передовой.

— Это все мелочи, Никки: профессиональный, самодеятельный... Важна зарплата и 400 граммов хлеба; в Донбасс ты приехал прямо из Америки, и это святая правда; а на военные курсы я тебя со временем устрою.

Итак, планы мои рухнули. К величайшему разочарованию, вместо военного училища и настоящего фронта я оказываюсь на «Культ-Фронте». Ужас!

Я был огорчен и разочарован. Решил: как только придем к дяде Родиону, сяду и напишу письмо товарищу Сталину. Категорически заявлю, что мое место — на фронте, на передовой, а не в тылу чуть ли не за 3 тысячи километров от линии боевых действий. «Прошу Вас, товарищ Сталин, прислать в Актюбинск Вашего уполномоченного представителя, который проверит мои стрелковые способности и поможет мне записаться добровольцем в Красную армию. Необходимо, — напишу я, — чтобы все это произошло как можно скорее. В противном случае мне придется пробираться через всю Сибирь на Аляску. Там, в моей Америке, как снайпера, меня сразу же примут в морскую пехоту, и я получу возможность сражаться с ненавистными мне немецко-фашистскими агрессорами, но уже в рядах армии США...»

Дядя Родион жил в пригороде, на улице Московской, и его жилище, обнесенное забором двухметровой высоты,

напоминало маленькую крепость. Что находилось во дворе, с улицы было не видно. Дом был одноэтажный. Под единой крышей, разделенные стенкой, находились жилые помещения и хозяйственные. В жилой части было три комнаты и кухня с печкой, достаточно большой, чтобы зимой на ней спать. Одну комнату занимали дядя Родион со своей женой Улитой, другую — их дочь Зина с годовой Машей. Самая маленькая комната — два с половиной метра в длину и два в ширину — была приготовлена для меня. Находилась она между кухней и хозяйственной частью. Едва я вошел, как в ноздри ударил крепкий запах хлеба, тот самый, что сопровождал меня всю дорогу от Сталинграда до Куйбышева, на перевозившей скот барже.

Первым делом я написал и отправил письмо Сталину. Причем отправил его не по почте, а со станции, где проходил пассажирский поезд Алма-Ата—Москва. Это на тот случай, чтобы местный НКВД не задержал его здесь, в Актюбинске. Потом дядя Родион повел меня в здание самого кинотеатра «Культ-Фронт», на улице Ленина. Двор кинотеатра был окружен высоким деревянным забором. Во дворе была хатенка: художественная мастерская.

Директор, Александр Петрович, увидев меня, очень удивился. «Американского художника» он, видимо, представлял себе более солидным профессионалом, а перед ним стоял довольно странного вида парнишка. У директора было такое выражение лица, что, скорее всего, он подумал, что насчет «американца» дядя Родион, мягко говоря, загнул. Свой первый вопрос Александр Петрович задал мне не по-русски, а по-английски, но с сильным русским акцентом:

— Do you speak English? (Вы говорите по-английски?)

— Yes, sir, Alexander Petrovich! It's my native language. I'd love to... (Да, сэр, Александр Петрович, — ответил я по-английски. — Это мой родной язык, и я бы охотно...)

— No-no-no! (He-не-не!) Это слишком, слишком! — протестовал Александр Петрович, перейдя на русский. — Слишком длинное предложение, слишком много незнакомых английских слов. Понятно?

Я перевел свою последнюю фразу на русский, и директор понимающе кивнул. Потом он представил меня четырем своим сотрудникам: Аде Викентьевне, бухгалтеру (в Актюбинск она прибыла из блокадного Ленинграда через Ладожское озеро — по Дороге жизни), Станиславу Войтеку, киномеханику из расконвоированных польских военнопленных, Татьяне Ивановне, кассиру, и одной билетерше. Все они вместе с директором трудились в одной комнате.

Моя мастерская находилась во дворе. Афиши предстояло писать на фанерных щитах размером полтора на два метра. Александр Петрович сразу же дал мне задание и велел приступить к работе.

В конце декабря моим художественным способностям предстояло пройти суровое испытание. Надо было сделать афишу для документального фильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой». Александр Петрович принес большую фотографию одного кадра, где Сталин стоял на Мавзолее Ленина и провожал части Красной армии, уходившие с Красной площади прямо на фронт, линия которого протянулась тогда всего в нескольких километрах от столицы. Было ясно, что если я оплошаю и, особенно, если товарищ Сталин получится непохожим, эта афиша станет моим последним «произведением» в этом кинотеатре. У меня не будет ни работы, ни этих 400 граммов хлеба, на которые так рассчитывал дядя Родион.

Я призвал на помощь весь свой опыт, наработанный на улицах Нью-Йорка в стремлении заработать на хлеб, и не ударил лицом в грязь. Сотрудники кинотеатра зашли ко мне в мастерскую посмотреть на готовую афишу. Тут же оказался и дядя Родион. Все в один голос воскликнули:

— Похож! Как похож-то! Ну прямо как живой!

Кассир Татьяна, считавшаяся местной красоткой, хлопала в ладоши громче всех и при этом орала: «Похож! Похож!» Могло показаться, что она радуется больше, чем дядя Родион. У него же камень с души свалился. Что бы он со мной делал в случае неудачи?! Где бы еще нашел мне работу с приличной зарплатой и этим ежедневным пайком — 400 граммов хлеба?

Зима 1941/42 года в Актюбинске выдалась холодная и голодная, ужасно морозная и завьюженная. Для местных учреждений и для массы эвакуированных не хватало работы, продовольствия, жилья и, что самое главное зимой в Казахстане, топлива: угля, дров, торфа и кизяка.

На улице температура была за минус 30 градусов; в кинотеатре — около нуля. После улицы в нем казалось тепло. А у меня в моей маленькой студии было тепло и уютно по-настоящему благодаря железной печурке, которую все называли буржуйкой. Я топил ее целыми днями. Иначе было нельзя — в противном случае краски, смешанные с горячо сваренным вонючим столярным клеем, твердели и не годились для работы.

Дядя Вася, завхоз кинотеатра, снабжал меня топливом: старыми досками, бывшими частью высокого забора. Через неделю после начала моей работы в кинотеатре ко мне в мастерскую зашла Татьяна Ивановна и попросила, чтобы я ее нарисовал с натуры. Нарисовал. Ей понравилось. Она попросила еще и еще.

Зимой и летом в середине дня ко мне в мастерскую обычно приходил дядя Родион и приносил мне кастрюльку пшенной каши, сваренной с кусочками тыквы. Раньше пшенную крупу и пшенную кашу я терпеть не мог, теперь же, будучи постоянно голодным, я ее съедал сразу. На доньшке кастрюли не оставалось ни одного зернышка. После обеда дядя Родион обыкновенно заводил примерно такую речь:

— Знаешь ли ты, дорогой мой племяш, что происходящее теперь в Актюбинске и Казахстане — еще не голода. Вот в 20-х и особенно в начале 30-х на Украине и здесь, в Казахстане, был настоящий голод. Заметь, это был намеренно организованный партией и правительством мор. В 31-м и 32-м у нас в Украине дело дошло до того, что в селах появились настоящие вандалы, мерзавцы, которые из умерших от голода детишек варили холодец и возили его на базары в города. Я, помнится, писал твоему батьке не раз: «У нас на хатах серп и молот, а в хатах — смерть и голод...» Да-да, смерть и голод хозяйничали на нашей милой Украине долго. Села опустели... Я говорил твоему батьке: «Сиди в Америке и не рыпайся,

не привози сюда своих жену и сыновей». Но он меня не послушался, не поверил. И чего ему было не оставаться в Америке? Ну, скажи, чем вам там было плохо?!

Видно было, что дяде Родиону не дают покоя эти воспоминания. Я пытался с ним спорить:

— Чем плохо, спрашиваете, дядюшка? Я расскажу, чем было плохо в Штатах в годы Великой депрессии. О семнадцати миллионах безработных слышали? Про то, что их выбрасывали из собственных частных домов на улицу, слышали? Про то, что они по всей Америке жили летом и зимой в «гувервиллях» — поселках, где были хибары, сколоченные из деревянных ящиков, листов ржавой жести и фанеры, — слышали? О километровых очередях за миской чечевичного супа и чашкой черного, без молока и сахара кофе слышали? О том, что никакой помощи по безработице и в помине не было, слышали? Мой батько захотел организовать профсоюз в своем цеху на заводе «Бетлехем-Стилл». Так его хозяин завода — настоящий фашист, Чарли Шваб его зовут — с работы батьку уволил и еще внес в черный список, означавший, что нигде в Америке он не получит работу по специальности. Нас после этого выгнали из собственного дома на Восьмую улицу. Батьке нечем было заплатить последнюю тысячу долларов за наш дом в Бетлехеме, и мы переехали в Нью-Йорк, где мамин родственник устроил отца работать в многоквартирном доме на Манхэттене кочегаром. Отец получал за это лишь по одному доллару в день. И это для семьи из пяти человек, вместе с больной мамой без медицинской страховки... Вы, дядюшка, лучше не спрашивайте, почему миллионам американцев плохо жилось в богатейшей Америке... Знаете, на Бродвее я видел первый советский звуковой фильм «Путевка в жизнь» про советских беспризорников. Зрители после просмотра фильма говорили: «Подумаешь, нашли чем нас удивить! У нас в Штатах сотни тысяч беспризорных детей бродят по дорогам в поисках куска хлеба или где чего украсть. Взрослые бездомные разбивают в Нью-Йорке витрины магазинов, чтобы их забрали в тюрьмы. Там ведь бесплатная еда и ночлег». Все это, дядько мий ридный, происходило на моих собственных глазах!

Дядя Родион горестно вздыхал и переходил на свою излюбленную тему.

— Какого черта ты так стремишься попасть поскорее на фронт? — спрашивал он. Нередко при этом разговоре присутствовал его друг, донской козак по прозвищу дядя Вася (а по паспорту Степан Васильевич Талалаев; это он для моей буржуйки по ночам тырил доски от чужих заборов, чтобы я мог постоянно варить столярный клей и на нем разводить краску для рекламы).

— Почему ты готов воевать за эту Сэ-Сэ-Сэ-Рэ, за эту советскую власть? — грубо нападали они на меня порой вместе.

Они оба не скрывали своей ненависти к власти и к Сталину, и я понимал почему. Во время Гражданской войны дядя Родион, как он мне сам рассказывал, служил в легендарном полку красной кавалерии Николая Щорса. Тот ведь был за «землю, волю и крашчую долю» и против всех иностранных интервентов, против украинских буржуазных националистов и российских великодержавных шовинистов.

— Я Щорсу верил, — говорил дядя Родион. — Он был справедливый, умный и смелый командир. Мы все его любили.

В конце 1919-го за верную службу и героизм дядю Родиона наградили каким-то орденом. Щорс дал ему, что обещал: делянку земли и лошадь. Дядя на своей делянке выстроил дом, женился и, трудясь в поте лица, в конце 1920-х купил еще одну лошадь, еще одну корову, несколько овец, поросят, гусей и кур.

— И тут — нате вам: сталинская коллективизация. Большевики забрали все нажитое трудом и потом: и дом, и делянку, всю живность и сослали семью в этот богом забытый угол Сэ-Сэ-Сэ-Рэ под названием Казахстан.

То же самое примерно рассказал мне о себе и своей семье дядя Вася: раскулачили и отправили в казахстанскую ссылку. Оба они считали, что власть обманула и обобрала их.

— Какого черта ты стремишься на фронт воевать за эту власть? — спрашивал меня не раз дядя Родион.

Я же ему отвечал четко:

— Я хочу и буду воевать не за, а против, против немецко-фашистских агрессоров, которые угрожают своим нашествием не только странам всей Европы, но и моей родине — Соединенным Штатам Америки!

...Возвращаясь мысленно к февралю 1942 года, я часто вспоминаю удивительный эпизод, который оставил у меня глубокий след на всю жизнь. В то время как я, растянувшись на фанерном рекламном щите в мастерской, рисовал повторную рекламу кинофильма «Разгром немецко-фашистских войск под Москвой», ко мне неожиданно вошел незнакомый человек. Он не был сотрудником кинотеатра, и я его в Актюбинске никогда раньше не встречал. На нем была потрясающей красоты белая дубленка с большим отложным воротником, дорогая пыхжиковая шапка и унты, как у полярных летчиков. Он вошел ко мне с мороза, у него запотели очки. Он их снял и стал протирать большим белоснежным платком. Мне показалось, что очки у него в золотой оправе. Значит, он настоящий VIP (Very Important Person — Очень Важная Персона), подумал я. Надев очки, он взглянул на меня, лежавшего на полу, на рекламном щите, и обратился ко мне на английском языке, медленно подбирая слова:

— Можно у вас немного погреться?

— Да, сэр, — ответил ему я тоже по-английски. — Можете сесть на табуретку. Она у меня в мастерской единственная.

— В Актюбинске вы не первый человек, говорящий со мной на английском. Насколько я понимаю, акцент у вас американский. Так ведь?

— Да, вы правы. Я родился в США.

И тут меня осенило: он, должно быть, из Москвы, послан самим Сталиным, потому-то первый его вопрос был о моем английском!

— Мне в кинотеатре сказали, что вы приехали сюда прямо из Нью-Йорка. Это верно? — спросил VIP.

— Прямо из Нью-Йорка наша семья приехала в Ленинград. Оттуда в Москву. Товарищ Орджоникидзе направил

моего отца — сталевара завода «Бетлехем-Стилл» — в Макеевку на завод имени Кирова. А теперь я здесь, — рассказал ему я.

Он же меня прощупывает, изучает, подумал я. Сталин, наверное, показал ему два моих письма — от парня, приехавшего из Америки.

— И в каком же городе вы родились? — спросил мой странный гость.

— В Бетлехеме, графство Нортхемптон, штат Пенсильвания, — четко ответил я и рассказал кое-что о своем родном городе и о жизни в Нью-Йорке.

— Расскажите еще о вашей семье и о том, когда и как ваша семья сюда переехала. Можно поподробнее? — попросил VIP.

Теперь-то я уж был совершенно уверен, что он из Москвы, что это уполномоченный представитель.

— Хорошо, — согласился я. Было довольно странно, что за все время, пока я говорил, — а это продолжалось около часа, — он ни разу меня не перебил. Редкий оказался слушатель: весь внимание, сидел неподвижно, ловил каждое слово. Такого слушателя у меня еще не было.

— А где и когда вы овладели первыми русскими словами? — спросил он.

На такой вопрос отвечать мне было особенно приятно, я в Макеевке не раз рассказывал одноклассникам эту забавную историю. И я ее начал так, немного «литературно»:

— В девять утра четырехтрубный океанский лайнер «Мавритания» готовился отойти от причала в Нью-Йорке. Нарядные пассажиры стояли на самой верхней палубе. Был между ними и я — с родителями и двоими братьями. На мне был удивительной красоты элегантный светло-серый шерстяной костюм. Его мне купила мама на Пятой авеню в Нью-Йорке перед самым отъездом в страну большевиков — так в Америке все называли Советский Союз. Откровенно говоря, это был мой первый в жизни костюм. «Но если привезти тебя в «страну большевиков» в заношенной одежде, что они об Америке подумают?» — сказала мне мама перед отъездом.

Мой слушатель кивнул, и я продолжал:

— Провожали нас все наши нью-йоркские друзья и знакомые, и все восхищались моим дорогим костюмом. Представьте себе спортивный костюм-тройку: бриджи, жилет и пиджак. К ним прибавьте белоснежную рубашку, черный галстук-бабочку и черные, похожие на лаковые полуботинки!

Пароход пришел в Ленинград. Ярко светило июньское солнце, мы все были потрясены красотой города на Неве.

«Смотри, мам, — сказал я, — оказывается, большевики вовсе не разрушили все дворцы и церкви, как писали американские газеты. Видишь?»

«Слава богу, слава богу», — повторяла, крестясь, моя мама.

Пирс, к которому пришвартовался наш пароход, был разделен высоким ярко-красным деревянным забором на две части — для пассажиров и для грузов. У грузовой пристани стояла баржа, тоже ярко-красная. Молодые женщины и девушки выгружали из красной баржи красные же кирпичи. И головы у всех были повязаны тоже ярко-красными косынками. С фасада пятиэтажного здания на все это смотрел Сталин, портрет которого был написан разными оттенками опять-таки красного цвета.

«Ага! — воскликнул я, обращаясь к маме. — Теперь понятно, почему в американских газетах страну большевиков называют еще и Красной Россией! Потому что здесь все обожают красный цвет!»

Едва мы сошли на пирс, я подбежал к высокому красному деревянному забору и забрался на него, желая получше рассмотреть девушек в Красной России. Они остановились, разогнулись со своими кирпичами в руках и стали на меня глазеть, будто я какой-то циркач или инопланетянин. Все они мне улыбались и махали мне рукой. Я, конечно, понимал, что их потряс невиданной красоты костюм и черная бабочка.

Вдруг кто-то потянул меня за ногу. Это был мой Пап.

«Какого черта ты туда забрался?» — спросил он меня самым строгим тоном.

Я слез с красного забора и с удивлением спросил:

«А что в этом страшного? В Нью-Йорке я не на такие заборы залезал».

«Зачем залез на этот забор, я тебя спрашиваю?»

«Хотел получше рассмотреть русских девушек в красных косынках».

Пап ткнул указательным пальцем в картонное объявление, прикрепленное к красному забору, и сказал:

«Прочти это!»

«Ты что, Пап? Я же русского совсем не знаю, хотя здесь всего два каких-то слова и огромный восклицательный знак. Переведи, пожалуйста!»

«Тут сказано, что ты законченный болван», — сказал папа.

«Не может быть, Пап! Откуда им знать, болван я или нет? Ведь мы сошли с парохода всего несколько минут тому назад».

Стоявшие на пассажирской пристани люди — пограничники и таможенники — смотрели на меня и смеялись.

Мама, увидев меня, всплеснула руками и воскликнула:

«О господи милосердный! Что ты натворил, Никки?»

Я никак не мог понять, что я такого натворил. Что это пассажиры показывают на меня пальцами и хихикают?! Почему мама и Пап на меня так рассерчали?

«Сними свой измазанный масляной краской пиджак и посмотри на свои новые бриджи», — сказал Пап.

Я взглянул на бриджи и чуть не умер от потрясения и огорчения. И пиджак, и бриджи мои были вымазаны свежей ярко-красной масляной краской.

«Здесь написаны, — сказал Пап, — два русских слова, которые ты теперь запомнишь на всю оставшуюся жизнь: «Осторожно, окрашено!»

Это и были самые первые русские слова, выученные мною в Стране большевиков и Красной России.

Мой VIP расхохотался. Судя по выражению его лица и блеску глаз, рассказ ему понравился. Помнится, я тогда подумал: перед таким слушателем и посредственностью почувствует себя великим рассказчиком.

— Очень интересно. Ничего подобного не слышал, вы хороший рассказчик, — сказал он.

Его оценка мне польстила, и я сказал:

— Знаете, ваше лицо кажется мне знакомым. Не могли я рисовать ваш профиль на углу Бродвея и Пятьдесят седьмой улицы в начале 30-х?

— Нет, молодой человек, я никогда не бывал в Америке, — ответил он. — Вы могли видеть мои фото в газетах и даже в киножурналах. Я — Толстой.

— Что? Толстой? — Я невольно ахнул. — Граф?

— Граф, — с улыбкой подтвердил он.

— И писатель?

— И писатель, — снова улыбнулся он.

— Так я же видел ваш фильм на Бродвее, в Нью-Йорке! Все залы были переполнены! Ваш фильм шел с огромным успехом! Я сам посмотрел его несколько раз, причем бесплатно, так как я ваш фильм для кинотеатра рекламировал, бегая на Бродвее с афишей на картоне. Одна спереди, вторая сзади, как бутерброд.

— Интересно! А назывался-то фильм как? — спросил Толстой.

— Вы же сами знаете. «Война и мир»

Он хлопнул себя по коленям и захохотал. Он хохотал долго и заразительно. А я стоял в полном недоумении. Почему он хохочет? Что я не так сказал? Мой Пап — человек начитанный. Каждое воскресенье он посещал Севастопольскую городскую библиотеку, где слушал живьем Максима Горького и Куприна из Балаклавы. Мои дружки на Бродвее не знали, кто автор «Войны и мира», а я знал. Мне Пап сказал: автор — известный русский писатель и граф Толстой. Так почему же он так хохочет? Что я неправильно сказал?

Он наконец увидел через свои очки в золотой оправе, что со мной творится неладное и я смущен. Перестал хохотать и сказал мне спокойно:

— Тот граф и писатель Толстой Лев Николаевич умер, когда вас, молодой человек, еще на свете не было. Я — Алексей Николаевич Толстой. «Аэлиту» или «Гиперболоид инженера Гарина» видели?

— Видел, конечно, — ответил я. — Здесь все фильмы я тоже смотрю бесплатно. Там рекламировал и здесь рекламирую... Вы младший брат того Толстого? Он Лев Николаевич, а вы Алексей Николаевич, верно?

— Нет-нет! Мы лишь дальние родственники. — Он расстегнул свою красивую дубленку, и я увидел на лацкане его пиджака орден Ленина. Я неожиданно вспомнил где-то прочитанное еще перед войной: «Лауреат Сталинской премии, писатель-орденоносец Алексей Николаевич Толстой». Вот, оказывается, какого уполномоченного товарища Сталин ко мне прислал.

— Знаете что, — сказал я Толстому, — я тоже решил стать писателем.

Он удивленно поднял брови:

— Вот как?

Я немедленно развязал вещмешок, он как раз был при мне в мастерской, вынул из него 48-страничную общую тетрадь и подал ему:

— Тут один из моих детективов. Я написал его на английском. Если бы вы согласились его перевести на русский, то мы опубликовали бы его за двумя фамилиями: вашей и моей.

Едва я это произнес, как спохватился: «Ты что, идиот, сказал? Кто ты и кто он? Не понимаешь, туха! Ты пока еще желторотый птенец, а он? Он советский граф, писатель-орденоносец, лауреат Сталинской премии. Ты с кем собираешься книжицу подписывать?» Но не показать ему свою 48-страничную тетрадку я уже не мог. Вынул из вещмешка и подал ему. Рука у меня при этом дрожала.

Толстой взял тетрадь, открыл на первой странице, прочел вслух название «Любовь и кровь». Усмехнулся. В том своем «детективе» я написал о кровавой войне полиции Чикаго и Нью-Йорка с гангстерами типа знаменитого Аль Капоне...

Толстой прочел пару страниц, а потом положил мою тетрадку на пол и сказал:

— По сравнению с вашими интересными и живыми экспромтами о Бетлехеме, о Нью-Йорке и о себе ЭТО, — он указал на тетрадку, лежавшую на полу, — никуда не годится. Нечем будет разжигать вашу буржуйку, используйте страницы тетради.

Что же такое он говорит? Я оцепенел. Столько дней и ночей ушло на этот рассказ! Несколько раз пришлось переписывать! И всякий раз, перечитывая его, я чувство-

вал, что от волнения и оттого, что мне нравится мое творчество, — мурашки по коже.

Я был ошеломлен, возмущен. Я чувствовал, как лицо мое наливается краской. Глаза наполнились слезами. Увидев выражение моего лица, Толстой все понял и решил меня подбодрить. Он по-доброму улыбнулся мне и сказал:

— А знаете что, мой юный друг? Экспромты, вами изложенные, достойны всяческой похвалы. — Толстой даже похлопал меня по плечу: — Вот вам мой дружеский совет: купите-ка себе в киоске кинотеатра пятикопеечные блокноты и запишите в них все, в точности так, как вы мне рассказывали. Можете добавить еще какие-то подробности. Носите с собой свои блокнотики и записывайте все значительное и очень интересное. Лет через десяток у вас соберется замечательная книга

Тут дверь в мастерскую отворилась, и вошел директор.

— Алексей Николаевич, — обратился он к Толстому, — в зале — аншлаг! Все ждут, хотя вас увидеть и послушать ваше выступление. Расскажите нам о разгроме немецко-фашистских войск под Москвой?

— Непременно.

— И несколько слов о Пёрл-Харборе скажете? — спросил директор.

— Да-да, разумеется, — ответил Толстой. Он встал с табуретки, застегнул дубленку и протянул мне руку со словами: — Ну-с, мой юный друг, желаю вам творческих успехов. Надеюсь когда-нибудь увидеть ваши зарисовки и воспоминания в опубликованном виде.

— Спасибо, — сказал я и, не удержавшись, спросил: — А как же мои письма товарищу Сталину?

На лице Толстого появилось выражение крайнего изумления, из чего я заключил, что мое предположение, будто он уполномочен Сталиным проверить, кто автор двух писем и какой такой он снайпер, были лишь плодом моей фантазии.

Толстой с Александром Петровичем ушли в кинотеатр, где собрался весь партийно-хозяйственный актив Актюбинска и области, а я остался в одиночестве предаваться раздумьям.

Это еще один сюрприз, уготованный мне судьбой. Казалось, все вокруг перевернулось с ног на голову. Удастся ли мне когда-нибудь снова твердо стать ногами на землю?

Едва отойдя от потрясения, я пошел в зрительный зал, сел в заднем ряду и прослушал выступление Алексея Николаевича Толстого. Оно оказалось очень интересным, значительным. В конце вечера я набрался храбрости подойти к нему и в двух словах, изложив содержание моих писем Сталину, попросил его, по возможности, помочь мне в решении моей проблемы уровня ни много ни мало, а — «быть или не быть?».

— Да, — сказал Толстой. — Проблема непростая. Встречусь с секретарями Актюбинской области, расскажу им о вас. Может быть, это вам как-то поможет, — пообещал он.

— Спасибо, — только и сумел я выдать из себя.

Ретроспекция-3

Рубиновые звезды Кремля

На следующий день никто мне не позвонил ни из обкома партии, ни из военкомата... Значит ли это, что Толстому не удалось поговорить обо мне в обкоме партии или с начальством военкомата? — терзался я неопределенностью. Может быть, забыл?.. Или в Актюбинском военкомате сидит такой же тупица, как майор Баев в Макеевке?

От таких мыслей настроение к концу дня стало препаршивым. Еще вчера летел домой к дяде Родиону как на крыльях. А сегодня — теряю надежду...

Но неожиданно через два дня меня вызвал первый секретарь Актюбинского обкома комсомола и сказал твердым, уверенным тоном:

— Мы вас зачислили в нашу комсомольско-молодежную военизированную школу мотоциклистов-автоматчиков и во всеобуч при нашем Актюбинском горвоенкомате. Месяца через три по результатам ваших успехов направим вас в Москву.

— Годится! — радостно ответил я, — так говаривал мой попутчик до Сталинграда, неповторимый Клеопатрыч.

До сих пор не знаю, кто в большей мере подействовал на секретарей Актюбинского обкома партии, обкома комсомола или руководителей горвоенкомата: Алексей Николаевич Толстой, мой дядюшка Родион, сжалившийся-таки надо мной и пообещавший задействовать свои знакомства, или... Ворошилов. Да, Климент Ефремович Ворошилов, — после того как он оскандалился в Ленинграде, его назначили ответственным за подготовку резервов для фронта. Летом 1942 года он инспектировал в районе формирующуюся для фронта Актюбинска казахстанскую дивизию (для простоты мы называли ее «казахской»). Я тогда командовал взводом и одновременно был заместителем командира роты во всеобуче Актюбинского горвоенкомата. В моем взводе было тридцать 35-летних казахов (казавшихся мне тогда старыми), которые совсем не знали русского языка. Я быстро освоил все команды на казахском языке и командовал ими по-казахски, за это они меня здорово зауважали.

Как раз нас построили. Я, как и было положено, стоял на шаг впереди своего взвода «пожилых» казахов. В момент, когда Ворошилов проходил мимо меня и обратил внимание на мою выправку, я, видимо неожиданно для него, громко и четко выпалил:

— Позвольте обратиться, товарищ Маршал Советского Союза, по личному вопросу!

— Я вас слушаю, — ответил он, бросив на меня вопросительный взгляд.

И я доложил ему то, что приготовил на случай встречи с ним:

— В 1935 году вы, товарищ маршал, в Москве беседовали с американкой — руководителем профсоюза текстильщиков Соединенных Штатов. Это была моя старшая сестра Энн. Я тоже американец, и меня поэтому до сих пор не берут на фронт, хотя я — ворошиловский стрелок и во всеобуче почти полгода командую взводом. Считаю, что мое место на фронте, а не здесь, в тылу. Но бюрокра-

ты до сих пор меня задерживают, товарищ Маршал Советского Союза! — закончил я скороговоркой.

Ворошилов обернулся к своему адъютанту (или порученцу) и приказал:

— Запишите данные этого комвзвода.

1 сентября 1942 года Актюбинский обком комсомола направил меня в Москву, в военную спецшколу № 3 Центрального штаба партизанского движения, расположенную на Садово-Кудринской улице в доме номер 9...

25 июня 1943 года

Встреча с генералом Рокоссовским

В полночь пронзительно завывла сирена.

— Боевая тревога! — крикнул комвзвода Милюшев.

В отличие от прежних, учебных тревог, которые у нас назывались маршами сквозь чистилище, эта тревога была по-настоящему боевой.

Всю ночь корпус двигался на северо-северо-запад в район станции Мало-Архангельская примерно в 80 километрах севернее и чуть западнее Курска. Вести танк в колонне ночью, не включая фар, и при этом не съехать с дороги в кювет было очень сложно. И хотя наш механик-водитель Орлов — мастер своего дела, но и ему езда чуть ли не в полной темноте давалась с трудом.

На рассвете капитан Жихарев дал приказ разведrote разместить танки в небольшой березовой рощице рядом с деревенским кладбищем. Мой танк оказался рядом с бывшим немецким блиндажом, недалеко от которого находились две свежие немецкие могилы. Они отличались от всех других могил кладбища высотой надгробного холма и крестами, сделанными из березы. Сверху крестов были немецкие стальные каски. Ни имен, ни фотографий, ничего, что позволило бы установить личности тех, кому принадлежали эти каски, не было. Отступавшим изпод Сталинграда немецким оккупантам было уже некогда делать таблички.

Ночной марш-бросок был тяжелым испытанием не только для механиков-водителей нашего танкового кор-

пуса, но и для всех танковых и бронетранспортерных экипажей. Мы так все устали, так надеялись после бессонной ночи где-то на траве прилечь и как следует отоспаться. Но отоспаться поутру никому из нас не довелось.

Старлей Милюшев объявил приказ командующего Центральным фронтом на северном фесе Курской дуги генерала армии Рокоссовского: до вечера закопать танки в землю под самые башни, чтобы они стали «неприступными крепостями» для возможного вражеского наступления и, вместе с тем, чтобы наши танки могли поражать противника огнем из своих орудий и спаренных пулеметов.

— Поразить таким образом зарытый танк, — объяснил нам комвзвода, — может только прямое попадание крупной авиабомбы. Ясно?

— Так точно! — ответили члены моего экипажа.

Это означает, подумал я, если немцам удастся прорвать первую и вторую линии нашей обороны на северном фесе, мы должны будем стоять, что называется, насмерть.

Милюшев взглянул на часы.

— Танк должен быть зарыт по всем правилам к 20.00 сегодня! — приказал он и напомнил, что яма должна быть не менее 2 метров глубиной, 3 с четвертью метра шириной и 5 с половиной метров длиной.

— Задача ясна? — спросил он.

— Так точно, товарищ гвардии старший лейтенант! — ответил я.

И мы тут же принялись за работу.

Нормальными лопатами вырыть такую огромную яму оказалось бы куда проще. Но у нас были только саперные лопатки с короткими черенками. Чтобы успеть в срок, рыть надо было быстро и изо всех сил.

Во время одного из коротких перекуров, когда мы все четверо, едва живые от усталости, лежали на земле и дымили самокрутками с махрой, на горизонте показалась группа генералов и полковников с нашими комкором и комбригами. Их было человек десять—двенадцать. Во главе группы шел сам Рокоссовский.

Я узнал его мгновенно: выше всех ростом, статный, с необыкновенно приятными чертами лица. Мы вскочили,

надели танкошлемы и выстроились в шеренгу по стойке «смирно». Группа генералов шла проверять готовность войск нашего корпуса к оборонительным боям на случай вражеского наступления в самые ближайшие дни. Как только они приблизились к нам, я доложил:

— Товарищ командующий Центральным фронтом, экипаж танка Т-34 номер 13 разведроты заканчивает рытье, и, как нам было приказано, к 20.00 работа будет окончена и машина будет превращена «в неприступную крепость»!

Рокоссовский сдержанно улыбнулся и скомандовал:

— Вольно.

Пока я по всей форме отдавал рапорт, полковник-смершевец с синими окантовками на погонах подошел к Рокоссовскому и что-то ему сказал так тихо, что ни я, ни члены моего экипажа ничего не услышали. Однако я догадался, что полковник говорит Рокоссовскому что-то обо мне.

Командующий фронтом с интересом взглянул на меня и повторил то, что ему доложил полковник из Смерша:

— Мне говорят, что вы уроженец Соединенных Штатов. Это верно?

(Вопрос застал меня врасплох: попав в Красную армию добровольцем через Фрунзенский райвоенкомат города Москвы, я был абсолютно уверен — о том, что я сделал со своим паспортом, никто никогда не догадается. Я решил: все будет шито-крыто, ни одна собака не узнает, что на самом деле я американец, а не простой парень из Донбасса, за которого себя выдавал. Именно таковым и считали меня члены моего танкового экипажа, комвзвода гвардии старлей Олег Милюшев, комроты капитан Жихарев и все другие. Увидев полковника из Смерша и догадавшись, что он сказал Рокоссовскому, я подумал о себе: какой же ты идиот, Никлас!)

Эти мысли за секунду пронеслись в моей голове. Овладев собой, я отчеканил:

— Так точно, товарищ генерал.

— Давно в Советском Союзе? — спросил Рокоссовский.

— Почти восемь лет, товарищ командующий.

— Где проходили военную подготовку?

— В Актюбинске и в Московской военной спецшколе номер 3.

— Садово-Кудринская, 9?

— Так точно, товарищ командующий!

Он снова пристально посмотрел мне в лицо. Неужели он не вспомнил, как я танцевал вальс-бостон с его дочерью 23 февраля 1943 года? Я тоже внимательно посмотрел ему в глаза, пытаюсь понять, узнал он меня или нет.

Лицо его стало для меня непроницаемым. Повисла тяжелая пауза. Чтобы как-то разрядить ситуацию, я обратился к Рокоссовскому:

— Разрешите продолжать работу, товарищ командующий?

— Продолжайте, старшина, — ответил он.

Когда он и его свита двинулись дальше, я отчетливо услышал его слова:

— Что ж, поглядим, как воюют наши американские союзники.

Между тем у Орлова, Филиппова и Кирпо от удивления челюсти отвисли. Они таращились на меня так, будто я у них на глазах с луны только что свалился. Я догадывался, что творится в голове у моих ребят. Ведь до сих пор они меня считали стопроцентным украинским хлопцем, а странности моей речи списывали на макеевский выговор. Но вдруг — будто гром среди ясного неба! Невероятно: их и. о. командира танка — настоящий янки! Как же он, иностранец, смог пробраться в советскую военную спецшколу в Москве?

— Вопросы задавать после того, как танк будет в яме, — приказным тоном предвосхитил я любопытство моих соратников. — А сейчас — за дело!

Мы снова заработали своими, как мы их называли, «чайными ложками» и наконец, ровно в 20.00 задание было выполнено. Механику-водителю Орлову потребовалось ровно пять минут, чтобы поместить нашу тридцатьчетверку в яму. После чего все мы думали только об одном: спать, спать, спать...

Комвзвода гвардии старлей Милюшев предупреждал, что противник в любой момент может открыть артиллерийский огонь, поэтому каждый из нас выбирал для сна

место, казавшееся ему самым безопасным. Орлов и Филиппов улеглись спать в немецком блиндаже. Ефрейтор Кирпо устроился в танке. Я же решил спать на свежем воздухе и поэтому вытянулся в ложбине — как это ни покажется кому-то странным и даже жутким — между двумя свежими немецкими могилами. Они, как я надеялся, должны были защитить меня от возможных осколков.

Земля была теплой от жаркого летнего солнца...

Засыпая, я думал: сегодня семидесятый день с тех пор, как девушка моей мечты «советская Дина Дурбин» обещала меня найти. Сдержит ли она когда-нибудь свое слово? Или она просто так зло пошутила надо мной — доверчивым тьюхой?

30 июня 1943 года **В полевом госпитале**

Ничего не писал пять дней. Я очнулся в военно-полевом госпитале. Первые два дня ничего не слышал и говорил с трудом, заикаясь. Но сегодня чувствую себя значительно лучше. Кое-что слышу, могу что-то сказать и могу писать. Пытаюсь сообразить, что со мной случилось и как я оказался в полевом госпитале. Пытаюсь восстановить случившееся по обрывкам воспоминаний.

Вспомнил, как засыпал между двумя немецкими могилами, как мысленно представлял себе встречу с прекрасной девушкой — гвардии младшим лейтенантом медицинской службы с необыкновенно лучистыми глазами. Как вдруг в мой сон ворвался нарастающий шум, превратившийся в пронзительный свист, и страшный, потрясший все вокруг взрыв, будто перед концом света, он был громче залпа тысячи орудий... я мгновенно оглох и ослеп... Теперь казалось, что мой «американский череп» раскалывается пополам... И вот я в военно-полевом госпитале. Мне было известно лишь, что он расположился недалеко от нашего танкового корпуса.

Постепенно восстанавливаю в памяти то, что происходило накануне взрыва: группа генералов, разговор с ко-

мандующим фронтом Рокоссовским, танк уже в яме. Все мечтают только об одном: спать, спать, спать... Орлов и Филиппов ушли в блиндаж, Кирпо забрался в танк. Я улегся между немецкими могилами... березовые кресты со стальными немецкими касками...

В полдень в госпиталь пришли меня навестить ребята из моего экипажа. Они дополнили мои воспоминания.

— Под утро немецкий бомбардировщик сбросил бомбу. Единственную бомбу. Она разорвалась рядом с нами. Вскочили, осмотрелись. Все вроде бы целы. А тебя, старшина, нигде не видать, — рассказывал Орлов.

— Я подбежал к могилам, где ты лег спать, — вступил в разговор Кирпо. — Гляжу — ложбина между могилами засыпана землей. Кресты и каски — как ветром сдуло. Ну, думаем, разнесло тебя в клочья, старшина...

— Прибежал Милюшев, — продолжал свой рассказ Орлов. — Стал разбирать завал веток, искать хоть что-то, что от тебя осталось. Стоим, чешем затылки... Как вдруг видим — земля на месте, где были могилы, зашевелилась.

— Мы кинулись разгрести землю и нашли тебя! — встрял Кирпо. — Ага, похоже — живой! Узнать тебя было нелегко. Бледный, как покойник. Филиппов выковырял землю у тебя изо рта, из ушей, носа...

Филиппов закивал, подтверждая слова Кирпо.

— Подняли тебя, радуемся, что жив, кричим, кричим, — продолжал Кирпо, — но ты, видно, ни фиги не слышишь... На затылке у тебя обнаружили небольшую рану с кровью.

— Мы забинтовали тебе голову, — сказал Орлов, — и ты отключился. Милюшев приказал положить тебя на трансмиссию танка и срочно отвезти в полевой госпиталь.

— Знаешь, что интересно, старшина, — добавил Кирпо, — эти две немецкие могилы нашпигованы осколками, а тебя задел лишь один. — Он вынул из кармана кисет и положил его мне на ладонь. — Это тебе сувенир — осколок на память, — сказал он. — Если бы не эти высокие немецкие могилы, осколки бы из тебя решето сделали. Вишь, как вышло: живой немецкий летчик хотел тебя

прикончить, а двое мертвых фрицев решили тебя спасти. Знали бы мы их имена и фамилии — черкнули бы пару строк их родителям. Так, мол, и так вышло.

Мои ребята не заметили, как во время их рассказа в палату вошли двое врачей. Один из них, как я потом узнал, был полковником медслужбы по фамилии Селезень, второй — хирургом, капитаном медслужбы, его фамилия была Карлов.

— А может, немцы в своих могилах подслушали, как генерал Рокоссовский назвал тебя американским союзником! — пошутил Кирпо.

— О чем вы говорите, товарищ ефрейтор? — спросил полковник медслужбы.

Танкисты встали, отдали честь полковнику и капитану. А Кирпо вошел в раж и доложил:

— Наш командир танка оказался союзником — натуральным янки.

Капитан Карлов удивленно поднял бровь.

— Что значит «оказался»? — спросил он.

— Мы трое — свидетели, как наш командующий фронтом генерал-полковник Рокоссовский сказал об этом вслух в тот вечер, когда мы свой танк закапывали. А на другой день привезли к вам нашего старшину на танке.

Полковник Селезень, нагнувшись ко мне, спросил:

— Это правда, товарищ старшина?

— Так точно! — ответил я. И стал оправдываться относительно своего рождения в Америке: — Ведь сам Иисус Христос не знал, что появится на свет божий в Вифлееме. Рокоссовский тоже не знал, что будет рожден за границей, в Варшаве. Вот и я не знал, что появлюсь на свет в Штатах. Не моя это вина!

— А что, Рокоссовский и вправду тоже родился за границей? — не удержался от вопроса Филиппов.

— Вот что, товарищи танкисты, — прервал всех полковник медслужбы Селезень, — оставьте нас наедине с больным.

Не говоря ни слова, мои товарищи кивнули на прощание — мол, держись, старшина, — и покинули палату.

Теперь, подумал я, весь полевой госпиталь будет знать, что я родился в Штатах, и ко мне конечно же будут приставать с вопросами.

Селезень и Карлов осмотрели мою рану, проверили зрение, слух и координацию движений. Потом полковник спросил, помню ли я хоть какие-то свои ощущения непосредственно после взрыва. Я понимал, что им важно узнать, не поврежден ли мозг, не повлиял ли взрыв на мой «американский череп» и на мою способность мыслить.

Если найдут что-то серьезное, подумал я, то наверняка отправят в какой-нибудь тыловой госпиталь. Я встревожился: в таком случае у меня уже не будет ни возможности воевать с фашистами, ни случая встретиться с моей мечтой — Диной Дурбин.

Я напряг каждый нерв, собрал воедино обрывки памяти, желая доказать докторам, что все мои способности по-прежнему при мне, что я годен к службе.

— Мне кажется, — начал я, напрягая всю свою память, — я помню разговор с Рокоссовским, потом как мы все улеглись спать... помню свист бомбы и затем грохот... Мне показалось, что меня встряхнула какая-то неземная сила, высоко подкинула и швырнула о землю. Вот что я чувствовал...

— Еще что-нибудь помните? — спросил Селезень.

— Некоторое время, наверно, я был без сознания. Но потом стал пытаться понять, где я и что со мной случилось. Я на этом свете или на том? Надо мной земля. Значит ли это, что меня похоронили? О «том свете» мне говорила мама. Она у меня верующая. Отец — атеист. Он не верил в загробную жизнь. И я часто задумывался — кто же из них прав? Если права мама, то где мое место — в аду или в раю? Мама говорила мне не раз: если я буду хулиганить, то попаду в ад. Но, допустим, я жив и нахожусь на этом свете... почему же я чувствую над собой толстый слой земли? Меня приняли за убитого, пока я был без сознания, и похоронили?

— Очень интересно вы рассказываете о ваших мыслях, посетивших вас после ранения и контузии, — сказал полковник медслужбы доктор Селезень. — Продолжайте, пожалуйста.

Тут мне вспомнилась одна история, которую я решил пересказать врачам:

— Когда-то отец рассказывал мне о человеке, которого в Америке приняли за умершего и похоронили заживо. А через несколько дней кто-то проходил по кладбищу мимо его могилы и услышал приглушенные крики: «Хелп! Хелп! Хелп!» Сообщили в полицию. Раскопали могилу, открыли гроб. В нем лежал живой «покойник». У него были покусаны пальцы на руках. Сделал это он сам, когда понял, что его похоронили и надежды быть вырытым из могилы нет никакой. После этого в том американском городе перед захоронением мертвецам стали прокалывать сердце стальной иглой... Это мне рассказал мой отец.

Полковник и капитан медслужбы многозначительно переглянулись. Наверное, они раньше ничего подобного не слышали, подумал я.

Я замолчал.

— А вы, чувствуя над собой слой земли, не теряли надежду? — спросил меня полковник Селезень.

— ...На мгновение меня охватил ужас. Лежал я, как обычно во время сна, животом вниз. Заставил себя приподняться. Мне показалось, что я смог это сделать. Значит, слой земли надо мной не очень большой, подумал я. Если бы меня захоронили, я бы лежал спиной, а не лицом вниз. Решил проверить, что у меня с руками и ногами. Попробовал подвигать правой рукой и пальцами на руке. Работают. Смогу писать. Попробовал левую руку. В порядке. То же с правой ногой и с левой. Все, казалось, в порядке. Потом я вдруг вспомнил рассказ одного инвалида, безногого — ему после ампутации казалось, что может двигать пальцами ног... Испытывая ужас, я подумал: может быть, мне только кажется, что ноги и руки у меня в порядке, а на самом деле их у меня вовсе нет?.. Я стал изо всех сил двигать руками, ногами и головой. Движение слоя земли надо мной заметили ребята из моего экипажа. Отрыли. Подняли. Я видел, что все улыбаются, чему-то очень радуются. Рты у них при этом раскрывались и закрывались, как у рыб, выброшенных из воды на берег. Я их абсолютно не слышал. Понял: оглох совершенно. А когда они стали голову мне бинтовать, я полно-

стью отключился и пришел в себя только здесь, в вашем полевом госпитале.

Полковник медслужбы доктор Селезень задумчиво произнес:

— Ваш рассказ следует поместить в медицинские учебники для военврачей как иллюстрацию, чтобы специалисты знали, что испытывает, ощущает и о чем думает человек в сознании, попавший, как вы, под бомбежку и оказавшийся засыпанным землей. У вас было слепое осколочное ранение в голову и довольно неприятная контузия.

Затем, повернувшись в сторону капитана медслужбы Карлова, полковник распорядился поместить меня в палату выздоравливающих. Его распоряжение очень меня обрадовало. У меня будто огромный булыжник с плеч свалился: значит, я не безнадега, значит, меня не эвакуируют в тыловой госпиталь, значит, меня оставляют воевать с ненавистными агрессорами и значит, что для меня также жизненно важно, я, возможно, встречу с девушкой моей мечты!

Я считал не только дни, прошедшие после 16 апреля, когда мы с ней впервые встретились. Считал часы! Прошло уже семьдесят пять дней, или одна тысяча восемьсот часов.

С моей стороны это было, прежде всего, духовное влечение, но конечно же с примесью чувственности. Мне было уже полных восемнадцать лет. А «советской Диной Дурбин» я называл ее не только потому, что она и голливудская звезда казались мне двойняшками, а еще и потому, что я ведь не знал ни ее имени, ни отчества, ни фамилии, ни возраста. А что знал? Ее звание: гвардии младший лейтенант медицинской службы — это первое; имеет заслуженные боевые награды — второе; награды ей вручал лично генерал Рокоссовский — это третье. Вот и все...

1 июля 1943 года

В палате выздоравливающих

Шестой день в полевом госпитале. Полковник Селезень заверил меня, что через пару дней я смогу выписаться из госпиталя и вернуться в свою танковую роту раз-

ведки. Проснулся оттого, что в палате выздоравливающих шли оживленные дебаты о какой-то старшей медсестре. Я понял, что атмосфера в этой палате совсем иная, чем в прежней. Там были сплошные стоны солдат и офицеров, которым ампутировали руки или ноги и которые лежали в ожидании отправки в далекие тыловые стационарные госпитали. Многие из них плакали, хотя война для них уже закончилась, а для выздоравливающих, включая меня, она по-прежнему впереди.

Мои соседи дискутировали о том, которая из медсестер наиболее привлекательная и кто какую из них хотел бы поиметь.

— Самая-самая из всех — наша старшая медсестра, — авторитетно заявил мой сосед слева. — В жизни не видел девушки красивее.

— А звать ее как, лейтенант, узнал? — спросил кто-то из дальнего угла палаты.

— Я слышал, что санитары и санитарки, да и кое-кто из врачей зовут ее Принцессой, — ответил лейтенант, мой сосед слева.

— Это что, кличка, что ли? — спросил мой сосед справа от меня.

— Она младший лейтенант медицинской службы, — ответил мой сосед слева. — Мне сказал об этом земляк из Орджоникидзе — хирург Карлов. Ему можно верить. Он еще объяснил, что Принцесса — это прозвище нашей старшей медсестры. Так ее прозвали после того спектакля «Принцесса Турандот». Вернее, отрывков из спектакля — весной сюда из Москвы приезжали артисты Театра имени Вахтангова. Почему Принцесса? Дело в том, что наша старшая медсестра ведет себя как та юная китайская принцесса Турандот, красивая до невозможности, но очень гордая и неприступная. И сердце у нее каменное. Она отрубала головы всем ухажерам. Так вот, принцесса Турандот была неприступной, пока не встретила молодого принца Калафа... И наша старшая медсестра тоже гордячка, недотрога и ведет себя, будто она здесь главная.

— А наша старшая тоже китаянка? — попытался состричь кто-то из дальнего угла.

— Готовый спорить, — послышался другой голос с ма-
лороссийским акцентом, — що вона українка.

— Это да! — послышался третий голос от меня справа. — Уж очень девки у них красивые!

— А где она сейчас? — спросил кто-то, лежавший на-
против моей кровати. — Я ее, например, ни разу не ви-
дел.

— Она сейчас в командировке, — ответил сосед слева,
которого назвали лейтенантом. — Хирург Карлов мне
сказал, что полковник Селезень послал ее выбивать но-
вые американские автоклавы для госпиталя. Вернется из
Курска, я будь не я, а коготки ей обломаю! Если даже
выпишут меня из госпиталя, буду ошиваться здесь, по-
куда ее не поимею.

— Хочешь стать принцем Калафом, лейтенант? — ядо-
вито заметил мой сосед справа.

— Поживем — увидим! — заявил самоуверенный лей-
тенант. — Не было в моем Подмосковье девок, которых
бы я не смог взять, ежели было желание!

— И много взял?

— Вагон и маленькую тележку, — ответил лейтенант. —
Дюжины две — точно!

Я открыл глаза, чтобы взглянуть на самоуверенного
лейтенанта. Он это заметил и обрадованно воскликнул:

— Уря, ребя! Наш союзник проснулся! Аплодисменты!
Аплодисменты!

Кто-то похлопал в ладоши и произнес:

— Попросим его рассказать нам о его Америке.

— Да-да! — подхватил кто-то еще. — Интересно, видел
он, как у них там негров линчуют?

Какого черта! — подумал я. Что это он зовет меня со-
юзником? Может, он из Смерша? Интересно будет по-
смотреть, какого цвета у него окантовка на погонах?

Но тут я сообразил, что все проще: скорее всего, зем-
ляк лейтенанта из Орджоникидзе — доктор Карлов — пе-
ресказал ему то, что узнал от моего экипажа. Вот откуда
и появилось это «союзник». А раньше всех его произнес
по отношению ко мне генерал Рокоссовский.

Что было дальше, легко догадаться: мои коллеги по
палате засыпали меня вопросами о США.

— Расскажи нам о своей Америке! Расскажи! — орали мне со всех сторон. Почти каждый, с кем я знакомился в СССР, независимо от национальной принадлежности — русские, украинцы, евреи, казахи или узбеки, — все жаждали сведений о моей родине. Точно так же, как жители Бетлехема во времена моего детства жаждали сведений о Красной России.

Ретроспекция-4 **Американское детство**

— Знаете что, друзья, — сказал я, — поскольку говорить мне пока трудновато, я подумаю, о чем бы вам рассказать поинтереснее. Лучше после ужина, когда все в госпитале затихнет. Пожалуй, расскажу вам забавную историю о том, что бы я сделал, если бы остался в Соединенных Штатах.

Согласились.

После ужина все девять выздоравливающих собрались у моей кровати, несмотря на то что это было абсолютным нарушением госпитальных правил.

Свой рассказ я начал с того периода, когда я только-только окончил первый класс начальной школы имени Джорджа Вашингтона. Коротко — о моей компании, в которую входили родственники и друзья. Кузен Джонни был моим ровесником, он тоже окончил первый класс той же школы. Джиму исполнилось восемь лет, он уже отучился в трех классах нашей школы. Юджину и моему брату Джону было по десять лет, они перешли в шестой класс другой школы, называвшейся секондари-скул. А брату Майклу было уже четырнадцать лет, он стал десятиклассником в школе, называвшейся хай-скул. Вот такой был круг моего детского общения на нашей Восьмой улице в Бетлехеме.

До того дождливого воскресного утра все, за исключением меня, носили известные всей нашей улице прозвища. Майкла прозвали Ларди, то есть «Жирный». Но не потому, что он был таким на самом деле, просто-напросто он был плотнее всех остальных ребят. Брата Джона

окрестили Хеффи, что означало «Половинка» — он был почти вдвое худее Майкла. Юджина Пэтрика прозвали Ю-Пэ — по начальным буквам его имени и фамилии. Джима Коссэка прозвали Кроссайд — «Косоглазый», так как он на самом деле немного косил; а кузен Джонни — Малыш, потому что он был самым маленьким среди нас. Лишь у меня одного не было никакого прозвища, меня называли просто Никки. (Правда, позже, когда я уже заканчивал начальную школу в Нью-Йорке и мои одноклассники узнали, что наша семья, кроме сестры Энн, собирается переехать в большевистскую Россию, меня стали дразнить так: «Никки-Никки — большевики». Бывшее в то время у всех на слуху слово, к сожалению, рифмовалось с моим именем, пусть и со смещенным ударением.)

Дождь лил как из ведра, и мы все не могли пойти в наш любимый Сокэн, где обычно летом играли в бейсбол. А потому, сидя под навесом, обсуждали городские новости. Разговор зашел о том, кто чем займется, когда вырастет.

Ларди заявил, что станет художником. Это никого не удивило, так как он рисовал здорово и в своей хай-скул был уже главным редактором школьной юмористической газеты в картинках. Хеффи сказал, что пойдет в университет и выучится на профессора истории или литературы. Никто в этом тоже не усомнился — он уже тогда, в десять лет, вмешивался в наши с Малышом споры и пытался нас поучать. Ю-Пэ намеревался открыть на Восьмой улице народный банк. Тоже понятно, ибо в свои десять лет он давал в долг деньги, требуя своевременного возврата с процентами, которые тщательно высчитывал. Косоглазый решил сразу после четвертого класса бросить учебу и устроиться на какой-нибудь корабль юнгой.

— Хочу повидать мир, — объявил он нам свой выбор.

Малыш, большой любитель сладостей, намеревался открыть мини-фабрику по производству ванильного и шоколадного мороженого.

— А ты, Никки, что молчишь? Кем ты собираешься быть, когда станешь взрослым? — обратился ко мне Ларди.

— Боюсь, что вы поднимете меня на смех, если скажу вам, — честно признался я.

— Нет-нет, не бойся, Никки, мы не станем над тобой смеяться, — заверил меня Хеффи. — Честное слово, и чтоб я сдох, если сказал тебе неправду! — поклялся он.

Все остальные дружно его поддержали:

— Давай, Никки, говори, не бойся!

— Я твердо решил стать президентом Соединенных Штатов Америки. Вот!

Никто — ни Ларди, ни Хеффи, ни даже Ю-Пэ, выполняя обещание, даже не улыбнулись, но я видел, что они с трудом удерживаются от смеха. А Косоглазый и Малыш открыли рот от удивления.

— Как тебе в голову пришла такая идея? — спросил Ларди.

— О'кей, — сказал я. — Даю вам четкое обоснование своей идеи. Позавчера, в пятницу, отпуская нас на каникулы, наша училка мисс Смит сказала мне: «Знаешь ли ты, Никки, что на основании конституции Соединенных Штатов ты, как уроженец Бетлехема, по достижении тридцатипятилетнего возраста будешь иметь полное право выдвинуть свою кандидатуру в Белый дом?» — «Спасибо, мисс Смит», — поблагодарил я ее и пообещал это запомнить.

Тут в разговор вступил Ларди:

— А ты, Никки, знаешь, во сколько обошлись президентские выборы шестнадцатому президенту Соединенных Штатов Аврааму Линкольну?

— Во сколько? Скажи, если знаешь, — ответил я.

— В одну бочку яблочного сидра. Но... — здесь Ларди сделал многозначительную паузу, — но уже в 1928 году тридцать первому, Герберту Кларку Гуверу, президентские выборы обошлись в несколько миллионов долларов. Я знаю, я читал об этом. А в 1960 году, когда тебе исполнится тридцать пять лет, стоимость выборов в Белый дом обойдется кандидату в сотни миллионов долларов!

— Так вот что, Ларди, ты пытаешься мне объяснить, — сказал я на полном серьезе. — А скажи-ка, — не ты ли мне

на день моего рождения подарил толстого стеклянного поросенка?

— Ну я, — растерянно подтвердил старший брат.

— Так вот, — напористо продолжал я. — С помощью этой копилки к 1960 году я соберу столько долларов, сколько надо, и непременно выдвину свою кандидатуру в президенты! И знайте: с прошлой пятницы я уже не принимаю ни одноцентовые, ни пятицентовые, ни десятицентовые, ни даже двадцатипятицентовые монеты. Только долларовые банкноты. Меня поддержат миллионы членов профсоюзов Америки, потому что я за них буду стоять горой! Солидарность профсоюзов — это великая сила, — так говорит наш Пап. Разве нет, Ларди, Хеффи, Ю-Пэ, Косоглазый и ты, Малыш?

После моей эмоциональной речи все перестали смеяться или даже задумались.

— Ну хорошо, Никки, допустим, ты все-таки выигрешь выборы, — прервал паузу Ларди. — Какими будут твои первые шаги в качестве вновь избранного президента?

— Ты, Ларди, видел в журнале рисунки сверхзвуковых кораблей, которые будут в США к 1960 году? Я как раз стану президентом. Видел или не видел?

— Да, Никки, видел. Но это же иллюстрации, нарисованные фантастом... Неужели в 1960-х годах можно будет летать на Луну?

— Уверен: такие корабли будут к услугам президента! — горячился я.

Тут в набиравший серьезность разговор включились Ю-Пэ и Хеффи.

— Но зачем тебе, президенту Америки, нужны будут такие корабли? — спросили они оба.

— А вот зачем. В корабли я соберу по всей Америке таких хозяев заводов, как бетлехемский Чарли Шваб, которые запрещают на своих заводах профсоюзы, и отправлю их всех на Луну. И наша страна избавится от паразитов. И еще в один из таких сверхзвуковых кораблей я распоряжусь загнать всех крыс и отправить туда же, к чарли швабам!

На этот раз пауза была очень длинной. Все сидели задумчивые. Прекратился дождь. Из-за туч выглянуло солнце. Ларди встал и сказал:

— Наш Никки отныне и во веки веков будет носителем прозвища Великий Фантазер!

— Ну хорошо, хорошо, союзник, — прервал меня лейтенант. — А все-таки: что бы ты сделал, если бы тебя сегодня избрали президентом Соединенных Штатов?

Мне хотелось ответить, что первым делом я бы попросил «всесоюзного старосту» Калинина вручить орден Ленина и «Золотую Звезду» Героя не кому иному, как Франклину Рузвельту — за вкусную тушенку, прекрасные «Студебеккеры», «Форды», «Доджи» и «Виллисы», за самолеты «Кобра», за танки «Шерман», за многокилометровые линии проводов, радио- и телефонные аппараты...

Не успел я все это сказать, как раздалось тревожное:

— Полундра! Идет!

Через секунду свет потушили и все лежали в своих кроватях. Полог палаты распахнулся, кто-то вошел и зажег свет. Все девять выздоравливающих притворились спящими. Однако строгий и вместе с тем знакомый мне девичий голос произнес:

— Нечего притворяться! Я видела в палате свет и слышала голос рассказчика! Лучше признайтесь, кто был рассказчиком?

Я открыл глаза и задохнулся. На пороге стояла ОНА! Да-да, это была она! Я собрал в кулак всю свою волю и выпалил:

— Рассказчиком был я, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы!

— Принцесса! — с восхищением произнес мой сосед справа.

И тут произошло невообразимое.

— Никлас, милый, вы здесь? — Этот голос я не смог бы спутать ни с каким другим.

— Так точно, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! — ответил я взволнованно.

Она всплеснула руками, как это делала в таких случаях моя мама, и воскликнула:

— Боже праведный! Можно мне вас обнять?

— Нужно, товарищ гвардии младший лейтенант медицинской службы! — доложил я.

Не случайно ей вручили медаль «За отвагу» и орден Красной Звезды. Она не побоялась при всех подойти ко мне и крепко, сладко меня поцеловать!

А потом обратилась ко всем в палате и сказала приказным тоном:

— Отбой! — Потом добавила: — И спокойной всем вам ночи.

Я видел, как она подошла к выходу, как снова взглянула в мою сторону, как зажмурилась и вытянула чуть-чуть вперед губы... После этого свет погас. Через минуту или две мой сосед слева тихо, но отчетливо произнес:

— Принцесса Турандот нашла своего принца Калафа.

На эту реплику лейтенант рявкнул без изысков и церемоний:

— Заткнись, падла!

4 июля 1943 года

Возвращение в танковый взвод

Прощайте, золотые сады Эдема! Доктор Карлов выписал меня из полевого госпиталя, хоть я еще и не совсем поправился. Переживем! Доктор самолично доставил меня на госпитальной машине в распоряжение разведроты и велел моему командиру, гвардии старшему лейтенанту Олегу Милюшеву, поместить меня под арест и сообщить в Смерш, что я две ночи отсутствовал на своей койке в палате выздоравливающих.

— Где он был — неизвестно. И это, на мой взгляд, достойно того, чтобы вы, гвардии старший лейтенант, проинформировали об этом Смерш. Ведь он ваш подчиненный. И еще: не забывайте, что он иностранец!

— Да, товарищ капитан, я знаю о его разговоре с командующим Центральным фронтом генералом Рокоссовским и о том, что он американец, — ответил мой комвзвода.

Я этого разговора не слышал, но мне его с усмешкой передал Олег Милюшев.

— Вы собираетесь выполнить указание капитана Карлова? — спросил я Милюшева.

— А не пошел бы он знаешь куда?!

После такого ответа Олега я решил поделиться с ним многим из того, как я провел эти две ночи. В Америке сказали бы «He was at the Seventh Heaven» («Он побывал на седьмом небе»). Да, эти ночи останутся в моем сердце до конца моей жизни!

— Факты, Никлас, факты! — шутливо подзадорил меня Милюшев.

— Даю факты! 2 июля около четырех утра перед самым восходом солнца, рядом с нашим тентом выздоравливающих стали петь живые курские соловьи. Проснулся я от их трелей...

Никогда прежде ничего подобного не слышал. Заснуть под эти волшебные трели было бы преступлением... Я находился под очарованием соловьиных трелей до тех пор, пока в нашу палату не вошла девушка моей мечты, которую в госпитале прозвали Принцессой. Дело в том, что еще 16 апреля сего года я обещал ей нарисовать с натуры ее портрет. Она увидела, что я не сплю, и, ни слова не говоря, подошла к моей кровати и положила на тумбочку альбом для рисования, ластик и карандаши. Я спросил шепотом:

«Когда и где?»

«Написано в альбоме», — тоже шепотом ответила она.

«В пять вечера, в ста метрах строго на север от угла приемной нашего госпиталя у огромного векового дуба», — прочел я, после чего в этот день каждые полчаса смотрел на свои часы... Я ведь ждал эту встречу много дней и часов...

— Встретились у дуба? — спросил Олег.

— Да! — восторженно ответил я.

— И вы с ней провели всю ночь?

— Так точно!

— Она это подтвердит, если надо?

— Несомненно!

— Уверен?

— Абсолютно.

— А вторую ночь у того же дуба... с другой медсестрой? — спросил комвзвода с ухмылкой.

— Вы за кого меня принимаете, товарищ гвардии старший лейтенант?! — искренне возмущившись, спросил я.

Он все понял. Уверен: мое безграничное возмущение послужило весомым доказательством того, что я одинок.

— Это ее профиль ты нарисовал на внутренней стороне твоего танка?

— Так точно!

— Хороша!.. — сказал, глубоко вздохнув, Олег Милушев.

— Встречи с ней я ждал две тысячи триста пятьдесят пять часов. Можете мне поверить, товарищ гвардии старший лейтенант?

— Верю тебе, Никлас, верю!

— И понимаете меня?

— Понимаю, Никлас, понимаю... Вот что, Никлас: когда мы разговариваем вдвоем, можешь называть меня просто Олегом и без «вы». Ясно?

— Так точно, товарищ... да, Олег!.. Спасибо!

— Ты, Никлас, понял, почему я тебя спросил, подтвердит ли девушка, что вы две ночи были вместе?

— Думаю, на тот случай, если капитан Карлов поспешит доложить в Смерш о моем отсутствии в палате.

— Правильно думаешь, Никлас! — сказал он. После паузы он вдруг спросил: — А тебе не кажется, что капитан Карлов вытурил тебя из госпиталя раньше времени из-за ревности?

— Кажется! — подтвердил я. — Она сама мне говорила, что Карлов с первого дня своей службы в этом госпитале пытался затащить ее к себе в койку, но получил за это как следует по морде... Больше того, Олег, несколько не сомневаюсь, что идею выпроводить меня из госпиталя как можно скорее подал капитану Карлову еще один «ухажер», намеревавшийся «принцессе Турандот», как он выразился, «обломать когти». Это мой сосед в палате для выздоравливающих в звании лейтенанта. Он и капитан Карлов земляки из Орджоникидзе.

— Да-а, дела... Знаешь, о чем еще я подумал, Никлас? То, что происходило в нашей армии во второй половине 30-х годов, было зачастую результатом оговоров, наговоров, ревности и всякого другого свинства.

Я подумал, что высказать такое человеку, родившемуся за границей, мог только настоящий друг. На нем никак не отразилась информация о том, что «простой донецкий парень» на самом деле оказался уроженцем Соединенных Штатов. Олег был прямой противоположностью майору Баеву из Макеевского горвоенкомата. Мой командир взвода, одессит, оказался настоящим интернационалистом. И я решил, что с ним можно поделиться самым сокровенным.

— Знаешь, Олег, сегодня ведь — 4 июля, на моей родине самый большой и самый любимый праздник — Independence Day (День независимости). Мы его в США называем просто — праздник Четвертое июля. Он считается днем рождения Соединенных Штатов. США стали в этот день совершенно независимы от английских колонизаторов страны. Были бы мы на гражданке, я бы купил бутылку шампанского и мы с тобой ее распили... Знаешь, сегодня по всей Америке будут звучать большие симфонические и джазовые оркестры, в каждом большом и маленьком городе вспыхнут колоссальные фейерверки.

Олег, до этого заинтересованно слушавший, вдруг перебил меня:

— Стой здесь и никуда ни шагу, пока я не вернусь! Ясно?

— Ясно, товарищ... Ясно, Олег. Буду стоять насмерть! — пошутил я.

Но он меня уже не слышал, стремительно удаляясь куда-то.

Вернулся быстро. Вынул из внутреннего кармана маленькую чекушку, переложил ее из правой руки в левую и ударил в дно правой ладонью так, что пробка пулей вылетела из горлышка.

— За твой праздник Четвертое июля! — Олег отметил ногтем большого пальца середину бутылки и выпил точно половину. Потом вручил мне чекушку и сказал: — По-

здравляю тебя, дорогой ты мой друг и союзник, и твоих земляков!

Он вытащил из другого внутреннего кармана пачку беломора, и вместо закуски мы закурили, но не обычные самокрутки с махрой или самосадам, а настоящие папиросы. Где он раздобыл по случаю моего праздника чекушку и беломор, я его не спросил. Посидели немного молча. Олег вдруг сказал:

— О рапорте в Смерш забудь. Костями лягу, но в обиду тебя не дам! Ясно?

— Так точно! Ясно!

Ночь с 4 на 5 июля 1943 года Первое разведздание

За час до отбоя Олег успел рассказать танкистам нашего взвода разведки о том, как командующий Центральным фронтом генерал Рокоссовский на северном фасе Курской дуги организовал множество рубежей обороны, глубиной до 45 километров. Их строили не только саперы Центрального фронта, но и сотни тысяч гражданских мужчин и женщин Курска и области. И еще он рассказал, как Рокоссовский учил пехотные подразделения на рубежах обороны, лежа в окопе, пропускать поверху новые немецкие «Тигры», «Пантеры» и «Фердинанды». Сразу после этого — выскакивать из окопа, догонять немецкого монстра, прыгать на броню и бросать бутылку с зажигательной смесью в любую щель, после чего танк сгорит вместе с экипажем.

Ночь с 4 на 5 июля выдалась беспокойной. Спать довелось не более двух часов. Без десяти двенадцать разведроту подняли по боевой тревоге. Вокруг была полная тишина, не слышно ни канонады, ни пулеметных очередей и даже винтовочных одиночных выстрелов. Странной и необычной показалась нам эта тишина. Затишье перед бурей...

Внезапно из темноты появился комкор генерал Богданов в сопровождении нескольких офицеров, включая нашего комроты капитана Жихарева. Мы вытянулись по стойке «смирно».

— Для выполнения важнейшего на этот час боевого задания, капитан, — обращаясь к Жихареву, сказал комкор, — мне нужно десять добровольцев.

Олег Милюшев первым сделал шаг вперед, я последовал его примеру. То же сделали еще восемь человек, включая Орлова и Кирпо из моего танкового экипажа.

— Ситуация следующая, — продолжал комкор, — между нами и неприятелем на переднем крае и трех заградительных рубежах занимают оборону дивизии нашей 13-й армии. Ее разведке удалось захватить в плен немецкого сапера, который показал, что противник намерен начать наступление сегодня в 3.00. — Комкор взглянул на свои часы и добавил: — То есть через три часа.

Командующему фронтом требуется немедленное подтверждение этого времени. Разведуправление фронта поручило эту операцию нам, — сказал комкор, обращаясь к Жихареву. — Нужно немедленно захватить как минимум еще одного языка. Группу добровольцев отвезут на участок южнее станции Поньри. Вы, капитан Жихарев, со своими людьми выдвигаетесь на четверть километра восточнее группы добровольцев, организуете разведку боем, чтобы отвлечь внимание противника на позициях южнее станции Поньри. Вопросы есть?

— Вопросов нет, товарищ генерал, — в один голос ответили капитан Жихарев и старший лейтенант Милюшев.

Генерал Богданов еще раз взглянул на часы и сказал:

— На выполнение задания даю вам не более полутора часов.

Нашу группу добровольцев повезли на двух открытых американских «Виллисах». За рулем были офицеры, сопровождавшие генерала. Они, очевидно, хорошо знали местность и вели машины в темноте уверенно и почти бесшумно. Через двадцать минут мы остановились и проследовали за поджидавшим нас офицером 13-й армии. Прошли по тропе не более сотни шагов и залегли.

— Час тому назад, — прошептал этот офицер, — метрах в ста впереди слышался лязг немецких кусачек. Резали колючую проволоку. Теперь их саперы примутся за разминирование наших полос. Прямо перед вами — пя-

тиметровой ширины коридор без мин. Двигайтесь по нему по-пластунски, останавливаясь и прислушиваясь. Их саперы выйдут на вас.

— Есть, — шепнул в ответ Олег.

— Удачи, — сказал едва слышно офицер.

— Движемся клином вперед. Следите за командами: за левой — ты, Никлас; за правой — Орлов.

Милюшев имел в виду свои ноги. Эту тактику ведения разведки мы проходили не раз во время учений по захвату противника ночью. Олег будет подавать команды левой ногой по моей вытянутой вперед правой руке и правой ногой по левой руке Орлова. Один удар — значит, вперед, два удара — назад. Перед началом нашего движения вперед, метрах в двухстах справа от нас, началась автоматная и пулеметная стрельба и взрывы гранат. Это была разведка боем нашего комроты капитана Жихарева.

— Вперед! — шепнул нам Олег.

И мы следом за ним клином двинулись вперед.

Проползли метров пятьдесят и замерли, прислушиваясь к звукам впереди нас. Это напоминало тяжелое дыхание человека, вручную разгребавшего землю. Легким прикосновением левой ноги к моей правой руке Олег дал команду: «Готовность окружить!» Тем же способом я передал эту команду следовавшему за мной. Через несколько секунд впереди от меня справа послышалась короткая возня и сдавленный храп. Мне досталась одна человеческая рука, и я всем телом прижал ее к земле. Орлову досталась нога. Он ударом своего мощного кулака, видно, ошарашил немца и, когда тот раскрыл было рот, заткнул его плотным кляпом. Олег, видно, раньше не раз применял этот прием. Я ремнем связал руки немца, Орлов — ноги. Олег еще раз пристукнул его по темени кулаком, и мы поволокли обмякшее громоздкое тело добытого языка к офицеру, который проводил нас к «Виллисам», дождавшимся нас в небольшой балке.

Вернувшись к своим танкам, закопанным по самые башни в земле, мы узнали, что операция заняла один час и пятнадцать минут. В группе капитана Жихарева оказалось трое раненых. У нас все были целы.

5 июля 1943 года

Допрос языка

По знакам различия на погонах было видно, что пленный, которого мы взяли, — сапер в звании фельдфебеля. Из его правого нагрудного кармана Олег извлек солдатскую книжку, а из левого — листовку с обращением Гитлера к войскам группы армий «Центр».

— Спросите, когда намечено их наступление? — приказал Милюшеву генерал Богданов.

— *Wie viel kostet der Offensive?* (Когда начало вашего наступления?) — спросил у немца Олег.

Пленный сидел склонив голову и никак не реагировал на вопрос. Олег схватил немца за подбородок, сжал его в своей ручище, резко поднял его голову и жестко сказал:

— *Ich wiederhole die Frage!* (Я повторяю вопрос!)

Немец молчал. Олег угрожающе приказал:

— *Reagieren Sie sofort!* (Отвечать немедленно!)

Пленный продолжал молчать.

Капитан Жихарев, стоявший за спиной у немца, обратился к генералу:

— Товарищ генерал, разрешите нам со старшим лейтенантом применить к этому фрицу одну вспомогательную процедуру. Проверена на юге Курска. Действует безусловно, и пыткой ее не назвать. Разрешите?

— Разрешаю!

Жихарев передал Олегу бутылку с какой-то жидкостью. Она, видно, была заготовлена заранее, и, судя по всему, Олег знал эту процедуру. Он зубами открыл торчащую из горлышка пробку и сказал Жихареву:

— Готово!

Я не мог понять, что Жихарев и Олег собираются делать. Запахло медицинским спиртом. И тут Жихарев схватив челюсти пленного так сильно, что у того широко открылся рот. Олег тут же влил в рот пленного большую порцию спирта. Немец долго откашливался, обеими руками держась за горло. Из глаз его текли слезы. Но Жихарев челюсти пленного не отпускал. Олег снова резко спросил пленного:

— Du einen Drink wieder oder genug? (Хочешь выпить еще раз или тебе достаточно?) ...Товарищ капитан, отпустите челюсти. Он что-то хочет сказать.

Жихарев отпустил пленного и хрипло ответил:

— Genug! (Достаточно!)

— Wie viel kostet der Offensive? (Когда начало наступления?) — строго спросил его Олег.

Пленный, держась за горло, ответил:

— Artillerie wird um 4.30 und um 5.00 Uhr im Anfange behinnen. (Артиллерия начнет в 4.30, а наступление начнется в 5.00.)

— Berlin Zeit? (Время берлинское?) — спросил Олег.

— Das ist richtig! (Так точно!) — ответил пленный.

— Товарищ генерал, — доложил Олег Богданову. — Пленный назвал начало их артподготовки в 4.30 и начало их наступления в 5.00. Но это время берлинское. По Москве это 2.30 и 3.00!

— Дайте ему опустить голову, — приказал генерал. — Пусть отдышится.

Генерал повернулся к одному из офицеров и приказал:

— Молнию шифром Рокоссовскому: «2.30 и 3.00, время московское».

Насколько я понял, мои комроты и комвзвода таким нехитрым способом не раз и не два развязывали пленным языки.

— Но ведь это же своего рода пытка, — сказал я потом Олегу.

— Если бы меня взяли в плен и пытали так, я бы им говорил не «генуг», а «еще»! — рассмеялся Олег.

— А немецким ты где так хорошо овладел? — спросил я его.

— Под Одессой до войны было немало немецких сел. Жили в них немцы, приехавшие в Россию при Екатерине Великой. Рядом с одним из таких сел были наши пионерские лагеря. Вот там я еще в школьные годы выучился немного болтать на немецком.

Из показаний взятого нами пленного было получено подтверждение сроков немецкой артподготовки и самого наступления — до этого эти данные были добыты от ранее взятых в плен немецких саперов. Олег мне рассказал, что перерезывание колючей проволоки и разминирование полей саперами всегда предшествует большому наступлению противника.

— Но точно так же поступаем и мы, — сказал мне Олег.

Немецкого военнопленного отправили в отдел контрразведки для дальнейшего допроса, а нам позволено было устроить перекур и немного расслабиться. Олег снова угостил меня беломором.

Тем временем генерал Богданов о чем-то поговорил с нашим комроты капитаном Жихаревым, после чего громко позвал своего водителя:

— Баранов, портфель!

Капитан Жихарев приказал построиться всем участникам операции.

Через десять минут все, участвовавшие в выполнении операции, были награждены медалями и орденами. Жихарев и Олег Милюшев — орденом Красной Звезды, а все другие, и я в том числе, — медалями «За отвагу».

Я этого никак не ожидал. Мне казалось, что правительственные награды всегда вручает лично Михаил Иванович Калинин в одном из больших Кремлевских залов. Оказалось, что на фронте все обстоит совсем не так.

Генерал Богданов со своей свитой уехали от нас во втором часу ночи.

5 июля 1943 года Горячий денек

Нелегко было уснуть прошлой ночью и поспать хотя бы часа два. Наша вылазка за языком севернее железнодорожной станции Поныри, последовавший за ней странный допрос пленного и награждение участников операции — все это не позволило нам заснуть как следует, а лишь вздремнуть не более часа с минутами. А проснулись

мы — я и мой экипаж — оттого, что наш танк, казалось, стал пошатываться и земля вокруг дрожала.

— Похоже на землетрясение, — подал голос Кирпо.

Я осветил фонариком циферблат своих ручных часов. Стрелки показывали 2.21 по Москве. Если это немецкая артподготовка, то пленный фельдфебель нас обманул. Во время допроса он нам сказал, что артподготовка намечена на 2.30, а не на 2.20. Станция Поныри и Малоархангельская были от нас на расстоянии не более 15 километров. На север от них до линии фронта оставалось еще как минимум километров восемь—десять. Если то, что слышится оттуда, разрывы снарядов, то почему они рвутся не по нашей стороне фронта, а по их? Это казалось мне и моему экипажу очень странным и непонятным, пока в наушниках моего танкошлема не прозвучал бодрый голос Олега Милюшева:

— Ты меня слышишь, старшина?

— Слышу, товарищ гвардии старший лейтенант! Пленный фельдфебель нас обманул? Вместо 2.30 немцы начали свою артподготовку на десять минут раньше?

— Ошибаешься, старшина! — засмеялся Олег. — Не можешь отличить наш предупредительный артобстрел от немецкой артподготовки?

— Не понимаю. Вы о чем, товарищ гвардии...

— Это же работа нашей артиллерии! — сказал Олег и добавил: — Упредительный огонь по исходным позициям противника! Придумка Рокоссовского. Это он дал команду нашим артиллеристам, чтобы они смешали все карты генерал-фельдмаршалу Ключе. Понял, старшина, наш союзник? Поднимись и посмотри в сторону Ольховатки, Поньрей и Малоархангельска!

Я высунулся из люка, увидел на горизонте огромное зарево и услышал грохот, который раскатами отдаленного грома доносился оттуда. Земля содрогалась под нами от непрерывных залпов десятка тысяч артиллерийских орудий, минометов и реактивных установок, любовно названных «Катюшами».

В 3.05 в моих наушниках раздался бас капитана Жихарева:

— Вниманию командиров танков, танковых экипажей и взвода автоматчиков! Благодаря нашей предупредительной

контрартподготовке противник не смог начать свое наступление в намеченное время.

— Можем дрыхнуть еще пару часиков? — совсем не по-уставному вмешался Олег.

— Можете! — ответил капитан Жихарев.

Но даже во сне — если это можно было назвать сном — я чувствовал или мне казалось, что дрожит земля под нашим Т-34.

Артподготовка и последующее наступление немцев начались на два часа позже намеченного времени. Значит, не зря старались артиллеристы. Над полем боя появились сотни «Хейнкелей-111» и «Фокке-Вульфов-190». На этот раз немецкие бомбы и снаряды долетали и рвались, смешивая землю и небо чуть ли не в 5 или 8 километрах от нас.

Немецкая артподготовка началась в пять утра. На этот раз взрывы снарядов и авиабомб гремели на наших позициях. От взрывных волн наш Т-34 покачивался, как детская колыбель на ветру. Помимо наземной артиллерии, с воздуха наши оборонительные рубежи обстреливали штурмовики-истребители танков «Хеншель-129» и пикирующие бомбардировщики «Юнкерс-87». Налетали «Хейнкели-111» и «Фокке-Вульфы-190». В десятке километров от нас был сущий ад, все в дыму, в огне, в облаках пыли. С пяти утра до девяти вечера — шестнадцать часов без перерыва — бомбежки, артиллерийские, минометные и пулеметные обстрелы вместе, подрывающиеся на минах танки и самоходные орудия. Нервы напряжены до предела. Капитан Жихарев приказал всем быть готовыми в любой момент двинуться в эпицентр этого ада, в сторону Ольховатки, Понырей и Малоархангельска.

Завтрака у нас не было, как, впрочем, и обеда. Но все, казалось, забыли, что такое голод. А перекуры — через каждые 20—30 минут: в ход шли табак, махорка и даже самосад, пробиравший до самых печенок.

В половине десятого вечера наконец к нам в роту прибыла полевая кухня. Нам конечно же привезли тради-

ционный «кондёр», смешанный с полюбившейся всем — и рядовым и офицерам — «улыбкой Рузвельта»: перловой кашей с потрясно вкусной американской мясной тушенкой.

— Как ты думаешь, командир, знает ли президент Рузвельт или английский король Георг VI, до чего же это здорово, ну до чего вкусно?! — спрашивал меня, выскребая котелок до последнего зернышка и смачно облизывая ложку, стрелок-радист Кирпо. С ним были согласны все, включая меня.

На его шутку я отвечал своей:

— Я уверен, что рецепт этой американской мясной тушенки придумала умнейшая и добрейшая из всех американских женщин — супруга президента Элеонора Рузвельт. Если доживем до конца войны и до свадеб, советую назвать своих дочерей Элеонорами! (Все, как выяснилось, в моем экипаже, включая меня, были холостяками.)

В десять вечера старший лейтенант Милюшев собрал нас возле своего танка и сообщил об изменениях обстановки за последние шестнадцать часов:

— В секторе десяти—пятнадцати километров к северо-западу от нас в районе населенных пунктов Ольховатка, Поныри и Малоархангельск противник предпринял многочисленные атаки с применением новых радиоуправляемых танков Б-4, самоходок «Фердинанд» и танков «Тигр». Наши боевые противотанковые группы, сформированные по инициативе генерала армии Рокоссовского, сражались до последнего. Ими выведены из строя все, подчеркиваю, все до единого радиоуправляемые танки и тридцать семь из сорока девяти «Фердинандов». Наши потери тоже большие. На оборонительные рубежи Малоархангельска, Понырей и Ольховатки сегодня было совершено более девятнадцати мощнейших атак с постоянными бомбежками. По меньшей мере сто тысяч человек с обеих сторон были убиты или тяжело ранены. Сожжено и выведено из строя более сотни наших танков. Малоархангельск выстоял, и станция Поныри выстояла, но в районе Ольховатки противнику удалось вклиниться в нашу оборону на глубину более восьми километров.

Гвардии старший лейтенант Милюшев умолк, задумался. Потом скомандовал, но уже не таким официально-командирским тоном:

— Попробуйте, ребята, поспать часа три-четыре, так как завтра нас могут кинуть в контратаку. Завтра немцы начнут вгрызаться в наш второй оборонительный рубеж. На сегодня все. По машинам! Отбой!

6—8 июля 1943 года «Малый Сталинград»

Спал плохо, снились кошмары. Видел во сне, что меня окружают «Тигры» и «Фердинанды». Я прицельно отстреливался, пока фрицы не подожгли мой Т-34. Мне удалось выскочить через верхний люк. Немецкий снайпер пробил мне левое предплечье. Я свалился на землю. Фрицы тут как тут. Поволокли меня к своему «Фердинанду» на допрос. Начинают допрашивать. Я молчу. Говорю им по-английски:

— I don't understand German! (Я не понимаю немецкого.)

Один из фрицев спрашивает меня по-русски:

— Русский понимаешь?

— I don't understand what you are asking me. (Я не понимаю, что хотите спросить меня.)

Один из фрицев со знаками СС на погонах хватает меня сзади за челюсти и так надавливает, что у меня поневоле открывается рот. Что они собираются залить мне в горло? В этот момент рядом с «Фердинандом» разрывается советский снаряд...

Я проснулся в холодном поту. Было страшно. Я с трудом выбрался из танка и увидел, что рядом с ним оказалась свежая воронка диаметром около метра. Посмотрел на гусеницу и на катки. Они в порядке, но обляпаны влажной землей. Значит, взрыв, разбудивший меня, был не во сне, а наяву. И похоже, был не немецкий, а наш, выпущенный из противотанковой сорокапятки.

Я забрался в танк. В наушниках — голос Олега Милюшева:

— Все живы?

— Пока да! — отвечаю.

— Раненые есть?

— Нет!

— Снаряд, похоже, наш, шальной. На войне все возможно!

— Я тоже так подумал, товарищ гвардии старший лейтенант!

— Ладно, Никлас, спим еще часок, если не будет боевой тревоги.

— Gute Nacht, mein Freund! (Спокойной ночи, друг мой!) — ответил я ему по-немецки.

— Gute Nacht, mein Freund! — усмехнувшись, повторил Олег.

В 6.00 нам сыграли подъем. Но это была не боевая тревога.

— Вместо нас, — сообщил нам комроты капитан Жихарев, — Рокоссовский из своего резерва направил в бой в район Ольховатки и Подольяни 19-й отдельный танковый корпус генерала Васильева.

В середине дня у капитана Жихарева для нас было новое сообщение. Сегодня утром, сказал он, пока 19-й танковый корпус сосредотачивался в исходном районе, немцы кинули для прорыва второго оборонительного рубежа в район Ольховатки более двухсот танков. Навстречу немецким танкам в бой вышли более сотни тридцатьчетверок, английских «Черчиллей» и самоходок нашей 2-й танковой армии. Они зашли во фланги немецкой ударной группировке и расстреляли более сорока немецких машин. Но при этом сами мы потеряли около пятидесяти тридцатьчетверок и «Черчиллей».

В девять вечера комвзвода Олег Милюшев, вернувшийся с НП, добавил к дневной информации:

— Соединения 19-го танкового корпуса нанесли удар в направлении Подольяни лишь в пять часов вечера. Но под ураганным огнем немецкой артиллерии, «Фердинандов» и «Юнкерсов» вынуждены были с большими потерями вернуться на исходные позиции. То, что я увидел

над полем боя, труднопередаваемо. Это было настоящее побоище — и с нашей стороны, и с их... Все горело, дым... Темно было, как в сумерках...

А мы целый день простояли в резерве. Непонятно, что хуже: вступить, наконец, в бой или стоять в резерве. Как писал Хемингуэй: «Быть у двери, за которой гибель, или погибнуть».

Мы понимали, что, если немцы прорвут второй оборонительный рубеж, жизнь каждого из нас окажется на волоске.

В небе над полем боя проносились советские штурмовики. Но появлялись и немецкие самолеты, угрожавшие нашим танкам.

6 и 7 июля мы видели воздушные бои между самолетами. Было заметно, что ни одна из сторон не могла добиться господства в воздухе над полем сражения. Многие советские и немецкие самолеты загорались у нас на глазах и взрывались прямо в воздухе или, оставляя за собой длинный черный шлейф, падали и взрывались вместе с экипажами на земле.

8 июля 1943 года комроты капитан Жихарев рассказал нам:

— Вчера весь день продолжался бой и за железнодорожную станцию Поныри. Поселки Поныри-1, Поныри-2 и станция Поныри несколько раз переходили из рук в руки. Бои на улицах Понырей были до того яростными, что и немецкое, и советское радио называют эти населенные пункты Малым Сталинградом. Потери с обеих сторон ужасно велики: убитых и раненых — тысячи. Выведено из строя несколько сотен танков и пушек. Но сегодня противник через второй оборонительный рубеж не смог прорваться!

— А почему Поныри называют Малым Сталинградом? — спросил заряжающий Филиппов.

— Потому что бои каждый раз шли за каждый дом и даже полдома, как было в Сталинграде, — ответил Жихарев и добавил: — Очевидно, завтра настанет наша очередь идти в бой. Поэтому расходитесь все по своим машинам. Спать всем только в танках, а взводу мотострелков — в бронетранспортерах.

11 июля 1943 года

Накануне

По словам нашего комроты капитана Жихарева, за последние шесть дней противник потерял более половины имевшихся к началу наступления самоходных орудий, тяжелых танков и пушек, а также половину живой силы. Тяжелые немецкие танки оказались уязвимы для нашей артиллерии, противотанковых ружей и штурмовых групп, созданных по инициативе Рокоссовского. Жихарев рассказал, что перед нашими рубежами обороны было заложено полмиллиона противотанковых и противопехотных мин.

Наши танкисты быстро поняли, что «Тигры» и «Пантеры» становятся уязвимыми, если, благодаря превосходству в маневренности Т-34 над немецкими тяжеловесами, заходить с боков. У немецких танков боковая броня значительно тоньше, чем лобовая.

Все эти шесть дней наши нервы были на пределе, я даже боялся, как бы кто-нибудь не сошел с ума.

— Приободритесь, сынки! — Жихарев всегда так называл нас, если у него было хорошее настроение. — Немецкое наступление наконец захлебнулось. Продвижение вражеских войск полностью остановлено. Понимаете, что это значит? Гитлер поставил на карту все, а результат какой?!

...Каждую из этих шести прошедших ночей — а спать в эти дни удавалось очень мало — я в коротких снах видел свою Принцессу. Так она и стояла у меня перед глазами, будто наяву. Я видел ее прекрасное лицо, сверкающие глаза, удивительную улыбку... Представлял себе, как моя дорогая Принцесса с группой санитаров, как было в Сталинграде, вытаскивает тяжелораненых с поля боя. Интересно, какой будет наша следующая с ней встреча? Если будет...

12 июля 1943 года

Контратака

В 3.30, перед рассветом, прозвучал сигнал боевой тревоги. Более ста танков и самоходных установок нашей бригады и разведроты ринулись в контратаку. В 4.30, ока-

завшись примерно в километре от передовой, мы увидели сотни вражеских танков и бронетранспортеров, движущихся нам навстречу. В небе пронеслись около сотни наших штурмовиков и истребителей-«яков», стреляя по врагу 37-миллиметровыми ракетами. Впереди нас поднялась стена пыли, дыма и огня. Наши танки на полной скорости, скрываясь в этой пелене, пошли левее, чтобы зайти немецким танкам во фланг.

Вокруг стоял оглушительный грохот стреляющих пушек, рвущихся снарядов, падающих на землю самолетов, смешанный с ревом танковых двигателей и воплями умирающих. Даже вдали от нас пастбища и луга пылали.

Перед нами раненый водитель сознательно направил свою машину на таран «Тигра», оба танка вспыхнули. Тяжелый удушливый дым висел в воздухе, закрывая солнце. Остался позади первый ряд горящих немецких танков и бронетранспортеров.

У «Тигров» и «Пантер» были гораздо более мощные пушки, чем у нас, они могли поражать цели с большего расстояния. Правда, в ближнем бою преимущество было на нашей стороне, Т-34 оказывался гораздо быстрее и маневренней, чем немецкие тяжелые танки.

При сближении с вражеским «Тигром» Орлов уходил в сторону, заходил сбоку, а Филиппов в это время стрелял бронебойными, пробивая боковую броню и выводя из строя гусеницы. Кирпо стрелял из пулемета по всему, что двигалось справа от нас.

Мы знали, что наш танковый корпус был последним резервом у Рокоссовского. Поэтому выбора не было: либо мы уничтожим противника, либо он нас. Честно говоря, ни я, ни мой экипаж не рассчитывали выйти из этого боя живыми и невредимыми. Мы не считали, сколько выпущенных нами снарядов попало в цель, сколько вражеских машин мы вывели из строя. Не считали мы также немецких солдат, которых ранили или убили. Вражеские снаряды попадали в наш танк, но мы не знали, сколько раз и куда именно попадали. Как сумасшедшие, мы носились вперед-назад по полю боя, стреляя и сокрушая гусеницами все, что было перед нами. Я командовал танком, высунувшись из верхнего люка.

Примерно в полдень неподалеку от железной дороги, шедшей через станцию Поньри, в облаках дыма я заметил окопавшегося красноармейца-пулеметчика, который строчил как бешеный. Мы промчались мимо, я обернулся и увидел, что у него нет головы. Кровь фонтаном била из шеи, но пулемет еще строчил. Видно, пальцы убитого все еще давили на гашетку...

В поисках немецких танков мы пересекли железнодорожные пути. К вечеру, когда бой стал затихать, я рассказал экипажу о пулеметчике. Но они мне не поверили, подумали, что мне это показалось. Орлов сказал, что это фокусы моего буйного воображения, разыгравшегося от увиденного во время жестокого боя.

— Ладно, — сказал я и предложил: — Давайте вернемся к тому месту. Это недалеко.

Повернули назад. Темнело. Однако пулеметчик без головы оказался на месте. Он во время боя убрал со своего пулемета бронешит, пытаясь повысить маневренность и добиться меньшей заметности, но именно это стоило ему головы.

Орлов, Филиппов и Кирпо смотрели на изуродованного пулеметчика ошалелыми глазами. Его туловище склонилось на кожух пулемета. А рука осталась на спусковом рычаге. Гимнастерка была покрыта слоем запекшейся крови. Жетона на шее не оказалось. Мы расстегнули карман гимнастерки, нашли красноармейскую книжку и фотокарточку, сильно измазанные кровью. С фотографии на нас смотрело лицо красивой молодой женщины. На обратной стороне сквозь пятна крови с трудом прочли два слова «...тебе с любовью». Ни имени, ни фамилии мы прочесть не смогли. Любовь и война, подумалось мне, никак не совмещаются. Мы с трудом высвободили руку пулеметчика от спускового рычага и похоронили бойца в его окопе. Голову так и не обнаружили — ее, скорее всего, разнесло вдребезги. В могильный холмик мы воткнули найденную невдалеке от окопа гильзу от 76-миллиметрового снаряда, внутрь которой вложили окровавленную красноармейскую книжку и фотокарточку женщины.

Я обратился к своему экипажу:

— Знаете, друзья... Может быть, после войны кто-то найдет эти красноармейскую книжку и фотокарточку. Может быть, какая-нибудь газета напечатает эту фотографию, и тогда женщина узнает себя. Может быть, когда-нибудь она узнает, как погиб ее любимый...

20 июля 1943 года **Наступление**

Немецкие войска не собирались отступать. Не было у них неразберихи, не было панического отступления, на которые мы надеялись. Каждый наш метр вперед давался колоссальным напряжением сил, потерями людей и техники. Нам приходилась, что называется, зубами вгрызаться в оборонительные рубежи немцев. Они стойко защищали каждую свою позицию. Опытные и хорошо вооруженные, они не раз переходили в яростные контратаки. Тем не менее, когда удавалось брать пленных солдат, многие из них кричали: «Гитлер капут! Гитлер капут!»

Кровавые атаки и контратаки сменяли друг друга, передовая смещалась то вперед, то назад. После 12 июля каждый божий день грохот пушек, разрывы бомб, минометная и пулеметная стрельба не умолкали ни днем ни ночью. Страшнее всего были душераздирающие крики агонирующих раненых.

За восемь дней с 12 по 20 июля мы видели буквально тысячи и тысячи — наших и немецких — недавно убитых солдат и офицеров, тела которых не успевали хоронить. Трупы на солнцепеке разлагались, наполняя воздух ужасающей вонью. Похоронные команды не успевали справляться. Медики тоже не успевали выносить из-под огня и с поля боя тяжелораненых и доставлять их в полевые медицинские перевязочные пункты и госпитали. По земле невозможно было ступить и шагу, не споткнувшись о мертвое или полуживое человеческое тело. Тогда я впервые обратил внимание на то, что многие немецкие убитые — солдаты и офицеры — лежат без сапог.

— Кто, по-твоему, их разувает? — спросил я Орлова, самого старшего и самого опытного в моем экипаже.

— Слушай, старшина, — сказал Орлов, горько усмехнувшись, — в Красной армии пехота никогда не имела таких сапог, какие мы видим у немцев. У нашей пехоты только эти чертовы ботинки, говнодавы, одним словом, портянки и обмотки. Поэтому наша пехота и разувает немцев. Не зарывать же добро в землю! Кто за это осудит?

— Понятно, — ответил я ему. — Есть у меня еще один вопрос. Чем объяснить такое необыкновенное пристрастие наших пехотинцев, артиллеристов, да и танкистов к немецким ручным часам и зажигалкам? Они их снимают с рук живых военнопленных и мертвых немцев. Лезут в карманы мертвым...

— Та же история, — отвечал Орлов. — Много ты видел советских граждан с наручными часами? Переделывали даже каминные часы на наручные. Получалось как у коровы седло...

За время нашего восьмидневного участия в боях от Понырей до Дмитриева-Льговского наша танковая бригада потеряла половину своего личного состава, половину танков, бронетранспортеров, орудий и грузовых машин. В некоторых сгоревших танках — наших, и немецких — мы видели обугленные тела. Если до них дотрагивались, то они рассыпались.

Картина разрушений поражала и подавляла меня, вынуждала вспомнить «Апофеоз войны» Верещагина с пирамидой из черепов на фоне безлюдного пейзажа и кружащимися черными воронами...

Под вечер мы выбрались из танка и стали осматривать повреждения, полученные за дни боев. Машина казалась инвалидом: боковые крылья изрядно помяты, броневые полосы прощиты, два катка вообще отсутствовали, и было непонятно, как гусеница при этом не пострадала. Башня нашего танка во многих местах оказалась «облизанной» крупными осколками или, может быть, мелкими снарядами и пулеметными пулями.

— Просто чудо, что мы еще не сгорели, — сказал Кирпо. Мы с ним осматривали левый бок танка, а Орлов и Филиппов — правый бок.

Вдруг Филиппов крикнул:

— Хенде хох, сукин сын!

Мы с Карпо переглянулись, недоумевая. Кому это он крикнул? Неужели рядом с нами оказались немцы?

— Только попробуй убить его, — послышался голос Орлова, — я тебя самого пристрелю! — сказал он Филиппову.

Мы с Кирпо обошли танк и увидели странную картину: немецкий солдат, согнувшись вперед пополам, стоял между Орловым и Филипповым. Обоиими руками он держал вываливавшиеся из его брюха внутренности и, конечно, не мог поднять руки. Видел ли это Филиппов? Но Орлов наверняка узрел, в каком состоянии был немец. В руках у обоих были наганы. Филиппов целился немцу в спину, а Орлов целился в Филиппова.

У меня мелькнула мысль: зачем этот немец бросился к нашему танку? Не потерял ли он со страху рассудок?

Немец смотрел на Орлова, на меня, на Кирпо, но он нас не видел. Мы все застыли на местах. А немец вдруг упал, ударившись головой о каток танка. Он был мертв.

Филиппов наконец увидел, что немец лежал с вывалившейся из живота кучей кишок. Все понял, спрятал наган и попросил прощения у Орлова. Филиппова стошнило. Орлов убрал свой наган в кобуру.

23 июля 1943 года **Кроливец, Украина**

Все пережитое нами после 5 июля, Малого Сталинграда и нашего вгрызания в заградительные рубежи, было страшно. Отдельные атаки нашей бригады постепенно сливались в крупное контрнаступление войск Центрального, Брянского и Степного фронтов. Перед нами лежали земли Украины и Белоруссии. Как и в других подразделениях Красной армии, у нас в разведроте служило много украинцев и белорусов. У многих из них оставались родственники на оккупированных территориях. За последние два года они, как и я сам, не получали никаких известий. Никто не знал, так же как и я, живы ли наши близкие.

Сегодня по радио слышал два интересных и важных сообщения, касавшиеся последних сорока девяти дней. Курскую битву называют крупнейшим танковым сражением в истории всех войн: в боях участвовало более 2 миллионов человек, 6500 танков, 4500 самолетов, 20 тысяч артиллерийских орудий и минометов, на позициях было заложено более 2 миллионов противотанковых и противопехотных мин.

Совинформбюро сообщило, что Рузвельт и Черчилль выступили с обращениями к Красной армии. «За эти месяцы упорных боев ваши вооруженные силы, их боевая выучка, мужество, самоотверженность и упорство не только остановили наступление немцев, но позволили начать успешное наступление...» — написал в своем обращении президент США Франклин Делано Рузвельт.

Продвигавшимся на запад красноармейцам попадали в руки письма, дневники и фотографии немецких солдат и офицеров. Из них с очевидностью явствовало, что захватчики считали себя представителями высшей расы.

Высшей расы?..

...В Кропивце, городе неподалеку от Киева, мы познакомились с искалеченным украинцем тридцати шести лет, по фамилии Степанюк. У него были ампутированы ноги, он передвигался на низенькой тележке, как Порги из оперы Джорджа Гершвина «Порги и Бесс». Вот что Степанюк поведал (его рассказ я позже, по памяти, записал):

— В сентябре 1941 года, около двух лет назад, эсэсовцы согнали почти сорок тысяч мирных жителей к оврагу, который у нас называют Бабий Яр. Нам приказали раздеться догола и начали всех расстреливать из пулеметов. Эти бешеные собаки убивали детей и стариков, молодых матерей с грудными младенцами на руках, даже инвалидов. Моя жена была на седьмом месяце беременности, мы были вместе, я держал ее за руку. Помню, как дрожала ее рука... Расстрелянных сбрасывали в яр. Поздно ночью я пришел в себя и понял, что все вокруг и лежавшая рядом со мной жена — все мертвы. У меня было несколько пулевых ранений. Кое-как я выбрался из-под груды мертвых тел. Мой друг, тракторист, помог мне перебраться

ся сюда в Кроливец, к родителям... Жив остался, но, видишь, без ног...

Встретив на пути реку Десну, войска не ждали наведения понтонных мостов, а переправлялись на рыбацких лодках или плотках, собранных из попавшихся под руку бревен. В местах, где Десна оказывалась неглубокой, наш взводный Милюшев первым вел свой Т-34 прямо по дну, а мы следовали его примеру.

Хоть победа давалась нам дорогой ценой, мы все же продвинулись от Понырей в глубь Украины и Белоруссии более чем на 200 километров.

На все это время мы с Принцессой потеряли друг друга из виду. Но я бережно хранил в памяти каждое мгновение тех двух волшебных ночей. Всякий раз, стоило мне закрыть глаза, я видел ее. С нею были связаны все мои надежды. От ее улыбки радостно трепетало мое сердце. Вопреки здравому смыслу, я продолжал надеяться на встречу с нею, живой и невредимой, как только эта кровавая бойня закончится.

Мои мечты сбылись, но совсем не так, как мне этого хотелось, и не так, как я их себе рисовал.

29 сентября 1943 года

Реабилитационная часть. Украина

Чудесное явление Принцессы

23 августа, то есть тридцать семь дней тому назад, наш танковый корпус — вернее, то, что от него осталось, — форсировал реку Днепр южнее белорусского города Лоева и стал вгрызаться в оборонительные рубежи противника. Тут-то и подбили мой танк. Случилось это на 49-й день Курской битвы. Мы почувствовали сильный удар внизу слева, и наш Т-34 остановился как вкопанный. Ни назад, ни вперед машина не двигалась. Орлов попробовал повернуть танк вправо. Не получилось. Попробовал налево. Танк закружился юлой против часовой стрелки.

— Разорвана левая гусеница, — пробасил Орлов.

Открыть верхний люк и выбраться наверх? Опасно: немецкие снайперы тут же «снимут». Выбраться придется через нижний люк, если его не заклинило.

«Смотрины повреждений — прямое дело командира», — не раз повторял во время учений Милюшев. Нижний люк, слава богу, не заклинило, и я не без труда выбрался из машины наружу. Мотострелки продвинулись вперед. Вокруг рвались немецкие мины. Орлов оказался прав: нашу левую гусеницу раздробило вместе с двумя передними катками.

Орлов приоткрыл свой люк.

— Ну что там, командир? — выкрикнул он мне.

— Гусеница накрылась, вместе с двумя передними катками, — крикнул я в ответ. — Без техпомощи с ремонтниками и запчастями не обойтись. Отстреливайтесь! Я ползу за бугор. Техпомощь там, на правом берегу. Держитесь! — Это все, что экипаж от меня услышал.

Ползти по-пластунски быстрее многих других я научился еще в Актюбинском военкомовском всеобуче, затем в Московской школе и, наконец, во время учений южнее Курска.

Я успел проползти метров шестьдесят, когда позади послышался нарастающий рев немецкого пикирующего бомбардировщика, а потом — оглушительный взрыв. Я полностью отключился.

Лишь в середине сентября туман, окутывавший мое сознание, стал постепенно рассеиваться. Мне почудилось, что справа, рядом с моей постелью, я вижу профиль моей Принцессы Оксаны. Я попытался ее окликнуть и снова провалился в забытие. Не знаю, сколько прошло времени — минут, часов или дней, прежде чем я снова увидел — на этот раз не профиль, а анфас «советской Дины Дурбин». Она склонилась надо мной и, мило улыбаясь, шевелила губами. Пытаюсь ей сказать: «Говори громче!»... и снова провал.

Через какое-то время снова она. Снова улыбается.

— Ты меня слышишь? — спрашивает.

— Да! — отвечаю я. — Где мы?

— В комнате реабилитационной части госпиталя, — отвечает Оксана.

— Дом? — спрашиваю я.

— Имение в чудном лесу. Американский фильм «Большой вальс» помнишь? Штраус и Карла Доннер едут по лесу под Веной, он играет на скрипке, а она поет. Смешной извозчик подпевает. Помнишь?

— Помню! — отвечаю.

— Ну вот, и наша реабилитационная часть — так ее назвал полковник Селезень — находится в таком же дивном лесу. И ты скоро в этом убедишься. Своими глазами увидишь эту красоту.

— Орлов, Кирпо и Филиппов тоже здесь, в этой части?

Пауза. Принцесса отвернулась от меня. Вытирает, кажется, слезы. Поворачивается ко мне и с трудом произносит страшное, как тот удар снаряда по нашей гусенице:

— Их здесь нет! Совсем нет!.. Царство им небесное...

— Как?

Оксана помолчала, потом стала рассказывать. Каждое слово давалось ей с трудом.

— Я этого не видела. Рассказал твой комвзвода. Он дважды приезжал к нам, хотел тебя навестить.

— Что он сказал о ребятах?

— Его танк шел справа от твоего. Милюшев увидел твой неожиданный стоп. Видел немецкого пикировщика, видел, как твой танк запылал, стал как огненный шар. Сообщил об этом капитану Жихареву. Тот — в штаб бригады. Милюшев думал, что ты тоже был в танке...

— Значит, их больше нет?..

— Нет, Николасик, нет!

— Глоток спирта можно?

— Нет! Дам тебе глоток грузинского киндзмараули.

— Давай!

— Это полковник Селезень добился у начсанфронта для выздоравливающих танкистов нашего корпуса.

Оксана приподняла мне голову и влила мне в рот из медицинской мензурки глоток вина. Перед глазами

у меня промелькнули все трое: Орлов, Кирпо и Филиппов. Орлов вдвое старше нас. Кирпо, Филиппову, как и мне, — восемнадцать с половиной. Было...

Снова отключка... и снова она, Оксана. Я вспомнил, как полз по-пластунски.

— Кто меня нашел?

— Я.

— Как?

— Слушай, Николасик. Только не отключайся. Обещаешь?

— Да.

— После взрыва твоего танка мотопехи и оставшиеся тридцатьчетверки ушли вперед. На поле вышла похоронная команда. Они собирали тела убитых и сносили их к большой и глубокой немецкой траншее, которая должна была стать братской могилой. Со всех снимали жетоны и отправили в корпус. Среди убитых и приготовленных к захоронению я увидела танкиста в темном комбинезоне и танкошлеме. Сердце защемило. Решила подойти ближе. Увидела, что ты.

— Я? Среди мертвых?

— Так бывало не раз... На войне все возможно... Прикоснулась щекой к твоей шее и мгновенно почувствовала едва-едва заметно бьющийся у тебя пульс... Позвала своих. Уложили тебя на носилки и понесли к реке. У нас там расположился перевязочный пункт. Разрезали ножницами комбинезон, гимнастерку, нижнюю рубашку. Они все были пропитаны твоей кровью. Осколочное ранение грудной клетки, левого плеча и предплечья. Положили стерильные накладки, забинтовали. Сделали тебе укол противостолбнячной сыворотки и отвезли в госпиталь. Полковник лично был в операционной. Я ему доложила о тебе, и он сразу взял тебя на операционный стол. Полковник Селезень — опытный хирург. Ему ассистировал...

— Хирург Карлов?

— Нет, нет, Николасик. В начале наступления Карлова перевели в госпиталь 70-й армии. Георгию Сергеевичу ассистировал новый хирург Скобцев. Они около двух ча-

сов вынимали из тебя осколки и что-то там сшивали. А на другой день тебя чуть было не увезли приехавшие за тяжелоранеными из эвакогоспиталя. Но я им сказала решительно: «НЕТ!» Они спрашивают: «Почему?» Отвечаю: «Этого раненого мы здесь, у себя выходим». Спрашивают: «Вы кто такая?» Отвечаю: «Старшая медсестра». Они идут к полковнику Селезню. Я решила их опередить, говорю Селезню:

«Они хотели Никласа увезти в свой эвако, но я им сказала, что мы его здесь сами выходим!»

«Почему вы так решили, Оксана?» — спрашивает меня Георгий Сергеевич.

Я подошла близко к нему и тихо сказала ему почему. Он посмотрел на меня изумленными глазами и через минуту сказал эвакомедикам, что, мол, этого раненого мы оставляем у себя. Вот так, дорогой мой Николасик...

Так странно никто раньше не переделывал моего имени. Даже мама.

— Что же такое ты сказала полковнику, после чего он посмотрел на тебя изумленными глазами? — спросил я.

Принцесса Оксана заулыбалась как-то странно:

— Неужели ты сам не догадался, Николасик?

— Нет, конечно! — слукавил я.

— Я ему сказала... сказала... что очень...

— Что?

— Что очень тебя люблю. Вот!

Я почувствовал легкое головокружение, похожее на то, что было 16 апреля в сосновой роще под Курском.

— Можно мне еще одну пробирку киндзмараули? — попросил я.

— Можно, — ответила Оксана. — Только одну на двоих, ладно?

— Ладно!

Если бы нас в этот момент увидел Роман Кармен и сделал фото — Оксана в белоснежном накрахмаленном халате с фонендоскопом на шее и пробиркой вина в руке — и я: весь перебинтованный, с левой рукой, подвешенной на широких бинтах к потолку, — он бы назвал снимок не иначе как «Любовь и война».

2 октября 1943 года

Реабилитационная часть

Вчера все медсестры и санитарки, подчиненные Принцессе Оксане, вместе с ней мыли полы и окна, протирали пыль и наводили чистоту в имении, в котором расположили часть, которой, кажется, не было ни у одного другого танкового соединения. Идея создания такой части была проста и разумна. Новый командир корпуса желал во что бы то ни стало сохранить для корпуса танкистов, которые в Курской битве обрели опыт наступательных боев. Эвакуированных в тыловые госпитали раненых танкистов корпус бы потерял. После выздоровления их бы наверняка направили в другие танковые соединения.

Полковник Селезень сразу взялся за воплощение идеи комкора в жизнь: лично провел рекогносцировку всей местности, нашел этот дивной красоты участок леса и в нем — пустовавшее старое, дореволюционной постройки чье-то имение. Заставил привести его в порядок для приема раненых. Полковник Селезень также добился в медсанупре фронта специального питания для этих раненых. Он также решил, что заведовать этой частью должна уже лейтенант медицинской службы Принцесса.

Во время «генеральной уборки» всего помещения «реабчасти» Оксана сказала мне:

— Похоже, нас собирается посетить важное начальство. Может быть, приедет полковник Селезень...

Интересный человек был полковник Селезень. Это был разносторонний и высокообразованный офицер. До войны он трижды обошел весь земной шар в качестве судового доктора, потом стал главным хирургом Севастопольского военно-морского госпиталя и был им первые четыре месяца войны. Нам было известно, что он отлично знает русскую, украинскую и западную литературу, как и его жена — курсистка Бестужевских курсов в Питере, преподававшая в университете русскую литературу и владевшая русским, украинским, французским и английским языками. Немцы в 1941 году взяли Харьков быстро и со-

вершено неожиданно для горожан. После освобождения Харькова полковник Селезень попросил у комкора трое суток для поездки туда, чтобы узнать о судьбе своей жены и десятилетнего сына, которые не по своей вине в течение почти двух лет оставались на территории, оккупированной немецко-фашистскими захватчиками.

Мы знали, что он только что возвратился из Харькова. С Оксаной мы говорили о том, что хорошо бы попросить полковника рассказать нам, выздоравливающим танкистам «реабчасти», и медперсоналу о своей поездке в освобожденный город.

Селезень приехал с еще двумя врачами. Они осмотрели всех танкистов. Мне было сказано, что надо еще по крайней мере пять-шесть недель оставаться в «реабчасти» до полного выздоровления. Интересно, что полковник Селезень все время осмотра разговаривал со мной по-английски, что доставило удовольствие и мне, и ему в равной мере. Принцесса внимательно прислушивалась, наверное пытаюсь вспомнить уроки английского, который преподавала в школе ее мама.

По окончании обхода Оксана собрала в холле всех ходячих пациентов и весь медперсонал, чтобы послушать полковника Селезню.

— Мой родной город встретил меня развалинами, — начал свой рассказ полковник. — С балконов свисали тела сотен повешенных с табличками на груди: «Partisan». В центре города почти все многоэтажные дома были разрушены и превращены в груды битого кирпича. Украинская национальная галерея изящных искусств сгорела, а до этого разграблена немцами. Пятьсот двадцать четыре объекта были полностью уничтожены: заводы, фабрики, институты, школы и больницы...

Как рассказал полковнику Селезню военный комендант города, многих членов семей комсостава Красной армии немцы арестовали и прогнали через весь город к железнодорожному вокзалу, перед своим отступлением погрузили их в телятники.

Полковник Селезень нашел свой дом. Он оказался наполовину разрушен. В половине, где он жил до войны

с семьей, все окна были выбиты, а двери сорваны с петель. Пожилая соседка из одноэтажного дома, стоявшего недалеко от пятиэтажного, узнала доктора, у которого лечилась перед войной.

— Своими глазами видела, — рассказала она, — как из вашего дома все семьи командиров Красной армии выгоняли и гнали их на вокзал. Видела вашу жену и сына.

Полковник Селезень отправился на вокзал, разыскал железнодорожника, который видел, как женщинами с детишками набивали скотовозные вагоны и как целый эшелон погнали в сторону Полтавы. По грунтовой дороге, изрытой воронками от снарядов и авиабомб, полковник Селезень поехал на машине параллельно железной дороге в сторону Полтавы. Проехал чуть более 30 километров и недалеко от населенного пункта со странным названием Кобыляки на полустанке увидел остовы сгоревших вагонов. Около сотни пехотинцев в противогазах, вооружившись носилками, перетаскивали обгоревшие останки и пепел, остававшиеся от людей, к огромной траншее, вырытой в чистом поле для захоронения. В воздухе за многие сотни метров от этого места висел тяжелый запах горелой человечины.

Командовавший батальоном (или, может быть, ротой) пехотинцев, выполнявшей эту скорбную работу, сказал полковнику, что ему приказано не зарывать траншею, пока на место не придет правительственная комиссия. Она должна подготовить все необходимые документы, свидетельствующие о варварском преступлении, совершенном гитлеровскими войсками СС при отступлении из Харькова.

Полковнику Селезню не осталось ничего, кроме как пройти вдоль траншеи с останками, вынуть чистый носовой платок, осколком снаряда набрать малую горстку пепла, туго завязать платок и положить его в свой планшет.

— Вот небольшая частица того, что оставили мне от моей любимой жены Татьяны Григорьевны и сына Володи фашистские нелюди, — закончил свой печальный рассказ полковник.

10 октября 1943 года

Письмо

Прошло двадцать три месяца с того дня, когда я покинул Макеевку, и с тех пор — ни слова, ни полслова ни от родителей, ни от Майка, ни от его жены Кати, ни от Джона. То, что мама, Пап, Майк, Катя и Валерик не смогли эвакуироваться из Макеевки и остались на территории, оккупированной немцами, я узнал из сообщений Совинформбюро. С тех пор каждый божий день я мысленно возвращался туда, в Донбасс, в Макеевку, в Совколонию, на второй этаж 36-квартирного дома. Чтобы мы жили хотя бы в относительном комфорте, мой Пап потратил более трех лет, добиваясь у советских бюрократов, чтобы в дом наконец провели водопровод и закончили в нем оборудовать кочегарку для отопления и для подачи горячей воды в квартиры.

Часто я вспоминал слова мамы перед моим отъездом из Макеевки в Актюбинск:

— Да хранят тебя, Никки, Всевышний и Пресвятая Дева Мария. Я буду молить их о тебе каждый божий день! — И после прощальных поцелуев, как обычно, она произнесла на английском: «God bless you, my dear sunny boy!» («Благослови тебя Господь, мой солнечный мальчик!»).

А Пап решил меня проводить до самой калитки и попрощаться со мной тет-а-тет. То, что он мне сказал, я буду помнить до последнего дня моей жизни. Своими мощными ручищами сталевара Пап взял меня крепко за плечи, долго-долго смотрел мне прямо в глаза, готовясь сказать мне что-то очень важное, и наконец произнес:

— Сердце мне подсказывает, мы больше с тобой... не увидимся! Прости и прощай, Никки!

Сказав это, Пап резко отвернулся и быстро ушел в подъезд. Я понял: он не хотел, чтобы я увидел его слезы. Зря! Я бы и так не смог их разглядеть, так как у самого у меня глаза были мокрые... С вещмешком за спиной я брел 3 километра до макеевской станции Унион, и из головы у меня не выходило: «Прости и прощай... прости и прощай, Никки!»

Об отце, о маме, о Майке, Кате и Валерике я часто думал по дороге в Актюбинск, в самом Актюбинске, в московской партизанской школе и теперь — на фронте. Я не знал, живы ли мои родные, не знал, как они добывают себе пропитание в оккупации. Я не знал ничего о Джоне — остался ли он в Одессе, где учился в художественном училище, или же успел эвакуироваться из нее перед приходом немецких и румынских оккупантов.

Мои тяжелые мысли-воспоминания были прерваны приходом моего верного ангела-хранителя, моей Принцессы Оксаны. Она держала руки за спиной. Что-то мне принесла. Сюрприз какой-то.

— Угадай, что у меня в руках? — произнесла она с загадочной улыбкой на лице.

Я мгновенно ответил наобум:

— Письмо!

— Верно! Но откуда, Николасик?

— Из Москвы! — ответил я и сразу подумал: неужели генерал Рокоссовский, разговаривая со своей дочерью Адой, сказал ей, что перед Курской битвой встретил ее партнера по чудесному вальсу-бостону? Неужели письмо от нее?

— Нет, письмо не из Москвы. Ты не угадал.

— Из Актюбинска! — выпалил я и подумал: наверняка от дяди Родиона или же от той стервы и сексотки — касирши Татьяны из кинотеатра «Культ-Фронт».

— Нет, опять не угадал, — сказала Оксана.

— Неужели из Макеевки? — вскрикнул я.

— Да, Николасик, письмо от Майка!

Она протянула мне письмо, но я его сразу взять не смог. У меня руки задрожали, как тогда, перед танковой атакой... Если какой-нибудь командир танка скажет вам, что после того, как он услышал в наушниках команду: «В атаку!» или «Вперед!», не задрожали руки, знайте, что врет! Но это к слову... А тогда я подумал о другом: почему письмо письмо от Майка, почему написал не Пап?

Принцесса увидела, как у меня затряслись руки, и все поняла.

— Ты хочешь, чтобы я его для тебя открыла?

— Да, да! — ответил я, волнуясь и нервничая. — Открой и покажи мне поближе, чей там почерк.

Оксана вскрыла конверт, показала письмо мне.

— У твоего старшего брата красивый почерк, — сказала она, — как в учебниках по каллиграфии.

Она протянула мне письмо, но у меня руки все еще ходили ходуном.

— Да, — ответил я. — Это почерк Майка, но читать я не могу. Прочти его для меня. Только, пожалуйста, читай медленно.

«Дорогой наш и горячо любимый Никки! В конце ноября 1941 года, сразу после твоего отъезда в Актюбинск, наш дорогой Пап, как ты, Джон и я называли его, на заводе имени Кирова был назначен в бригаду, которая демонтировала и отгружала в Нижний Тагил оборудование американского стана-350. Работал он там и днем и ночью и редко приходил домой. Но когда немцы были уже на станции Ясиноватая, он ушел на работу и не вернулся. Все мои и Катины поиски, розыски и опросы других рабочих ни к чему не привели. Единственное, что подозреваем мы с Катей и мамой, — он погиб там, на месте, где шел демонтаж стана...»

— Постой! — резковато воскликнул я. У меня по щекам полились слезы. Оксана попыталась их промокнуть, но я сказал ей охрипшим голосом: — Не надо!

Передо мной всплыло видение... Мы стоим с ним у калитки. Пап — всегда такой сильный, такой мужественный человек — гранит, на котором я пытался выстроить здание собственной жизни. Он стоит, склонившись надо мной, и произносит что-то не совсем понятное, неожиданное:

— Прости меня, Никки...

Нет, нет и нет! — говорю я себе. Не мог навсегда умолкнуть этот голос, всегда говоривший нам такие мудрые вещи, не могли угаснуть и закрыться эти темные глаза с озорными искорками... Мой дорогой Пап, всегда такой энергичный, такой жизнелюб, не мог так просто погибнуть...

Рука Оксаны коснулась моего плеча.

— Николасик, милый, ты в состоянии слушать дальше? Хочешь, чтобы я читала письмо дальше?

— Да-да! Извини, дорогая моя... Читай!

— «...Как ты, конечно, слышал по радио, наш город освободили от фашистов 11 сентября этого года. Таких праздников в Макеевке я не припомню. Красную армию встречали морем цветов. Люди на улицах, на площадях, в парках и скверах пели и танцевали, обнимались и целовались, играли оркестры и отдельные музыканты: аккордеонисты, гитаристы, балалаечники. Я, Никки, тоже достал свою, привезенную из Америки, скрипку (ты ее, конечно, помнишь) и тоже вышел на улицу с мамой, Катей и Валериком, чтобы угостить наших соседей букетом популярных американских мелодий. Короче говоря, все в Макеевке было так, как бывало каждое Четвертое июля в США, когда отмечался День независимости от английских колонизаторов. Помнишь наш Бетлехем и Нью-Йорк, какие были там парады, салюты и фейерверки? Помнишь, как на улицах играли оркестры? Ты, конечно, это не забыл, так как это действительно незабываемо!

Трудно тебе в одном письме описать, что мы, да и огромное число макеевчан здесь пережили за два года немецко-фашистской оккупации. Эсэсовцы совместно с нашими доморощенными украинскими коллаборационистами казнили многих сталеваров и шахтеров, не пожелавших работать на восстановлении доменных печей или спускаться в шахты, чтобы рубить уголь для оккупантов. Помнишь, Никки, шахту «Чайкино»? Невдалеке от нее был наш садовый участок, который нам когда-то выделил директор завода имени Кирова Георгий Гвахария. Так вот, шахту «Чайкино» чуть ли не доверху забросали телами казненных сталеваров и шахтеров...

В середине ноября мы с Катей вынули из подвала нашу тачку, с которой мы обычно ездили на наш садовый участок, положили кое-какие вещи, привезенные еще из Америки, и вместе с несколькими нашими соседями побрели по селам, окружающим Макеевку. Мы обменивали вещи на муку, пшеничную крупу и картошку. Валерик научился на Батмане (куда ты в школьные годы любил ходить на рыбалку) находить и приносить домой лебеду, из которой мама готовила супы, добавляя к лебеде жменю муки, жме-

ню пшена и одну картошину. Каждый из нас получал три раза в день по блюду такого супа. Наш голод, конечно, нельзя сравнить с тем, что пережили ленинградские блокадники, но, поверь мне, нам тоже досталось! С освобождением Макеевки многое сразу изменилось. Меня взяли в редакцию газеты «Кировец» художником. Катя — врач, работает в больнице. Все мы получаем хлебные карточки, а также карточки на сахар и крупу. Теперь, слава богу, можно сказать — мы не голодаем.

В этом году в конце сентября произошло совершенно потрясающее событие: наш почтальон дядя Вася (ты его, может быть, помнишь) принес маме на тебя похоронку с твоим именем и текстом: «Погиб смертью храбрых». Он попросил маму расписаться в получении. Мама вернула ему похоронку и сказала, чтобы он ее отнес обратно на почту и передал своему начальнику следующее: пусть он отошлет похоронку обратно в воинскую часть, откуда она была послана. «Скажите — ошибка. Мой сын жив».

Почтальон удивился и спрашивает: «Откуда вы знаете, что он жив?» А мама отвечает: «Мне сердце говорит». Почтальон: «Как вы, мадам (он всегда почему-то обращался к маме именно так), можете знать, что ваш сын жив? Это ведь официальный документ. С этим документом вы сможете получать приличное пособие». — «Несите ваш официальный документ обратно», — сказала мама решительно и закрыла перед нашим почтальоном дверь, не желая больше с ним эту тему обсуждать.

Мы с Катей этого не видели. Обо всем этом нам рассказал наш почтальон, который обрадовался встрече с нами. Он еще добавил о том, что от него потребовал начальник почтамта. Тот сказал ему: «Отнеси эту похоронку свихнувшейся с горя американке и сунь ее под дверь... или отдай похоронку соседям». Мы с Катей взяли похоронку и расписались у него в журнале. Дядя Вася нам по-стариковски мудро посоветовал спрятать похоронку подальше, чтобы мама продолжала полагать, что ты, Ники, жив. Так мы с Катей и сделали. Похоронку я хранил в своем рабочем столе в редакции газеты.

Но через неделю после похоронки пришло письмо от какой-то старшей медсестры полевого госпиталя, в кото-

ром она нас проинформировала, что ты был тяжело ранен, но что дело сейчас уже идет на поправку. Только после этого мы показали маме и, между прочим, нашему почтальону дяде Васе письмо Оксаны. Он после этого спросил, как она поняла или почувствовала, что ты ранен, но жив. Мамин ответ был просто потрясающим. Она сказала, что материнское сердце — вещун, оно знает, что происходит с ребенком, будь он хоть за тысячи километров от дома. Мы, конечно, говорили, что с научной точки зрения это невозможно. Но у нее и на это был ответ: «Наука такие вещи пока объяснить не может. Но наступит день, — говорила мама, — и ученые поймут что и как».

Мама и все мы: Катя, я и Валерик — горячо обнимаем тебя и твою (как назвала твою старшую медсестру наша мама) «ангела-хранительницу» Оксану. Твой брат, *Майк*.

— Стоп, Принцесса, стоп! — сказал я. — Каким таким образом ты узнала мой макеевский адрес? Я, помнится, никому его не давал, и ты его у меня никогда не спрашивала. Сознайся, пожалуйста, дорогая ты моя Принцесса! Откуда он у тебя?

— Когда мы после твоего ранения изрезали твой комбинезон, гимнастерку и нижнюю рубашку, я переложила все содержимое твоих карманов к себе в мою санитарную сумку. Там было несколько маленьких блокнотов, исписанных твоим почерком по-английски. В одном из блокнотов на первой странице был твой макеевский адрес на русском. Но я ведь тебе об этом уже говорила. Вспомнил?

— Да, — ответил я. — Спасибо тебе. А теперь... можно я полежу с закрытыми глазами?

— Да-да, милый, Николасик. Я понимаю. Полежи. А я займусь неотложными делами...

Принцесса ушла, и я, прикрыв глаза, мысленно прошелся по каждой строчке, по каждому слову письма Майка. Я живо представил себе, я словно увидел его живьем — сидящим за своим письменным столом в редакции и пишущим это письмо. Я увидел маму, Катю, маленького Валерика. Мне вспомнилось, как мы с Джоном, Энн и Майком всегда с нетерпением ждали в нашем любимом

бетлехемском Сокэн-парке появления отца с мамой. У Пап в руках была неизменная плетеная корзина, в которой ждали нас наши любимые хот-доги и вареники, начиненные картофелем с тертым швейцарским сыром и луком. А еще вареники с вишней: для этого случая в корзине была приготовлена большая банка сметаны.

Джон и я, получив от мамы по «никелю» (пятицентовой монете) для входа на территорию великолепного бассейна со множеством трамплинов, бежали в Сокэн-парк первыми и непременно в одних плавках. Купайся хоть целый день! Но — если ты вышел за территорию бассейна, то пустят тебя только в том случае, если у тебя мокрые плавки. Зная это, мы с Джоном, не желая расставаться со своими «никелями», чтобы на них купить большую порцию ванильного мороженого, окунались в ручей, протекавший невдалеке от бассейна, и в мокрых купальниках свободно проходили на территорию бассейна «фри» (бесплатно).

Энн и Майк, почти совсем взрослые, не могли себе позволить такое. Они приходили одетыми, платили за вход по «квотеру» (двадцатицентовая монета) и тоже купались в бассейне до полудня. Выходили, занимали место на траве под огромным деревом, на котором росли миниатюрные яблочки, и, ужасно проголодавшиеся, после купания с нетерпением ждали, когда у входа в Сокэн-парк появится высокая фигура нашего Пап и маленькая фигурка нашей мамы. Пап нес в одной руке заветную корзину, другой поддерживал маму, у которой был тромбоз и часто болели ноги. После обильной трапезы с «Рутбиром» (черным безалкогольным пивом) мы с огромным нетерпением ждали продолжения рассказов Пап об истории России, Украины и США. Его рассказы каждый раз звучали для нас — для Энн, Майка, Джона и меня с мамой — как блестящие непридуманные новеллы или, точнее сказать, как эпизоды подлинной истории без вымысла, которыми нередко грешат солидные ученые историки.

Пап всю жизнь был для меня непревзойденным «профессором истории», которую он излагал без прикрас и каких-либо пропагандистских вывертов.

Ретроспекция-5

Рассказ о деде, отце, семье

— Вечером, когда все вокруг затихнет и можно будет спокойно остаться вдвоем, я расскажу тебе, точнее сказать, не расскажу, а перескажу тебе то, что мне, сестре Энн и братьям Майку и Джону не раз рассказывал Пап. Згода? (Договорились?) — спросил я Оксану по-украински.

На что она мне ответила тоже по-украински:

— Згода, мій любий Ніколасік, згода!

...Вечером 21 октября в палате нас было только двое: Принцесса Оксана и я. Мы с Оксаной не могли уснуть после сообщения о смерти моего отца.

Перед глазами у меня стоял мой Пап со своей знаменитой трубкой «Данхилл» и, как это часто бывало, о чем-то рассказывал. А рассказчик он был потрясающий!

— Рассказы отца я помню как «Отче наш»... Пап часто рассказывал о своем деде, которого в Юхнах и округе звали Павло Коваль — это довольно обычная на Украине фамилия, означающая «Кузнец». Родился Павло Коваль в конце XVIII века в селе Карапыши, это примерно в ста километрах восточнее Киева. Его предки были вольнолюбивыми запорожскими казаками...

Мы проговорили, вернее, я рассказывал Оксане о своей семье всю ночь. Я постарался максимально точно воспроизвести то, что в свое время услышал от своего отца.

...Вся земля в Карапышах и вокруг, а также сами селяне принадлежали ясновельможному пану Пельтинскому. Один только Павло Коваль был вольным казаком и кузнецом. Эту профессию он унаследовал от своих предков в Запорожской Сечи. Павло Ковалья уважали за золотые руки, за честность и справедливость. К тому же он был чемпионом села по традиционной украинской «борьбе на поясах».

Павло Коваль был красивым, умным и необыкновенно сильным, девушки вились вокруг него, как пчелы возле меда. Но из всех красавиц он сразу выбрал темноволосую и темноглазую Оксану, крепостную пана Пельтинского.

— Как? Ее тоже Оксана звали? — удивилась Принцесса.

— Именно так, — ответил я и продолжал: — Павло Коваль и Оксана решили пожениться. В те времена кое-где на Украине, как и в некоторых европейских странах, сохранялось средневековое «право первой ночи». Так как Оксана была крепостной, то выйти замуж она могла лишь с разрешения своего хозяина-пана. Зная, как обычно добываются такие разрешения, Павло Коваль однажды подошел к Пельтинскому и сказал прямо: «Если ты осмелишься тронуть мою невесту, спалю тебя вместе с твоим поместьем. Запомни мое слово, пан!»

Но Пельтинский не придавал значения словам Павло Коваля и продержал Оксану у себя в спальне две недели. А когда отпустил ее, Оксана пошла не в отчий дом, к родителям, а к большому пруду. Невеста не вынесла позора и утопилась. На ее похороны собралось все село... И той же ночью дом пана Пельтинского сгорел дотла. Ему удалось выбежать из пламени в одних кальсонах. Павло Коваль не стал скрываться, сам явился в полицию и рассказал, что и почему устроил после похорон своей невесты. Его арестовали и через две недели судили. На суд пришли сотни жителей села.

Павло Коваль не раскаялся в содеянном, а, наоборот, заявил: «Жаль, что сам пан Пельтинский не сгорел вместе с домом!»

...Я глянул в окно: глубокая ночь. Принцесса Оксана слушала меня замороженно. И продолжил свой рассказ.

Я рассказывал о том, что Павло Коваля сослали в Сибирь на 25 лет, что каторжные работы он отбывал под Иркутском в Благодатском руднике вместе с несколькими декабристами, которых называли государственными преступниками. От них научился грамоте: читать, писать, считать и кое-что смыслить в происходивших в Российской империи событиях. Отбыл он там все 25 лет, что называется, от звонка до звонка. Ко времени освобождения, к сорока пяти годам, его здоровье оказалось подорванным. Он вернулся в родное село, где все его имущество — хату, кузнечные инструменты — конфисковали по приговору суда. Надо было начинать жизнь заново.

В 1833 году Коваль женился на вдове из села Юхны, по имени Туркения, которая рано осталась одна и при-

няла к себе в хату Павло. На Украине это называлось «идти в приймы» или «стать приймаком». В 1834 году у них родился сын. Назвали его Кириллом Павловичем Коваленко.

— Мой дед Кирилл Павлович Коваленко, — рассказывал я Оксане, — в тринадцатилетнем возрасте осиротел. Чуть ли не в один год умерли его отец и мать — мой прадед Павло Коваль и моя прабабушка Туркения. В тот же год сгорела хата, и Кирилл Павлович пошел работать помощником кузнеца в ту самую старую кузницу, которая когда-то принадлежала его отцу. Проработав в кузнице три года, он отправился в Таврию на заработки. За четыре-пять лет он надеялся заработать денег у богатых таврийских помещиков и вернуться в Юхны, купить дялянку земли, поставить на ней свою хату-мазанку и стать, как тогда говорили, свободным гречкосеем.

Кирилл Павлович был нанят конюхом в усадьбу Аскания-Нова, принадлежавшую обрусевшему немцу Эдуарду Ивановичу Фальц-Фейну. Он проработал у старого Фальц-Фейна семь лет, после чего вернулся в Юхны, женился на бывшей крепостной девушке по имени Евфросиния, которая ему родила девятерых детей: Трофима, Емельяна, Фросю, Ареона, Сергея, Родиона, Матрену, Кузьму и Феодосию. Мой отец, Сергей, средний из девяти, родился в 1884 году.

— Сергей? — удивленно переспросила Оксана.

— Да, в детстве его звали так, — подтвердил я. — Но не будем забегать вперед...

...В раннем детстве мой Пап пас гусей, потом ему доверили пасти свиней и овец, потом коров и в конце концов лошадей, которых он очень любил, научился умело за ними ухаживать и прекрасно объезжать. К шестнадцати годам в большом селе Юхны и в селах поменьше: Карапыши, Шупыки, Туники, Москали и Зеленки — он стал чемпионом по борьбе на поясах. С ним побаивались вступать в единоборство парни значительно старше его. На спор Пап мог пробежать километровую дистанцию от одного края села Юхны до другого с годовалым теленком на плечах. Таким и запомнили его односельчане. Взрослея, Пап начал понимать, что если поделить земельный

надел на девять человек — по количеству детей в семье, то каждому достанется лишь крохотный участок: как говорится, курице негде стать будет. Надо последовать примеру отца Кирилла Павловича и отправляться в Таврию на заработки, решил мой Пап.

...Я решил нарушить хронологию повествования и рассказать Оксане об интересном эпизоде летом 1939 года. Тогда Пап взял меня с собой из Макеевки в село Юхны на пару дней. Прошло сорок лет с тех пор, как мой Пап в шестнадцать лет ушел в Таврию и в Юхны больше не возвращался. Пап хотел повидать родное село, найти своих сверстников, с кем пас вместе гусей, свиней, коров и лошадей, найти людей, с которыми когда-то сходилась в борцовских схватках. Послушать рассказы отца собрались сельчане в тесном сельском клубе, чтобы взглянуть на человека-легенду и послушать, что он скажет своим односельчанам о жизни в Америке. Помню, к сцене, опираясь на сучковатую палку, с трудом протиснулся древний старец. Внимательно взглядевшись в рассказывающего об Америке пятидесятипятилетнего человека, вдруг спросил:

— А цэ, часом, не ты, хлопчэ, колысь бігав у нас по селу з годовалым телям на плечах?

Пап ответил ему тут же по-украински:

— Цэ я, дидусю, я!

— Ото шыбынык був! (Вот пройдоха был!)

Зал покотился со смеху...

Покинув родное село, Пап батрачил целый год в Херсонской губернии на хуторе Яновка у жуткого скряги Давида Бронштейна, который круглый год держал около двадцати батраков, живших в скотских условиях. На другой год Пап ушел в Берислав в имение князя Трубецкого, где работал года полтора конюхом, пока не сменился управляющий. На это место пришел немец по фамилии Шмидт. Российские газеты о нем в 1902 году писали, что управляющий для батраков — уборщиков вино-

града в целях экономии расходов и увеличения прибыли придумал специальные намордники, похожие на собачьи, чтобы нельзя было есть виноград. Шмидт разъезжал по обширнейшим виноградным плантациям на коне с длинной кавалерийской плетью, в которую был вмонтирован стальной прут. Огреет этой плетью — и на спине человека появляется кровавая рана от плеча до плеча. Пап говорил, что у него закипала кровь при виде такой зверской расправы с человеком, умирающим от жажды на солнцепеке, умудрившимся каким-то образом сдвинуть со рта намордник и съесть гроздь винограда.

Пап однажды не сдержался и выдал управляющему Шмидту:

— Не дай бог, тронешь меня своей плетью, предупреждаю: год будешь лечиться в Херсонской богоугодной лечебнице. Запомни это, господин Шмидт!

Тот не запомнил: огрел отца своей плетью так, что распорол рубаху, и вся она сразу пропиталась кровью. Вскоре Пап узнал, что Шмидт рано утром уехал верхом в Херсон и будет вечером возвращаться в Берислав. Дорога в Херсон и обратно проходила через небольшой лесок в Шиловой балке. Пап ушел в тот лесок и ждал возвращения управляющего. Остановить коня на скаку для него не составляло большого труда, стащить грузного управляющего на землю тоже. Как именно Пап выполнял свое обещание, он нам не рассказывал, говорил только, что Шмидта, попавшего в Херсонскую богоугодную лечебницу, на долгие месяцы сменил другой управляющий. За сутки до того, как в Берислав нагрянула жандармерия из Херсона и Каховки, Пап успел уйти пешком в Севастополь. «Затеряться в таком большом городе не составляет особого труда», — решил Пап. Одолев 360 километров за десять дней, Пап был в полном смысле слова потрясен увиденным в этом прекрасном городе: сверкающими на солнце своей белизной зданиями и дворцами с колонными, необычными арками и лестницами из инкерманского камня, широкими улицами, обсаженными субтропическими деревьями, зелеными скверами и парками. «Здесь, — подумал Пап, — мне должно наконец улыбнуться счастье!»

После ночи, проведенной за пятак в ночлежке, рано утром Пап отправился бродить по городу, как вдруг наткнулся на объявление: «Прибывшему в город цирку-шапито срочно нужны рабочие по уходу за дрессированными животными, выступающими на арене, и по уходу за самой ареной. Оплата по договоренности сторон». Внизу объявления адрес. Найти цирк-шапито оказалось не сложно. По дороге попалась небольшая подкова. Пап ее взял, сунув за пазуху «на счастье».

Разговор с управляющим цирком-шапито оказался коротким.

— Силенка есть, хлопец? — спросил управляющий, трогая отцовские бицепсы.

Пап вынул из кармана подковку и на глазах у изумленного управляющего разогнул ее.

— За животными когда-либо ухаживал?

— С раннего детства и до сих пор.

— Животных любишь?

— Очень!

— Серебряный рубль в неделю, харч и лежак при цирке — устроит?

— Устроит!

— Приступай к работе, хлопче.

Работа ему очень нравилась, поскольку позволяла смотреть цирковые представления, которых он прежде не видел, по нескольку раз в день — и бесплатно! Больше всего его интересовала цирковая борьба. Как опытный борец, хоть всего лишь и сельский любитель, он скоро подметил, что выступавшие борцы тайком уговариваются, кому быть победителем в очередном поединке.

Под конец представления ведущий обычно спрашивал, не хочет ли кто-нибудь из публики побороться с одним из цирковых борцов. За победу над любым из них счастливчик получит серебряный рубль.

— Покажи серебряный рубль! — обычно кричали зрители. — Покажи!

Ведущий вынимал из кармана серебряную монету и, подняв ее высоко над головой, шел вокруг арены цирка, чтобы все увидели, что монета действительно серебряная. Затем клал монету на барьер и говорил:

— Вот здесь она будет дожидаться победителя.

Но за целую неделю цирковых представлений, которые Пап увидел, никто из публики ни разу не осмелился выйти на борьбу с цирковыми борцами. В начале следующей недели Пап стал еще внимательнее присматриваться ко всем техническим приемам борцов. Он обнаружил, что все они ни разу не использовали приемы, известные опытным сельским борцам на поясах. То ли не знали, то ли почему-то игнорировали. Заметив ряд возможностей применения технических приемов, проверенных в сельских состязаниях, Пап в конце второй недели в ответ на вопрос ведущего: «Кто из публики желает?» — крикнул с галерки:

— Я желаю!

Зрители с удивлением смотрели на спускавшегося вниз, к арене, сельского парня.

— Ты?! — изумленно воскликнул ведущий. — Ты желаешь бороться?

— Я! — повторил Пап.

— Не боишься, что тебе поломают кости?

— Нет, — коротко и решительно ответил Пап.

— Да он просто клоун! — выкрикнул кто-то из публики.

— С которым из шести стоящих сейчас на арене?..

— Вон с тем, бритоголовым, что крайний слева, — сказал Пап.

Он знал, что этот борец больше других пропускал удобные возможности положить противника на лопатки.

Бритоголовый борец, услышав ответ на вопрос ведущего, рассмеялся и поиграл своими мускулами груди, плеч, бицепсами — покрасовался перед публикой. Зрители тоже рассмеялась. Многие из них, очевидно, ждали, что «клоун» выбросит какой-то эксцентрический трюк.

— Снимай, парень, рубаху и штаны, если под ними у тебя имеются труссы.

Публика и борцы, стоявшие на арене, расхохотались. Зрители потешались над происходящим, пока Пап не снял рубаху и штаны. У ведущего, увидевшего крепкую шею, широкую спину, мощные плечи, мышцы груди и большие бицепсы, отвисла челюсть. Он подошел и по-

трогал отцовские мышцы, покачал головой и широким жестом пригласил, чтобы Пап вошел на арену цирка, где стояли борцы... Публика перестала смеяться. Сникли ушмешки и у борцов. Вытянулось лицо у бритоголового.

Выйдя на ринг, Пап первым делом прошел к тому месту на бордюре, где лежала серебряная монета, взял ее, попробовал на зуб, положил на место и сказал:

— Готов бороться!

— Давай, хлопче, давай! — произнес седовласый и седоусый пожилой дядько, похожий на гоголевского Тараса Бульбу, каким его изобразил художник в книжке.

Все борцы, кроме бритоголового, ушли с ринга.

Ведущий дал свисток. Поединок начался в полной тишине. На ринге кругами, вытянув перед собой руки, как бы оценивая друг друга, ходили средних лет бритоголовый борец и девятнадцатилетний сельский хлопец.

Публика стала болеть за сельского хлопца, подбадривать его.

Борцы наконец сблизились, проверяя свои крепкие шеи, плечи, предплечья... Это продолжалось несколько минут, пока для сельского хлопца не наступило положение, когда представилась возможность применить свои умения. Пап мощно схватил бритоголового обеими руками за шею и плечо, сделал подсечку ногой и буквально кинул противника на обе лопатки. Зрители от неожиданности ахнули.

Последовали горячие аплодисменты публики. Ведущий тем временем взял с бордюра серебряную монету и торжественно вручил ее победителю.

И тут же к нему подошел Тарас Бульба и пробасил негромко по-украински:

— Ото, я тут, хлопець, голова артіі вантажників Севастопольского порту. Иди прищювати до мене, я тобі забипечу заробіток значно кращий ніж дають тобі ці шахраи. (Я здесь, парень, председатель артели грузчиков Севастопольского порта. Иди работать ко мне, я тебе обеспечу заработок значительно лучший, чем дают тебе эти мошенники.)

Пап ушел из цирка вместе с Тарасом Бульбой, которого, как оказалось, и в самом деле звали Тарасом. Так

мой отец стал грузчиком в Севастопольском порту. Крепкие и выносливые грузчики по тому времени получали в артели хорошую плату, но работать приходилось много, чуть ли не по четырнадцати часов в сутки шесть дней в неделю. По утрам в воскресенье одни из них шли в православную церковь, а из церкви шли в кабак, где напивались и резались в карты; другие предпочитали ходить по дешевым борделям. А Пап предпочел каждое воскресенье ходить в Севастопольскую городскую библиотеку, где его «собеседниками» были Александр Пушкин и Тарас Шевченко, Лев Толстой и Иван Франко, Николай Гоголь и Леся Украинка, Максим Горький и Александр Куприн.

В середине января 1905 года в Севастопольской городской библиотеке появился «живьем» известный и довольно популярный русский писатель, живший в Балаклаве, Александр Куприн. Пап сумел пробиться в переполненный читальный зал и послушать писателя, который рассказывал о событиях недельной давности в Санкт-Петербурге — так называемом Кровавом воскресенье, когда царскими войсками была расстреляна мирная демонстрация.

Вслед за этим событием на протяжении нескольких лет в Российской империи бродили революционные настроения. Севастополь не стал исключением.

Случилось так, что 18 октября Пап, выйдя из городской библиотеки, по сути случайно оказался в тысячной толпе горожан-демонстрантов, требовавших созыва Учредительного собрания. Демонстрацию «приветствовали» залпы жандармов и сабли конных донских казаков. Толпа обратилась в бегство. Отец и его товарищ по работе в порту Василий тоже побежали в гуще напуганных людей. Казак, мчавшийся на толпу демонстрантов, рубанул саблей Василия по животу. Раненый упал на мостовую, заливаясь кровью, из его живота стали выпирать внутренности. Пап поднял товарища на руки и унес его в ближайший переулок, надеясь оказать ему первую помощь. Врача он нашел, но было уже поздно. Василий, потерявший слишком много крови, умер...

В тот памятный день в Севастополе во время демонстрации были зарублены саблями казаков и убиты пулями

жандармов девятнадцать человек, сотни горожан оказались ранеными. Весь город собрался на похороны погибших. На кладбище отставной лейтенант Петр Шмидт, недавно избранный в городской совет, произнес речь, последние слова которой Пап запомнил на всю жизнь: «Клянемся сохранить верность делу, за которое они отдали свою жизнь!»

14 ноября 1905 года в Севастопольской бухте восстали матросы крейсера «Очаков». Вскоре к восставшим присоединились еще одиннадцать боевых кораблей Черноморского флота, находившихся в той же бухте. Моряки «Очакова» направили своих представителей в городской совет и попросили Петра Шмидта возглавить восстание. Он дал свое согласие. Поднявшись на борт «Очакова», Шмидт направил телеграмму царю Николаю II:

«Славный Черноморский флот, свято храня верность своему народу, требует от Вас, государь, немедленного созыва Учредительного собрания и не повинуетя более Вашим министрам. Командующий флотом *П. Шмидт*».

В ответ царь приказал вице-адмиралу Чухнину, чтобы вся севастопольская береговая артиллерия открыла огонь по крейсеру «Очаков» и другим мятежным кораблям Черноморского флота, находившимся в бухте.

Но за час или два до начала обстрела Севастопольский городской совет подготовил для Петра Шмидта секретный засургученный пакет. Отправить этот пакет на крейсер «Очаков» и вручить лично лейтенанту Шмидту совет поручил председателю артели грузчиков Тарасу. Тот собрал своих людей и спросил, кто из них согласится ночью на рыбацкой лодке пробраться к крейсеру «Очаков» с пакетом и вручить его адресату лично в руки.

Памятуя о недавно безвинно погибшем товарище Василии, Пап согласился выполнить поручение Севастопольского городского совета, благополучно добрался до крейсера, вручил Петру Петровичу Шмидту пакет лично в руки и собрался спуститься в рыбацкую лодку.

Именно в тот момент и начался обстрел крейсера «Очаков» из орудий всех калибров с расстояния 200 мет-

ров. Берега бухты окружили войска экспедиционного корпуса, солдаты которого расстреливали из пулеметов и ружей, а также закалывали штыками всех, кто попытался спастись с крейсера вплавь.

Пап оказался в одной шлюпке с матросами, которые, спасаясь от пожара и обстрела, решили плыть не к берегу, а в открытое море. В шлюпке было девять человек. Море штормило и носило лодчонку по Черному морю два дня и две ночи и, наконец, на третьи сутки прибило к берегу под Балаклавой, на южной оконечности Крыма. Местные рыбаки сразу поняли, откуда шлюпка, спрятали моряков от жандармов и уведомили о матросах с «Очакова» писателя Александра Куприна. Вместе с двумя близкими друзьями Куприн помог морякам, вместе с которыми был Пап, выбраться из Балаклавы, минуя полицейские посты и наряды, искавшие матросов с «Очакова». На окраине города моряки распрощались с Куприным и его друзьями. А восемь моряков и Пап решили, что им поодиночке будет легче скрываться от царской жандармерии. Попрощавшись друг с другом, они разошлись в разные стороны.

...Я замолчал, почувствовав усталость.

— А как твой Пап оказался в Америке? — спросила Оксана.

— Знаешь, это еще одна детективная история. Ему довелось целый год скрываться от царских жандармов, скитаясь по селам и местечкам Украины, время от времени меняя имена. Наконец он оказался в Шепетовке, неподалеку от границы России и Австро-Венгрии. Пап нашел работу в ремонтном железнодорожном депо. В начале 1907 года профсоюз железнодорожников постановил организовать массовую демонстрацию с теми же требованиями, что выдвигали рабочие Петербурга царю Николаю II в Кровавое воскресенье.

За день до демонстрации от одного солдата 334-го Стародубского кавалерийского полка в профсоюзе стало известно, что войска встретят демонстрантов пулями, штыками и саблями. Рабочие напечатали листовки, призывавшие солдат не повторять того, что было в Петербурге, и не стрелять в мирных демонстрантов. Раздавать листовки

в полку, стоявшем между Шепетовкой и Подволочиском, поручили моему Пап. Там-то он и попался с пачкой листовок в руки жандармам. Его арестовали и посадили на гауптвахту.

Контрразведка полка довольно быстро выяснила, что Пап был участником событий в Севастополе на крейсере «Очаков». Он предстал перед военным трибуналом, который приговорил его к расстрелу. Не было ни малейшего сомнения в том, что его казнят, если только на гауптвахте не произойдет какого-нибудь чуда. И чудо случилось: разводящим караула в ночь перед казнью оказался друг детства отца из села Юхны — в чине фельдфебеля.

— Сергей, ты? — прошептал фельдфебель, опасаясь, что услышит другой часовой.

— Григорий, ты?

— Да, Сергей, — ответил фельдфебель.

Сергей и Григорий, заключенный и фельдфебель охраны, когда-то вместе пасли гусей, свиней, коз, коров и лошадей. Пап решил выложить своему другу-фельдфебелю свой план побега с гауптвахты. Он шепнул:

— Слушай, Григорий, не мог бы ты приказать часовому стать за дверь? Хочу сказать тебе нечто очень важное.

Григорий скомандовал рядовому выйти за дверь и ждать, пока его не позовут.

— Говори, Серега, быстрее, — сказал Григорий. — Что надумал?

— Гриша, — обратился к нему Пап, — выпусти меня. Не то завтра наутро я уже не жилец. Ты ведь знаешь, что мне присудил военный трибунал.

— Да ты с ума сошел, Серега! Ну, выпущу я тебя, так меня самого расстреляют.

— Верно, Григорий. Только...

— Что «только»?

— Только если ты не уйдешь со мной вместе.

— Куда?

Пап объяснил Григорию:

— Отсюда до границы с Австро-Венгрией не больше версты. Так? Если бегом, нам понадобится не более десяти минут. Так? Переплывем Збруч и меньше чем через полчаса окажемся по ту сторону границы.

— А там что? — спросил удивленный Григорий.

— А там — доберемся до Гамбурга, откуда каждую неделю отправляются пароходы в Америку с сотнями эмигрантов. Я в Севастополе от матросов дальнего плавания все точно знаю... Помнишь картинки в окнах корчмы, где мы с тобой, бывало, сживали? Самое высокое здание в мире где? В центре Нью-Йорка! Хмарочёсом или небоскребом его называют. А фотокарточки важных американцев, гуляющих по ихнему Бродвею, помнишь? На улице ни единого бедняка не видно. Все такие богатые! Мы ведь с тобой, Григорий, не лентяи. Поедем с тобой в Америку, не развлекаться же, не гулять! Будем усердно пахать так, что через три-четыре года по-настоящему богачами станем, сможем вернуться в Европу, если захотим. Купим себе по усадьбе и заживем по-человечески!

Идея Григорию понравилась.

— Все, что ты говоришь, Серега, очень интересно и вроде здорово, — сказал он, наморщив лоб. — Но надо ж подумать...

— Нечего тут раздумывать, друже! Если ты не дурак и если все понял, надо поторапливаться. Через час начнет светать. Идем, Григорий, идем немедленно!

— А часовой?

— Отопри клеть. Я выйду и стану возле двери. Ты позовешь часового. Я его оглушу по башке. Положим его в клеть и кинемся до Збруча. Когда часовой придет в себя, мы с тобой будем в Австро-Венгрии.

— Ну что ж, Серега... — сказал Григорий, перекрестившись. — Двум смертям не бывать, одной не миновать!

Он отомкнул железную клеть. Через пару минут Григорий запер железную клеть и дверь гауптвахты с оставшимся там оглушенным часовым, и беглецы бросились к Збручу. Они запросто переплыли неширокую реку и вскоре оказались в Австро-Венгрии. Время накануне рассвета, видимо, склонило к сладкой дреме редких в те годы и российских, и австро-венгерских пограничников, что было на руку двум нарушителям границы.

И вот они уже в австро-венгерском Подволочиске. Добираться до Гамбурга, пешком через всю Германию, при-

шло с двух-, а то и с трехнедельными остановками для подработки: нужны были деньги, чтобы купить билеты на пароход в Америку. Заработанные у немецких бауэров марки позволили Сереге и Григорию купить билеты третьего класса на пароход и записать по 25 долларов, — такую сумму каждый въезжающий в Штаты обязан был предъявить американским чиновникам таможенной службы. Иначе могли отправить назад.

Пап, как он рассказывал, навсегда запомнил, как у входа в нью-йоркскую гавань воочию увидел «величественную женщину с факелом» — статую Свободы. На пьедестале статуи, которую иногда называли «матерью эмигрантов», высечены слова поэтессы Эммы Лазарис. Кто-то из российских эмигрантов перевел слова поэтессы так:

«Мать изгнанников» кричит Старому Свету,
Губ своих не разжимая:
«Отдайте из глубин бездонных
Своих изгоев, люд забитый свой.
Пошлите мне отверженных, бедомных.
Я им свечу — у двери золотой...»

...В палате светало. Надо было хоть немного поспать. Оксана предложила:

— Отбой?

— Отбой! — согласился я.

20 ноября 1943 года

Проводы

Радостная новость: дежурный врач мне сказал, что я могу надевать военную форму, так как сегодня меня выписывают и за мной через пару часов приедет на «Виллисе» мой комроты, майор Жихарев. Возле моей койки на тумбочке лежала аккуратно сложенная горкой новая офицерская форма. На полу стояли сапоги, сверху — новые портянки. На гимнастерке оказались погоны младшего лейтенанта танковых войск.

Но радость, как известно, приходит зачастую не одна, а рука об руку с грустью и печалью. Ведь я расстаюсь неизвестно на какое время с моим ангелом-хранителем,

моей бесконечно дорогой Принцессой Оксаной, которая, по существу, вытащила меня с того света. Если бы не она, мое место по недосмотру похоронной команды оказалось бы в глубокой немецкой траншее... Оксана нашла меня, полуживого доставила в госпиталь... И вот теперь я не только жив, но и годен к дальнейшим сражениям с врагом. Что скажу я Оксане на прощание?

Я знаю, что предстоящие бои по освобождению Белоруссии будут наверняка не менее напряженными, не менее жестокими и кровавыми, чем наше наступление на запад после сражения за Малый Сталинград (Поныри). А Оксана будет по-прежнему с командой санитаров таскать с поля боя, под огнем противника, тяжелораненых. И я буду не в последних рядах наступающих войск. Когда же и где мы с ней теперь увидимся и увидимся ли вообще?

Взяв в руки гимнастерку, я обнаружил аккуратно подшитый, чувствуется — женской рукой, белоснежный подворотничок. Это конечно же ее работа. Я скажу ей, что мы непременно встретимся в Берлине у Рейхстага.

Предстоящее расставание для Оксаны — я был уверен — станет таким же грустным событием, как и для меня.

Но я, оказалось, глубоко ошибался.

Вот она наконец вошла. Не грустная, не опечаленная, а, напротив, радостно улыбающаяся. Будто мы не расстаемся, а отправляемся с ней вместе на нашу свадьбу. Чему она так радуется? Мелькнула гадкая мысль: неужели у нее появился кто-то другой?

«Нет, нет! — сказал я себе. — Этого не может быть».

— Ну, какой сюрприз ты мне приготовила, дорогая ты моя Принцесса, любимая моя? — спросил я.

— Ни за что не догадаешься, милый мой Николасик! Ни за что!

— Но ты, я смотрю, бесконечно рада моему отъезду? — сказал я.

— Да нет же! Разрешаю тебе из моего левого нагрудного кармана гимнастерки вытащить одну бумагу и громко, с выражением, прочесть, что там написано!

Я нерешительно подошел к ней ближе и подумал. Неужели у нее там чье-то письмо и, может быть, чье-то фото и она сейчас начнет мне что-то объяснять...

— Ну что же вы, младший лейтенант? — произнесла она укоризненно.

Я вытащил из ее кармана аккуратно сложенный лист плотной белой бумаги, где было что-то напечатано на пишущей машинке. Развернул бумагу и стал медленно, по слогам, читать приказ командира нашего танкового корпуса. Приказ заканчивался словами: «...назначается старшим военфельдшером в танковую роту разведки 195-й танковой бригады». Документ был скреплен круглой корпусной печатью и подписью генерала.

— Ты в своем уме, принцесса, моя дорогая?

— Б е з у с л о в н о ! — ответила она с улыбкой, спокойно.

— Ты когда-нибудь видела, что происходит на поле боя, когда танковая разведрота устремляется в прорыв обороны противника?

— Видела!

— Где же, по-твоему, будет, в таком случае, место военфельдшера?

— Позади огромной башни нового танка Т-34-85, командиром которого будет младший лейтенант, мой любимый!

— Нет, товарищ гвардии лейтенант медицинской службы, ваш номер не пройдет! — пытался я сопротивляться.

— Пройдет за милую душу, товарищ младший лейтенант! — произнесла она делано строго и добавила: — Ты пьесу Шекспира «Ромео и Джульетта» читал?

— Читал в десятом классе. А ты?

— А я в шестом. — Она прижалась ко мне всем своим телом и сказала негромко: — Связал нас Господь Бог одной ниткой, милый мой Николасик. Куда ты, туда и я!

— Ненормальная!

— Согласна!

31 декабря 1943 года

Александровка-Вторая, Украина

Наш танковый корпус расположился на переформировку и, в ожидании пополнения, стоял в нескольких километрах от линии фронта. Вчера, как мне стало из-

вестно, наш новый командир танкового корпуса генерал Бахаров пригласил всех офицеров, включая принцессу Оксану и меня, на новогодний ужин, который должен был начаться в 11 часов вечера 31 декабря 1943 и окончиться утром 1 января 1944 года.

Ни у кого из нас не было парадной формы, а жаль... Что поделаешь, к парадам пока никто не готовился. Но все постриглись, побрились, побанились с венчиками, тщательно выстирали свои старые гимнастерки и галифе, подшили свежие белые подворотнички, до блеска начистили сапоги. Это и была по тому случаю наша «парадная форма».

Оксана сделала красивую искусственную гвоздику и приколотла ее к своим пышным волосам. Теперь она выглядела настоящей принцессой, и я стал бояться, что кто-то из высоких по рангу офицеров захочет ее у меня похитить, как сделал с Наташей Ростовою Анатолий Курагин, один из героев романа Льва Толстого «Война и мир». Помнится, читая эту сцену, я так возненавидел Курагина, что готов был вызвать его на дуэль и убить первым же метким выстрелом.

Накануне намечавшегося торжества я сказал Оксане, что чувствую себя очень неловко, так как считаю совершенно неуместным что бы то ни было отмечать и праздновать в разгар войны.

— Что ты, Оксана, думаешь по поводу грядущего торжества? — спросил я. — Ведь я совсем недавно потерял своих боевых товарищей: Орлова, Кирпо и Филиппова, а наш танковый корпус недосчитался тысячи солдат и офицеров. Все они не дожили до наступающего Нового года. Хорошо ли веселиться без них? Веселиться, петь и танцевать?..

— Послушай, милый мой, — сказала мне Оксана. — Те, кто выжил, нуждаются в разрядке. Они ее заслужили... Вместо того чтобы сомневаться, давай я выстираю твою гимнастерку и галифе, подошью тебе свежий подворотничок, и ты вычистишь свои сапоги — как это умел делать твой брат Джон на Бродвее в Нью-Йорке. Я помню твой рассказ о нем... Действуй, Николасик! Пожалуйста!

Оксана рассказала о моих сомнениях по поводу предстоящего торжества моему комвзводу гвардии старшему лейтенанту Олегу Милюшеву.

— Знаешь ли ты, что такое поминки? — спросил он меня.

— Слышал, но точно не знаю, — ответил я.

— Поминки устраивают после похорон усопшего. После того как мы потеряли кого-то из дорогих наших товарищей по оружию, мы по древнеславянской традиции должны устроить поминки: выпить и закусить за упокой их душ. Пока шла битва, мы не могли выполнить свой долг перед погибшими. Сейчас мы на переформировке. Почему же нам не помянуть наших боевых товарищей? В том числе тех, кто сражался с тобой плечом к плечу: Орлова, Кирпо и Филиппова. Собирайся, Никлас. Не надо шагать не в ногу с ротой, в которой служишь.

«Великий сбор» был организован в гигантской землянке, построенной нашими корпусными инженерами и саперами специально для новогоднего торжества. Это был самый большой блиндаж, который кто-либо из нас видывал. Его площадь была свыше 300 квадратных метров. Пол, потолок и стены были покрыты досками, аккуратно выстроганными из свежесрубленных поблизости сосновых деревьев. На стенах «гранд-землянки» висели гирлянды из сосновых веток. Воздух наполнился великолепным ароматом, который резко контрастировал со зловонным запахом войны: порохом и кровью, заживо сторевшими в танках человеческими телами, настойкой йода, хлора и гнойными бинтами в полевых госпиталях. Запах сосны показался мне тогда наилучшим из всех существующих в мире духов. Землянка, освещенная несколькими десятками танковых фар, была похожа на большой и красиво оформленный зал для приемов.

В одном из четырех углов стояла оригинально украшенная елка, похожая на рождественские, которые я помнил по Бетлехему и Нью-Йорку. В СССР тоже до войны появились елки (заслуга большого партийного функционера Павла Постышева, которого потом расстреляли как «врага народа»). Я помню прекрасные новогодние торжества с украшенными елками в макеевской средней

школе № 6 и во Дворце культуры завода имени Кирова, когда директором завода-гиганта стал по-настоящему разумный руководитель Георгий Гвахария (впоследствии тоже расстрелянный вместе со своей женой Варварой Гвахария — по стандартному обвинению: «враги народа»).

В центре «гранд-землянки» стояли параллельно друг другу два десятиметровых стола и один трехметровый — перпендикулярно к ним. Это был стол для «президиума». За длинными столами поместилось почти двести человек. А за столом «президиума» — около дюжины или чуть больше: командир корпуса и его заместители, командиры бригад и отдельных полков со своими замами. Столы были покрыты десятками бутылок русского хлебного кваса, грузинского вина, армянского коньяка, украинской «горилки з перцем», белорусской «Беловежской Пуши» и «Московской» водки. На столах также было обилие яств, название которым даже принцесса Оксана не знала.

Даже наши опытные ветераны — майор Жихарев и гвардии старший лейтенант Олег Милюшев сказали, что ничего подобного никогда не видывали раньше: ни после разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в декабре 1941 года, ни после битвы под Сталинградом в феврале 1943 года.

Ретроспекция-7

«Штрихи настоящего социализма»

Как ни странно, но такое разнообразие яств я впервые увидел тогда, в разгар большой войны. Когда наша семья приехала из США в Макеевку, мы были шокированы тем, как приходилось нам добывать еду. Мы, трое американцев, — старшие братья Майк и Джон и я, — должны были простоять всю ночь в очереди, чтобы по карточкам купить черного ржаного хлеба на всю семью. Ведь Пап работает в доменном цеху, и ему следовало ночью как следует выспаться, чтобы на следующий день быть в форме; у мамы был тромбофлебит, и она стоять в очередях не могла. Моя смена в очереди начиналась

в семь вечера и продолжалась до 10 часов вечера; смена Майка начиналась в 10 часов вечера и продолжалась до 4 часов ночи; Джон приходил в очередь, чтобы сменить Майка, в 4 часа утра и стоял в очереди до восьми утра. В 8 часов снова приходил Майк и ждал открытия хлебной лавки до тех пор, пока ему не выдадут положенные по пяти хлебным карточкам 1 килограмм и 200 граммов хлеба. Иногда это была одна буханка; иногда — буханка с довеском.

Кроме того, раз в месяц нашей семье полагался по карточкам литр постного масла, 2 килограмма перловки или пшена и 1 килограмм повидла. Пап, как рабочий, получал 400 граммов хлеба, а мама и мы, трое братьев, — по 200 граммов, так как считались иждивенцами. Причем жили мы впятером вместо обещанного коттеджа в двухкомнатной квартире (а по американским понятиям — в односпальной). Квартира состояла из одной комнаты — 18 квадратных метров, одной спальни — 12 квадратных метров и кухни — 6 квадратных метров. Печка топилась углем. Водопровод не работал. Туалетная комнатка была, но канализация работала очень плохо. (Весь 36-квартирный дом сдали недостроенным.) А коттедж, который обещали отцу в Нью-Йорке сотрудники Амторга, нам показали, но при этом сказали: «У нас произошло непредвиденное событие: женился молодой донецкий писатель Авдеенко, и мы вынуждены были отдать ему ваш дом. Потерпите немного в этой квартире, а мы что-нибудь придумаем...» (Замечу в скобках: так и думали до 60-х годов XX столетия.)

Мы спрашивали нашего Пап, где же обещанный нам в Нью-Йорке советский социализм. Пап отвечал:

— Надо немного подождать, потерпеть. Через пару лет все образуется. Не видели мы красной и черной икры ни в Америке при капитализме, не видим ее и в СССР при социализме. Не видели мы в Штатах жареных уток. Не видели и молочных поросят с морковками во рту — уже в СССР...

Но вот что действительно оказалось правдой, так это то, что мама смогла лечиться бесплатно. Высшее образование для Майка было бесплатным и со стипендией. Пап

работал не по 12 часов в сутки, как в США, а только 6 часов с оплаченными выходными и месячным оплаченным отпуском. Один раз в год от профсоюза он получал для себя и для мамы бесплатную путевку в санаторий «Левадия» (бывший царский дворец) в Крыму.

— Это штрихи настоящего социализма, — говорил нам Пап.

Мы ему привыкли верить...

31 декабря 1943 года — 1 января 1944 года Новогодняя ночь в Александровке-Второй

...Начиналась встреча Нового года в нашей огромной фронтовой землянке.

Когда полковник доктор Селезень появился в «зале», он подошел к нам с Оксаной, чтобы нас обоих крепко обнять и поцеловать. Сел рядом с нами рядом, а не там, где сидело высокое начальство: генералы, полковники и подполковники. Он относился к нам с Оксаной действительно по-отечески. Полковник Селезень прекрасно понимал, почему Оксана решила быть на войне со мной в одной танковой роте разведки, и дал нам своего рода благословение.

Командир корпуса генерал Бахаров встал и предложил всем присутствующим наполнить бокалы и поднять первый тост за лидера Советского Союза и Верховного главнокомандующего Иосифа Виссарионовича Сталина. Потом помянули героев — солдат и командиров, павших за освобождение Родины от немецко-фашистских оккупантов.

А третий тост, особенно мне понравившийся, был за англо-американских союзников, которые в Тегеране твердо пообещали наконец открыть во Франции второй фронт.

Ровно в 24.00 по радио мы услышали бой часов кремлевской башни и поздравление Центрального комитета ВКП(б) и правительства СССР советскому народу и его героической Красной армии с новым 1944 годом.

— С новым 1944 годом! — звучало в землянке.

Замполит нашей танковой бригады, майор, профессор Петровский предложил всем желающим (он выразился так: «участникам художественной самодеятельности») спеть, сыграть, сплясать или рассказать о чем-то интересном.

Я был удивлен и, можно сказать, потрясен тем, как замечательно слаженно и прекрасно спело трио: Оксана, Олег Милюшев и доктор Селезень — известные песни: «Ой, Днепро, Днепро, ты широк, могуч...» и «Роспрягайте, хлопцы, коней, тай лягайте спочивать...». Интересно и необыкновенно для меня было то, что все присутствовавшие в «зале» с огромным энтузиазмом, как мне казалось, подхватывали и дружным хором подпевали. Где, когда и как это трио репетировало два своих шедевра, мне было неизвестно. Но было ясно, что закоперщицей в этом деле была Принцесса и что это был настоящий сюрприз для всех присутствовавших, в том числе для меня. Густым басом подпевал мой командир роты майор Жихарев. Я невольно вспомнил, какими замечательными голосами обладали мои погибшие товарищи по оружию Орлов и Кирпо...

Потом произошло совершенно неожиданное. Оксана вдруг, ничего мне не сказав, но явно по сговору с доктором Селезнем, моими комроты и комвзвода, поднялась, выждала паузу, а затем произнесла:

— Уважаемые товарищи генералы, полковники и подполковники, майоры, капитаны и лейтенанты, дорогие участники нашего торжества!

Все умолкли, заинтересованно смотрели на Оксану.

— Среди нас здесь, — продолжила она своим звонким, красивого тембра, голосом, — присутствует человек, который, как никто другой в этом «зале», хорошо знает и расскажет об удивительно интересном эпизоде в международных российско-американских отношениях. А было это в 60-х годах минувшего столетия, когда решался вопрос, быть или не быть Соединенным Штатам Америки!

Оксана сожгла все мосты для моего отступления. Я вспомнил, что недавно кое-что рассказывал Оксане о событиях Гражданской войны в США.

Мне пришлось встать и начать рассказ, хотя я сомневался — будут ли люди, выпившие по три-четыре бокала вина или чего-то покрепче, да и захотят ли слушать меня... Но я представил себе, что я в своем танке и что в наушниках моего танкошлема прозвучала команда майора Жихарева: «Вперед!»

И я начал:

— В нашем «зале» есть немало людей, которые с пеной у рта станут утверждать, что нога русского солдата не ступала на территорию Соединенных Штатов. Такое может утверждать лишь человек, который плохо знает историю своей родины и, тем более, историю Соединенных Штатов Америки. Я собираюсь вам рассказать о том, как по просьбе шестнадцатого президента Северо-Американских Штатов Америки Авраама Линкольна две российские эскадры — одна из Кронштадта, другая из Владивостока — почти одновременно прибыли в гавани Нью-Йорка и Сан-Франциско.

Ретроспекция-8

Небольшой экскурс в историю российско-американских отношений

Офицеры, сидевшие за столами, перестали есть, жевать, пить. Заинтересовались. Ага! — подумал я. Значит, для них это неизвестная страница истории! И продолжил:

— С избранием президентом Авраама Линкольна в Штатах в середине XIX века началась Гражданская война между промышленными северными штатами и рабовладельческим Югом. Англии нужен был дешевый хлопок юга. Франции нужны были земли южан. В Канаде были построены британские военные корабли, чтобы ударить Авраама Линкольна в спину, Франция обещала поддержку южанам. Так вот, когда все европейские страны от Вашингтона отвернулись и дела на фронтах складывались для северян неудачно, президент Авраам Линкольн обратился с секретным посланием к русскому царю Александру II и канцлеру князю Горчакову с просьбой при-

слать в Нью-Йорк и в Сан-Франциско две российские эскадры.

Александр II ответил на просьбу президента положительно. Он решил, что в задачу эскадр войдет демонстрация солидарности с северными штатами Америки.

И вот 24 сентября 1863 года Балтийская эскадра в составе винтовых корветов «Варяг», «Витязь», «Пересвет», «Александр Невский», клипера «Алмаз» и фрегата «Ослябя» под командованием адмирала Степана Лесовского вошла на рейд Нью-Йорка. А через три дня Тихоокеанская флотилия под командованием контр-адмирала Попова прибыла к Сан-Франциско; в ее состав входили винтовые корветы «Богатырь», «Калевала», «Рында», «Новик», клиперы «Абрек» и «Гайдамак».

Надо сказать, что это был первый — вообще в истории — дружественный визит военных кораблей Российского флота в Северную Америку. Европа была ошеломлена. Да и для простых американцев прибытие российских эскадр в самый трудный момент Гражданской войны явилось полной неожиданностью. Газеты северных штатов назвали это «лучами яркого солнца на горизонте». В одной из газет появился такой заголовок: «Прибытие русских эскадр вселяет надежду в наши сердца». В Нью-Йорке и Сан-Франциско русских моряков восторженно встретило население, приветствовали власти. На Бродвее в Нью-Йорке состоялся грандиозный парад. Дома были украшены российскими и американскими флагами, лозунгами и транспарантами. Жители города заполнили до отказа все тротуары, крыши домов и деревья. В Музыкальной академии на Манхэттене был организован прием. Столы ломились от яств: лососевой и осетровой рыбы, дюжин запеченных индюшек, кур и дичи, сотен бутылок вин, рома, виски, на столах красовались пирамиды тортов, изображавших скульптуры Петра I, Екатерины II и Александра II, Джорджа Вашингтона и Авраама Линкольна...

Я прервался на несколько секунд, осмотрелся: мои боевые товарищи внимательно меня слушали.

— Вот что надо еще отметить. Тихоокеанская флотилия прибыла в Сан-Франциско 27 сентября в то время, когда там полыхал самый большой пожар в истории го-

рода. Местные пожарные уже выбивались из сил, и контр-адмирал Попов приказал всем экипажам кораблей с ведрами и инструментами броситься на борьбу с огнем. Так пожар был общими усилиями побежден... Хотя русским морякам эта героическая борьба стоила шести жизней. Их тела с большими почестями похоронили на острове Маре вблизи Сан-Франциско.

Через неделю после шикарного приема в Музыкальной академии Нью-Йорка контр-адмирал Лесовский дал ответный торжественный обед на верхней палубе «Александра Невского». Делегацию государственных деятелей Америки возглавила первая леди США миссис Мэри Тодд Линкольн. Она в своей речи отметила, что Россия оказалась единственной страной, которая в самый трудный момент для северных штатов Америки откликнулась на их просьбу. Первая леди страны предложила тост за Александра II и за Российский военно-морской флот, оказавший Америке величайшую моральную поддержку:

— A friend in need is a friend indeed! («Друг в беде — настоящий друг», «Друг познается в беде».)

Адмирал Лесовский приказал вынести из кают-компании на палубу «Александра Невского» рояль и поручил молодому гардемарину Николенке Римскому-Корсакову развлечь американских гостей исполнением композиции из русских мелодий.

— У меня за шестьдесят два дня нашего перехода из Кронштадта в Нью-Йорк пальцы задубели, — застеснялся будущий выдающийся российский композитор.

— Ничего! — успокоил гардемарина адмирал. — Как задубели, так и раздубеют...

Много позже, когда в Штатах познакомились с оперой «Сказка о царе Салтане», в одной американской газете написали, что в композиции русских мелодий на «Алекサンドре Невском» впервые прозвучали фрагменты «Поле-та шмель над морем» гардемарина Римского-Корсакова. Тогда еще — гардемарина.

Российских моряков приняли в Белом доме в Вашингтоне.

Когда весной 1864 года войска северян стали одерживать одну победу за другой, обе русские эскадры, не вме-

шиваясь во внутренние дела США, покинули берега Америки.

...Закончил я так:

— Друзья! Американский писатель Марк Твен, который посетил Россию в 1865 году, написал: «Америка во многом обязана России за настоящую и бескорыстную дружбу и поддержку в трудные времена...» Позвольте мне высказать надежду на то, что в этом, новом 1944 году мудрые головы в правительстве моей родины возьмут верх над своими оппонентами и откроют наконец второй фронт в Нормандии!

Когда я замолчал, в зале наступила мертвая тишина. Я уж подумал: не лишнее ли я сказал в конце? Но вдруг краем глаза я увидел, что наш генерал встал и заплодировал. Его примеру последовали все другие. Кто-то выкрикнул: «За дружбу Советского Союза и Соединенных Штатов Америки!»

Но главным для меня было то, что моя дорогая Принцесса, мой надежный ангел-хранитель при всем честном народе меня крепко обняла и, никого не стесняясь, поцеловала в губы.

Встреча Нового года продолжалась...

5 февраля 1944 года

Паперня, Украина

Военные будни и воспоминания о мирной жизни

...Все мы боимся смерти. Если на фронте кто-то скажет вам, что он не боится быть убитым, знайте: он либо лжет, либо дурак. На фронте любой войны подлинной хозяйкой положения является госпожа Смерть. Она главный распорядитель...

Оксана и ее санитар-помощник, рядовой Васильев, довольно быстро привели в полный порядок медпункт для нашей танковой разведроты. Они его разместили в единственной уцелевшей хате, которую отступавшие фашисты просто не успели сжечь. Оксана и рядовой Васи-

льев капитально ее отремонтировали. Они очистили ее от грязи, оставленной фашистами, восстановили глиняный пол, побелили стены и перекрыли крышу свежей соломой. Васильев в соседней Александровке где-то нашел стекло, его тщательно вымыли и вставили в оба окна хаты. Васильев был довольно шустрым парнем. В очищенную и отремонтированную хату занесли все предметы санитарного и медицинского назначения. Тот же самый Васильев сумел где-то найти неизвестно кем брошенную в роще дезкамеру, привез ее во двор, подремонтировал и привел в рабочее состояние.

Когда все было готово для приема пациентов, наш командир роты майор Жихарев построил весь личный состав и перед строем объявил благодарность гвардии лейтенанту медицинской службы Оксане, а также ее помощнику рядовому Васильеву за то, что они сумели быстро превратить наполовину раскуроченную хату в образцовый медицинский пункт.

— Гвардии лейтенант оказалась не только храброй сестрой милосердия, которая под Сталинградом и во время Курской битвы вынесла более сотни тяжелораненых солдат и офицеров, — торжественно говорил Жихарев, — но и отличным организатором. Он вместе со своим помощником, рядовым Васильевым, подарила нам чистый, уютный образцово-показательный медицинский пункт первой помощи. По поручению командования нашей танковой бригады и от себя лично объявляю вам обоим — нашим медицинским героям — благодарность!

Однажды утром из леса явились селяне и вместе с ними хозяйка хаты, ставшей теперь медпунктом. Хозяйка была удивлена и при этом рада, что ее хата не только уцелела, но и преобразилась: отремонтированные крыша и пол, вставленные окна, идеальная чистота и порядок... Хозяйку звали Ульяной. Ей было около пятидесяти лет, но из-за того, что ей довелось пережить, она выглядела старше. Муж умер еще до войны. Во время оккупации фашисты угнали ее детей — 15-летнего сына и 17-летнюю дочь — вместе с другими подростками на железнодорож-

ную станцию в Гомель, завели в скотовозные вагоны и угнали в германское рабство. От хат многих из соседей Ульяны остались лишь дымоходы и печки. Людям пришлось для жилья вырыть себе землянки...

Землянки на войне — очень важная составляющая быта. Интересно то, что личный состав нашей роты жил тогда в 2—3 километрах от села в землянках, хорошо оборудованных и обложенных деревом. Они достались нам от немцев. Надо сказать, что все свои землянки от Курска и до Днестра немцы оборудовали основательно. В них они иногда устраивали двухъярусные нары, чего я никогда не встречал в наших землянках.

От прежнего состава роты нас осталась лишь четверть после боев на отрезке от Понырей до Паперни. Из офицерского состава в строю — лишь майор Жихарев, старлей Милюшев и четыре младших лейтенанта. Мы ждали пополнения и личным составом, и новыми танками Т-34-85, несколькими американскими самоходными 76-мм орудиями, а также тремя американскими бронетранспортерами.

В ожидании подкрепления мы приступили к изучению технических данных нового танка Т-34-85. А еще обсуждали все плюсы и минусы каждого действия нашей танковой роты разведки во время Курской битвы. Руководил этими занятиями майор Жихарев — опытный танкист, участник войны с первого ее дня. В самом начале этих занятий он дал, на мой взгляд, довольно четкое объяснение, почему мы в Курской битве понесли такие серьезные потери.

— В 1941 и 1942 годах, — рассказывал командир роты, — наши танки Т-34 имели ряд преимуществ по сравнению с немецкими танками: в скорости, прочности и маневренности. Их толстая, наклонно расположенная броня в нормальном диапазоне боя могла отбросить бронебойные снаряды всех немецких противотанковых орудий, за исключением 88-миллиметровых зенитных орудий... Однако в 1941 году многие тридцатьчетверки выходили из строя из-за механических поломок в трансмиссии и в коробке передач. Почти половина из потерянных машин

связана с поломками, а не с артогнем противника... Механические поломки требовали устранения на заводах-производителях. В машинах, поступавших к нам с заводов, проблема с трансмиссиями и коробками передач была в основном решена. Тридцатьчетверкам прибавили скорость, и они стали способны двигаться по более глубокому снегу и по грязи, где танки противника застревали.

Майор Жихарев посмотрел в мою сторону.

— Вы, младший лейтенант, — обратился ко мне майор, — 12 июля в районе станции Поныри встретились в бою с немецкой «Пантерой» и смогли ее подбить и сжечь. Какие изменения по сравнению с нашей тридцатьчетверкой вы смогли заметить, осматривая подбитую немецкую машину?

Его обращение ко мне было для меня неожиданным. Я вынул из нагрудного кармана гимнастерки небольшой блокнот, нашел страницу, помеченную 12 июля, и начал докладывать:

— В своем блокноте я сделал рисунок подбитой и сожженной «Пантеры», которая внешне напоминает Т-34. «Пантера» могла подбить мою тридцатьчетверку на расстоянии 1000 или даже 1500 метров. А мне удалось подбить и сжечь «Пантеру» лишь с фланга и расстояния чуть более 300 метров...

...В тот день, чтобы добраться до станции Поныри, нужно было продаться сквозь плотную стену огня и черного дыма. Механик-водитель Орлов уткнул машину в какую-то полуразрушенную стационарную постройку и крикнул мне:

— Ни черта не вижу! Дым! Глаза ест!

— Стой на месте! — приказал я Орлову и вылез из танка, чтобы посмотреть на эту постройку.

Вижу: впереди, на расстоянии примерно полукилометра в нашу сторону мчится вроде бы тридцатьчетверка. Присмотрелся — цвет не тот и ствол пушки слишком длинный. «Пантера»! Я ее вижу, а она меня за постройкой, скорее всего, нет. Быстро забираюсь в танк и команду Орлову:

— Сдай на три—пять метров назад и чуть левее! — И тут же заряжающему Филиппову: — Бронебойный!

На расстоянии чуть более 300 метров правым бортом к нам появляется «Пантера». Даю залп бронебойным по гусенице. «Пантера» юзом ползет влево. Кричу Филиппову: — Еще бронебойные!

После второго бронебойного, угодившего осколками, отлетевшими от башни, в трансмиссию, «Пантера» задымилась.

Я — Филиппову:

— Осколочный!

Осколочный попадает в раскрывшийся люк. Вражеский танк горит вместе с экипажем. Только тогда нам удалось рассмотреть, что за строение нас прикрыло: это были остатки водонапорной башни.

— ...Вот и все, товарищ майор. «Пантере» пришел капут, — закончил я свой рассказ-доклад о том бое.

— Что вы увидели внутри танка? — спросил Жихарев.

Я понял, что его вопрос был на засыпку. Ответил так:

— Как же я мог заглянуть внутрь, если «Пантера» горела? Не мог же я ждать, пока она перестанет гореть и остынет... Бой ведь еще продолжался.

— Хорошо, младший лейтенант, спасибо! — сказал майор Жихарев и добавил: — Кстати, я видел ваши рисунки в блокноте, когда вы еще были без сознания в госпитале. Они мне понравились. Попрошу вас нарисовать нам для занятий на больших листах фанеры все то немецкое вооружение и танки, которые я видел в вашем блокноте. Кроме того, на отдельном листе фанеры понадобятся рисунки и технические данные старых Т-34-76 и технические данные, касающиеся тех новых машин Т-34-85, которые мы скоро получим с Урала.

Все свободное от моих служебных обязанностей время я проводил в медпункте у Оксаны. За первые три месяца нового 1944 года она узнала все до малейших подробностей обо мне, а я — о ней. Она много рассказывала

о родителях. В годы своего отрочества пережили страшное время голода на Полтавщине во время Гражданской войны. Затем — студенческие годы, женитьба в Харькове, совместное распределение в Сталинград, где отец Оксаны строил тракторный завод, а мама преподавала английский язык в средней школе.

20 мая 1941 года, за месяц и два дня до начала Великой Отечественной войны, Оксана закончила восьмой класс средней школы, была принята в комсомол и собиралась провести летние каникулы на Волге, работая пионервожатой в детском лагере для младшеклассников. Но начавшаяся война сломала все планы.

Отца призвали в армию, старшего брата Оксаны — Василия — зачислили курсантом в бронетанковое училище. Как рассказала мне Оксана, в сентябре 1941 года в сталинградской газете появилось объявление о том, что для девушек, достигших 16-летнего возраста, при медицинском училище открываются курсы ускоренной подготовки медсестер для работы в военных эвакогоспиталях. И три подруги, закончившие восьмой класс средней школы круглыми отличницами: Оксана — украинка, Мария — русская и Раиса — еврейка, решили поступить на эти курсы, хотя им исполнилось лишь по четырнадцать лет. Приемной комиссии на курсах они, три рослые девушки, сказали, что им по шестнадцать, а их метрики и аттестаты утеряны во время бомбежки. Сказали, что мечтают стать «ускоренными» медицинскими сестрами в эвакогоспиталях. Если бы время было не военное, вряд ли их приняли бы без документов.

— А мамам вы сказали о своем решении? — спросил я Оксану.

— Сказали. И наши мамы поначалу грозились пойти на курсы и сказать, что нам нет еще пятнадцати лет. Но Раиса, Мария и я объявили: «Если пойдете туда, мы просто сбежим из дома на фронт и будем без всяких курсов вытаскивать тяжелораненых с поля боя». Мы ведь это в школе проходили.

— И что же мамы?

— Мама решили: лучше уж курсы, чем побег из дома на фронт. Возможно, надеялись, что через год войне при-

дет конец и их доченьки вернутся в школу, сядут за парты... Мы с детства дружили: вместе ходили в детсад, вместе поступили в школу, вместе читали книги, ходили в кино, на школьные вечера танцев. Любили одних и тех же героев.

— Василия Ивановича Чапаева?

— Нет. Он для мальчишек. А ты «Музыкальную историю» смотрел?

— Смотрел. Значит, Лемешев был вашим героем?

— Да, мы были, можно сказать, «лемешистками». Да у нас полкласса девчонок такими были. А другая половина — «козлитянками» были, то есть любительницами Козловского. И Лемешев, и Козловский пели арию Ленского в опере «Евгений Онегин»... А тебе, Николасик, в «Музыкальной истории», наверное, понравилась Федорова?

— Угадала! Хотя ей, Федоровой, далеко до Дины Дурбин. — Я не смог устоять, чтобы не перевести разговор на свою любимую актрису. — Знаешь, что в Дину Дурбин после фильма «Сестра его дворецкого» влюбились четверо глав государств? Так было написано в одном из голливудских журналов, мой старший брат Майк получал их из Америки.

— Кто же? — спросила Оксана.

— Черчилль — раз; Рузвельт — два; Чан Кайши — три и товарищ Сталин — четыре.

— И ты, Николасик, — пять!

— О да! — ответил я и добавил: — В своих мечтах и во сне. Но мне очень повезло, Принцесса! В жизни я встретил реальную Дину Дурбин, которая краше знаменитой американской кинозвезды.

— Да? — шутливо возмутилась Оксана. — А как ее зовут? Где она живет? У тебя с ней переписка?

— Как ее зовут, ты прекрасно знаешь, Принцесса моя дорогая. Живет она рядом со мной. Переписка нам не нужна: мы с ней общаемся живьем!

Оксана улыбнулась. Нам было хорошо вдвоем...

Оксана продолжила свой рассказ:

— В августе 42-го года нас направили в Саратовский эвакогоспиталь. А после того, как в налете на Сталинград

погибло более сорока тысяч военных и гражданских, мы вернулись в Сталинград. Нас направили служить медсестрами в 62-ю армию генерала Чуйкова.

— Всех троих?

— Да, Раису, Машу и меня.

— Наверное, тяжело было среди одних мужчин?

— Знаешь, был такой случай... Мы стояли на левом берегу Волги. Начштаба одного из батальонов в полку оказался наш бывший учитель физкультуры Гришка. Он бегал за каждой юбкой. Этот Гришка в чине капитана вызвал меня к себе в штаб. Он очень обрадовался моему приходу. Я-то думала, что он меня вызывает по делу. А он... он уже подвыпил, усаживает меня рядом с собой, достает из стола начатую бутылку водки и заявляет: мол, у него день рождения и он хочет его провести со мной. Наливает стакан водки себе и стакан мне. Я из вежливости его поздравила, пригубила стакан, поставила на стол, встала и собралась уходить. Он тоже вскочил на ноги, схватил меня и полез целоваться. У меня от этой наглости закружилась голова, и я, не помня себя от возмущения, откусила ему часть верхней губы. Он залился кровью, испачкался и меня испачкал. Я растерялась, перепугалась и, не помня себя, выскочила. Примчалась в комнату, где мы жили втроем с Машей и Раей. Они видят — я вся в крови, перепугались. Стали спрашивать, что произошло. У меня нервы сдали, я на них накричала: «Вместо того чтобы задавать мне вопросы, хватайте бинты и бегите перевязывать раненого Гришку!» Они убежали. А я бросилась в чем была на койку и разрыдалась. Рыдала, пока не вернулись мои девчонки. Гришку отвезли в медсанбат... Оперировали. У него нарушилась речь, и он стал нестроевым.

— И что потом? — спросил я.

— Потом? — усмехнулась Оксана. — Потом мужики стали нас обходить другой дорогой. О нас троих стали говорить: «Это те, что губы откусывают!»

Вскоре мы вместе с частями 62-й армии переправились на правый берег, где уже шли бои за Сталинград. Таскали из-под огня тяжелораненых. Там уж к нам никто не приставал. Не до того было!

— А что стало с вашей троицей? — спросил я.

Лицо у моей Оксаны помрачнело.

— 7 ноября 1942 года, в годовщину Октябрьской революции, нашей Раечке исполнилось полных пятнадцать лет. По случаю праздника нам выдали по сто грамм водки. Хозяйственники, правда, водку эту разбавляли, но все равно она была крепкой. Выпили за здоровье Раечки и троим тихонечко спели нашу любимую...

Синенький, скромный платочек
Падал с опущенных плеч.
Ты говорила, что не забудешь
Милых и радостных встреч...

А на другой день — 8 ноября — Рая вытаскивала из-под огня тяжелораненого офицера. Ей оставалось не более метра до траншеи, как вдруг их обоих накрыло артиллерийским снарядом... Останки Раечки мы завернули в плащ-палатку и спустились к берегу Волги... Вырыли неглубокую могилку... Закрыли ее изуродованное взрывом лицо синим платочком — у нас троих вроде талисмана были такие...

Оксана умолкла. Слезы катились по ее щекам, она их не вытирала.

— ...А что с Марией? — спросил я.

— От нее на Тракторном вообще ничего не осталось. Разнесло тяжелой авиабомбой. Мне только показали огромную воронку...

Я слушал печальные воспоминания моей любимой и снова и снова думал о том, что все на войне боятся смерти — хозяйки всего и вся! Если кто-то, включая настоящих героев, скажут, что они не боятся смерти, не верьте им.

12 марта 1944 года

Встреча с Лявонихой. Немецкая бомбежка

Почти полночь. Все ужасно устали. Кочки и глубокие воронки от снарядов, заполненные водой и грязью, измотали всех. Я должен непременно записать в блокнот все, что приключилось в этой поездке за пополнением

танкового парка нашей бригады. Казалось, событие останется в памяти на всю оставшуюся жизнь. Однако лучше будет, если смогу это записать. Как любит повторять гвардии старлей Олег Милюшев: «Чем черт не шутит, когда Бог спит!»

Оксана мирно спит. Не знаю, как ей это удастся. На ее лице остались несмытыми комки грязи от нашего с ней приземления, когда фашистские «Юнкерсы» сыпали вокруг нас смертоносные бомбы и строчили по нас из спаренных крупнокалиберных пулеметов. И все же, подумал я, лицо ее, несмотря на эти комочки, — самое прекрасное лицо во всем подлунном мире.

Мы все еще движемся по этой проклятой дороге. Я назвал ее дорогой, хотя на самом деле это не настоящая дорога в европейском понимании этого слова, а сплошная полоса глубокой грязи, которая доходит до подбрюшья наших мощных студиков («Студебеккеров»). С большим трудом даются нашим водителям объезды глубоких, с водой и грязью, воронок. По таким «дорогам» ехать только на волах, да и то с трудом. В итоге за полдня мы проехали лишь две трети намеченного маршрута. И при этом спасли жизнь одной несчастной старушке (рассказ об этом — впереди).

В 6.00 три студика стояли наготове у кромки леса в километре от Паперни. Команде десятка «мехводов» (механиков-водителей) и взвода десантников, включая нас с Оксаной, под руководством гвардии старлея Олега Милюшева предстояло по ужасным проселочным дорогам за четыре часа проделать около сотни километров. Направление маршрута — на северо-восток от Паперни к безымянному полустанку, который даже не был обозначен на официальной карте-двухсотке 1940 года, нам надлежало встретить воинский эшелон, везущий нам с Урала десять новых тридцатьчетверок (Т-34-85) и три новых американских бронетранспортера М3А1, доставленные союзниками через Иран.

В западных областях РСФСР, в северных областях Украины и восточных областях Белоруссии мы не встречали асфальтированных или выложенных булыжником дорог, одни только грунтовые и местами — дороги, покры-

тые щебенкой. Ранней весной и поздней осенью после каждого дождя их развозило так, что советским полуторкам ГАЗ-АА и грузовикам ЗИС-5 без сопровождающего трактора на гусеничном ходу было не проехать. Газики и ЗИСы становились на таких дорогах совершенно беспомощными. А новые американские студики (особенно с передними катками) здорово нас выручали. Солдаты и танкисты благодарили за это симпатягу Рузвельта. Ведь студики могли сами себя вытаскивать из любой грязи или даже из глубокой воронки.

Были бы дороги асфальтированными или брусчатыми, от Паперни до маленького безымянного железнодорожного полустанка, расположенного неподалеку от стыка границ Белоруссии, России и Украины, мы добрались бы без проблем за каких-нибудь полтора часа. А распутица — ох уж эта знаменитая российская распутица — увеличила наше время в пути вдвое или даже втрое.

В пути мне вспомнилась распутица, с которой наша семья столкнулась после приезда из Америки в Макеевку. Осенью и весной, после каждого дождя, грязь оказывалась такой глубокой, клейкой и тягучей, что засасывала обувь так, что люди были вынуждены разуваться и босиком месить эту грязь. Женщины и девчонки приподнимали свои юбки и платья, а мужчины и мальчишки закатывали брюки выше колен и шлепали по жидкому черно-коричневому месиву. Нам, приехавшим из Америки, это казалось ужасным. Из-за этой грязи рабочие зачастую опаздывали на работу, учащиеся — в школу. Из-за макеевской грязи мои братья Майк и Джон, так же как и я, часто простужались. А мама с ее тромбофлебитом вообще не рисковала выходить из дому.

Это наше несчастье в Макеевке продолжалось до тех пор, пока на завод имени Кирова не приехал из Москвы новый директор — Георгий Гвахария. В течение года он организовал хозяйственные дела так, что были заасфальтированы все улицы и тротуары. Люди облегченно вздохнули и на выборах в 1936 году избрали его депутатом в Верховный Совет СССР. Но быть народным депутатом ему довелось совсем недолго: в начале 1938 года его объявили врагом народа, арестовали и расстреляли.

— У вас в Сталинградской области такая же распутица? — спросил я у Оксаны, сидевшей рядом со мной с огромной санитарной сумкой на коленях в шедшем третьим студике.

— Нет, Николасик, — ответила она, — земля у нас там совсем не такая. Она у нас больше песчаная. Таких проблем на дорогах после дождя, как здесь, у нас я не встречала...

Олег Милюшев в присутствии других, обращаясь ко мне, называл меня «товарищ младший лейтенант», а я его — «гвардии старшим лейтенантом». Но когда мы оставались тет-а-тет или в присутствии Оксаны, он называл меня Никласом, а я его — просто Олегом. За время Курской битвы мы с ним стали почти родными, с ним я чувствовал себя как рядом с моими старшими братьями Джоном или Майком. Он мне и я ему — мы не боялись говорить такое, чего при людях ни я, ни он не позволили бы себе сказать. Он стал для меня настоящим большим другом. Как-то однажды заговорили о битве за Москву.

— Что бы кто ни говорил, а российская зима действительно сыграла с немчурой злую шутку, особенно под Москвой, — рассказывал Олег. — Осенью 1941-го и весной 1942-го на паршивых советских дорогах грязь стояла почти непроходимая для немецких танков, не говоря уже об их артиллерии, машинах и мотоциклах. Их техника не справлялась ни с российской грязью осенью, ни с нашим глубоким снегом зимой. Даже самолеты их стояли на приколе. А моей тридцатьчетверке — хоть бы что. Вот и погнались немцев... А знаешь, — продолжал Милюшев, — если бы Гитлер и его военные советники приняли во внимание состояние наших дорог при непогоде, то они бы начали войну не в конце июня, а в начале мая. Тогда наступление на Москву пришлось бы не на распутицу и не на суровую зиму. И Москва могла бы не выстоять...

После двух часов борьбы с грязью водители попросили у Олега разрешение сделать небольшой привал, чтобы, выражаясь военным языком, «оправиться и перекурить». Мы остановились возле высоких полуразрушенных дымоходов и печек — это все, что осталось от, по-видимому, большого белорусского населенного пункта, сожженного

фашистами дотла. Наступая от Курска до Днепра, мы видели немало полуразрушенных дымоходных труб и печек, но чтобы весь населенный пункт был сожжен полностью, до единого строения — впервые. Ребята разошлись к ближайшим трубам и печкам. Оксане по ее делам пришлось отбежать подальше. Минут через пять все ребята собрались ближе к автомобилям. Курили, ждали, когда вернется Оксана. Как вдруг издали послышался ее крик:

— Скорее! Скорее! Идите сюда!

Все побежали на ее зов.

Я подумал, произошло что-то чрезвычайное, и первым оказался возле Оксаны. То, что я и все собравшиеся там увидели, было очень странным. Рядом с одной из полуразрушенных труб и грудой битого кирпича, из отверстия в земле высунулось наружу что-то непонятное. Оказалось, что из глубокой норы в земле задом к нам выползала старушечка: маленькая, вся в каком-то тряпье, грязная, седая, давно не чесанная. Она с большим трудом попыталась распрямиться, но так и не смогла этого сделать. Она смотрела на нас испуганными, слезящимися глазами и, казалось, пыталась понять, кто мы такие и как здесь оказались. Ее руки были расставлены так, будто она боялась, что вот-вот упадет. К ней подошла Оксана и взяла ее под руку.

Старушка наконец увидела на наших пилотках красные звездочки и произнесла хриплым голосом:

— Наши! Наши пришли...

Впечатление было такое, будто она не знала, что территория, где располагалась ее нора, была уже давно освобождена от немецко-фашистских оккупантов. Части Красной армии не зашли в эту спаленную деревню, и вряд ли они могли догадаться, что там от оккупантов прячется в подземелье несчастная бабушка.

— Да, мамаша, мы наши, — сказала ей Оксана. — Что вы там искали в той дыре?

— Ничего не искала, — ответила старушка. — То моя хата, доченька, я там сплю и прячусь от непогоды: герман все спалил. Все начисто!..

— Как вас звать, мамаша? — спросил старушку Олег Милюшев.

Она посмотрела на Олега и ответила:

— Лявониха я, сынок, Лявониха.

— Это значит, — объяснил нам Олег, — ее мужа звали Леоном. Женщин кое-где в Белоруссии после женитьбы называют по имени мужа.

— Когда «герман» спалил ваше село, мамаша? — спросил Лявониху Олег.

— Як дауно гета было?.. Як дауно гета было... — повторила старушка. — Калі шмат грыбоў было ў нашым лесе. Я пайшла па грыбы. Заблудзілася. А вернудась, усе спалена і нікога не засталася. Іх спалілі ў калгасным свірне. Палічылі партызанамі.

— Когда много грибов было в нашем лесу. Я пошла по грибы. Заблудилась. А вернулась, уже все сгорело и никого не осталось. Их сожгли в колхозном амбаре. Посчитали их всех партизанами, — перевела нам на русский Оксана. Как украинка, она понимала белорусский лучше, чем русские.

— И вы с тех пор живете в этой норе?

— Жыву, жыву. Лявона свайго з вайны чакаю, — произнесла вдруг старушка.

Нам стало ясно, что эта бедная старушка от всего ею пережитого немного тронулась умом и что ей надо помочь. По пути нашего маршрута оказался чей-то медсанбат, и мы решили отвезти Лявониху туда.

Добравшись до безымянного полустанка, состава с новыми танками мы не обнаружили. Милюшев сообщил об этом по радио майору Жихареву. На что Жихарев ответил кратко и категорически:

— Ждите. И больше радиосвязью не пользуйтесь!

Я в это время был рядом с Олегом и слышал приказ майора Жихарева, который обескуражил Олега.

— Почему, как думаешь, Никлас? — спросил меня Олег. — Как ты думаешь?

— Майор Жихарев знает, как развита сеть немецких пеленгаторов. Засекут по радио место подхода эшелона с новой техникой, жди авианалета, — ответил я Олегу. — Разговоры по радио открытым текстом всегда были делом очень опасным. Я об этом знаю с партизанской школы.

Мы расположили наши студики у кромки леса и на случай авианалета тщательно их замаскировали. Олег дал команду спилить с десятков высоких сосен в лесу и распилить их на бревна.

— Бревна, — объяснил Милюшев, — могут нам понадобиться, если завод не обеспечил эшелон специальными трапами для разгрузки танков и бронетранспортеров с платформ на землю.

Работа по заготовке бревен и рытью щелей на случай налета люфтваффе продолжалась, с короткими перерывами на перекур, до самого отбоя. После чего все, ужасно усталые, легли спать. Олег приказал одному из водителей лечь спать вместе со всеми в кузове, чтобы в кабине могла со своими санитарными сумками разместиться на ночлег Оксана.

Эшелон с новыми тридцатьчетверками Т-34-85 и американскими бронетранспортерами М3А1, доставленными в страну через Иран, прибыл на рассвете. Начальником эшелона оказался пожилой усатый старший лейтенант железнодорожных войск, оказавшийся многоопытным транспортировщиком тяжелой техники, работавший до войны мастером на одном из уральских танковых заводов. У него в команде был почти целый взвод солдат, обученных сложной практике погрузки и разгрузки тяжелой техники на железнодорожные платформы. Олегу Милюшеву тоже было не впервой разгружать и принимать тридцатьчетверки, прибывающие на фронт. Поэтому вся сложная и напряженная работа по разгрузке прибывшей техники прошла довольно четко и быстро. Операция в целом заняла менее четырех часов. Но вместо десяти тридцатьчетверок к нам прибыло лишь девять. С десятой между Орлом и Курском во время налета немецких пикирующих бомбардировщиков случилось то же, что с моим танком и экипажем за Днепром в августе прошлого года. Вместе с двумя солдатами и платформой под ней она превратилась в огненный шар. Тридцатьчетверку, платформу под танком и двух солдат разнесло вдрезг. В том налете остальные танки и платформы прибывшего эшелона, как доложил усатый старший лейтенант, отделались лишь крупными царапинами...

Но не успели наши мехводы отвести все машины в лес (хотя расстояние от железнодорожного полотна до кромки леса было всего 150—200 метров), как в небе над нами появилась дюжина немецких «Юнкерсов-87» (пикирующих бомбардировщиков). Эти самолеты, начиная с испанской Герники в 1938 году и Варшавы в 1939 году, стали символами страха и гибели всего, во что попадали их смертоносные бомбы и крупнокалиберные пулеметные очереди. Как только стало ясно, что летят они не куда-то мимо, а разворачиваются над нами, то я подумал, что майор Жихарев был абсолютно прав, запрещая Олегу Милюшеву дальнейшее общение по радио. Похоже что пеленгаторы люфтваффе четко вычислили, что именно и куда именно «не пришло вчера, за чем мы прибыли из Паперни». Стая «Юнкерсов» стала один за другим заходить над нами на пикирование. Прозвучала команда: «Воздух! Воздух!» Десантники и солдаты-железнодорожники бросились врассыпную. Но не все, включая нас с Оксаной и усатого старшего лейтенанта, успели добраться до кромки леса, где можно было залечь между деревьями в подготовленные щели в надежде на их защиту от осколков. Услышав душераздирающий вой бомб над головой, мы бросились на сырую от вчерашнего дождя землю и, казалось, втиснулись в нее.

Оксана, лежа лицом вниз, протянула мне руку, я ей — свою. Так мы лежали (казалось, вечность) держась за руки, в то время как землю вокруг нас сотрясало от разрывов множества бомб и пулеметных очередей. Одна мысль сверлила мне голову: «Вот здесь мы с ней будем убиты одной и той же немецкой пулеметной очередью и разорваны одной и той же немецкой бомбой, если случится прямое попадание. Воля Господня, только, Боже праведный, упаси нас обоих от того, чтобы нам оторвало руки или ноги!»

Этот ад, казалось, продолжался целую вечность, хотя на самом деле прошло не более пятнадцати или двадцати минут. А когда все внезапно прекратилось, мы с Оксаной одновременно повернулись нашими ужасно замурзанными лицами, чтобы убедиться, что оба живы и, может быть, невредимы. Осмотрев руки и ноги, мы

вдруг обнаружили, что лежавший рядом с нами усатый старлей железнодорожных войск мертв. Оксана ощупала его окровавленную сонную артерию и произнесла одно слово:

— Готов...

На поле вокруг нас «готовых» оказалось еще девять человек и более дюжины тяжело и средней тяжести раненых. Ими занялась Оксана, а я побрел к лесу искать Олега. Его среди убитых и раненых, слава богу, не было.

Фашистские «стервятники», как их называли солдаты Красной армии, больше не возвращались. Вспомнилось, как 15 апреля прошлого года на станцию Курская-сортировочная они после первого налета возвращались еще дважды, бомбили город и железнодорожный узел каждую ночь, а то и дважды за ночь. А в этом году у них то ли самолетов, то ли топлива, то ли бомб не стало хватать для двойных или тройных налетов. Немецкие пилоты, видимо, решили, что они свою задачу выполнили, и не стали нас больше беспокоить.

Олег Милюшев распорядился увезти всех раненых в ближайший медсанбат или в полевой госпиталь, после чего Оксана должна была вернуться к нам. Вести колонну танков и бронетранспортеров в Паперню Милюшев решил ночью.

7 июня 1944 года

Лесной массив на севере Гомельской области

Союзники наконец открыли свой давно обещанный второй фронт в Нормандии, на севере Франции. Сегодня в 1.05 я услышал об этом по радио в землянке командира роты майора Жихарева. Услышал голоса президента Рузвельта и главнокомандующего союзными войсками генерала Эйзенхауэра. Радость моя была безграничной. Мне казалось, что под командой американского генерала окажутся мои кузены Джо и «маленький» Джон, муж моей сестры Энн Артур и что скоро я с ними встречу в Берлине. Хотя до германской столицы еще надо было с боями пройти свыше полутора тысяч километров.

Накануне, 6 июня, в 23.45 Оксана и я готовились к отбою у нее в медпункте, как вдруг к нам вошел комзвода Олег Милюшев и с тревогой в голосе сообщил:

— Тебя, Никлас, срочно требует к себе в штабную землянку комроты майор Жихарев.

— С вещами? — пошутил я.

Олегу, видно, было не до шуток, и он повторил:

— Срочно! Что-то, кажется, чрезвычайное. Имей это в виду.

Тон, с которым Олег это произнес, нас с Оксаной озадачил.

— Меня одного требует?

— Да! — ответил Олег и покинул землянку.

— Хорошо, — громко произнес я ему вслед.

После того как Олег ушел, я спросил Оксану:

— Как думаешь, что такое срочное среди ночи?

— Может быть, нужно что-то перевести для него? — предположила Оксана.

Но на душе у меня было тревожно. Такой вызов среди ночи напомнил мне 1937—1938 годы в Макеевке, когда по ночам там исчезали ответственные работники. Если за ними приходили ночью энкаведэшники и уводили их из дома «с вещами», это значило, что мы, жители многоквартирного дома, их больше не увидим. Так случилось с инженером Болтянским, с Георгием Гвахарией, с секретарями горкома и обкома партии.

Если у нас в роте кому-то говорили днем «На выход с вещами», это означало, что его переводили в другое подразделение, а если ночью, то его арестовывают. Мне вспомнился неприятный эпизод в московской партизанской школе. Моего однокурсника из Эстонии по имени Арт вызвали глубокой ночью «с вещами», и мы его больше не видели. Другой однокурсник сказал утром: «Я знаю, что с ним случилось. На прошлой неделе он спрашивал, сколько стоит отправить письмо в Швецию. У него там жила родная сестра, и он с ней переписывался. Это переписка с границей!»

Дочь Рокоссовского не рассказывала мне подробностей того, как арестовывали ее отца в 1937 году — днем ли, ночью ли, «с вещами» или без. Но вполне возможно,

что первой энкавэдэшной зацепкой была его переписка с родной сестрой, жившей за границей, в Варшаве.

Пронеслось вихрем в голове: ведь и моя родная сестра тоже живет за границей, на моей и ее родине — в Штатах. Впрочем, я с ней после начала войны и не пытался вести переписку...

Я увидел тревогу в глазах Оксаны.

— Знаешь, дорогая моя Принцесса, — сказал я ей, — если я до утра не вернусь, запомни на все оставшиеся тебе годы, что люблю я тебя больше, чем свою непутевую жизнь.

А она в ответ, как это сделала моя мама, когда я покидал наш дом в Макеевке, перекрестила меня и произнесла:

— Иди, Никки, с Богом!.. Я тоже тебя люблю больше жизни. Иди, Николасик, с Богом! — Потом добавила: — Все будет хорошо: сердце мне это говорит.

Но почему Олег, ставший для меня почти как брат, таким странным тоном сообщил, что меня ночью вызывают в штабную землянку? — думал я по дороге к майору Жихареву. Один там наш комроты или еще с кем-то?

«Думы мои, думы мои, тяжело мне с вами...» — писал в свое время любимый украинский поэт моего Пап — Тарас Григорьевич Шевченко.

Майор Жихарев в штабной землянке оказался один. Он сидел за столиком, на котором лежал темно-серый рюкзак и какой-то аппарат. Подойдя ближе и собираясь доложить о своем прибытии, я разглядел, что в руках у майора не что иное, как настоящий «северок» с малой выдвижной антенной и лежавшими рядом наушниками. Я был приятно удивлен, будто неожиданно встретился с моим ближайшим родичем. Все мои относительно «с вещами или без» мгновенно улетучились, и, вместо того чтобы доложить майору о своем прибытии по его приказанию, я вдруг выпалил:

— Это же легендарный «северок», товарищ майор, приемник и передатчик в одном!

— Советский? — спросил Жихарев.

— Так точно! В апреле прошлого года я вам докладывал, что знаком с этой радиостанцией, и вы меня сразу определили стрелком-радиостом на тридцатьчетверку.

Я прошелся по коротковолновому диапазону и попал на англоговорящего диктора.

— Этого диктора я узнал, — сказал я Жихареву уверенно, — он из британской радиостанции Би-би-си, которую ретранслирует Стокгольм. Узнал сразу по произношению, по дикции и по тембру голоса. Я его слышал не раз, когда мы проходили практику радиосвязи в Измайловском парке Москвы.

— Что он говорит? — спросил Жихарев.

— У нас полночь. У них три ночи. Они готовятся передавать новости.

— Послушаем, — приказал Жихарев.

Я не знал, учил ли он немецкий или английский. Но постарался усилить громкость. И вдруг, как снег на голову, по радио послышался голос, который крепко запомнился не мне одному, а всем американцам моего поколения с тех пор, как в 1932 году в Белый дом готовился войти новый глава государства. Как можно было не запомнить этот голос, если он слышался по радио в Америке чуть ли не каждый вечер! В штабной землянке у майора Жихарева я услышал голос президента США Франклина Делано Рузвельта.

— Выступает Рузвельт! — сказал я Жихареву, и в моем голосе прозвучала почти торжественная нота.

— Ясно! Слушайте внимательно, — ответил он мне.

И я услышал:

«Мои американские сограждане! Наши войска вместе с войсками наших союзников успешно пересекли Ла-Манш... и сейчас уже сражаются за то, чтобы освободить... от нацистов. Чтобы восторжествовало правосудие и добрая воля для всех людей...»

Я переводил Жихареву речь Рузвельта.

Потом пошли вопросы журналистов:

«Господин президент, что вы можете сказать нам о будущем этой операции?» — спросил первый репортер.

На что Рузвельт ответил:

«Мы будем сражаться до полной победы!»

Другой журналист спросил:

«Что вы сейчас чувствуете?»

Ответ:

«Я чувствую себя прекрасно. Только хочется хоть немного поспать».

Затем британский диктор сказал, что включает пленку с выступлением главнокомандующего союзными войсками, переправлявшимися через Ла-Манш, генерала Эйзенхауэра. Зазвучал голос генерала:

«Солдаты, моряки и летчики союзных экспедиционных сил, вы собираетесь приступить к великому крестовому походу, к которому мы стремились многие месяцы. С вами все люди доброй воли во всем мире... Вы идете уничтожить германскую военную машину и ликвидировать нацистскую тиранию, угнетавшую народы Европы... Ваша задача будет не из легких. Ваш враг хорошо обучен, хорошо оснащен оружием и закален в боях. Он будет сражаться жестоко... Но с вами к победе над врагом идут все свободолюбивые народы мира... У меня есть полная уверенность в вашем мужестве и преданности долгу. Мы будем сражаться до полной и окончательной победы... И давайте просить благоволения всемогущего Бога на это великое и благородное дело».

Радиопомехи не дали мне возможность полностью услышать великолепную речь Эйзенхауэра. Но даже то, что я смог услышать и перевести, пусть и не совсем точно, искренне обрадовало моего командира роты. Он мне сказал:

— Как только завтра об этом прозвучит сообщение нашего Совинформбюро, вы, Никлас, должны будете нарисовать на большом листе фанеры южную оконечность Англии, Ла-Манш и северное побережье Франции. К тому времени, как вы закончите эту работу, мы с вами узнаем, какие воинские соединения приняли участие в открытии второго фронта, и нанесем эти сведения. Имейте в виду, Никлас, что наша с вами ночная встреча и все о «северке» должно до поры до времени оставаться строго между нами.

Вернувшись к Оксане живым и невредимым, я увидел на ее лице такую радость, которую, как сказал поэт, ни в сказке сказать, ни пером описать. Я думал, что она меня зацелует насмерть. Утром следующего дня мы пришли к окончательному решению, что, как только мы возьмем

Минск, в столице Белоруссии официально оформим наши супружеские отношения. Мы надеялись, что для этого нам не потребуется предъявлять наши метрики, достаточно будет военных билетов.

21 июня 1944 года

В 10 километрах от Рогачева. Ротное собрание

1096-й день Великой Отечественной войны и канун третьей годовщины ее начала.

В 7.00 вечера майор Жихарев приказал разведроту собраться у штабной землянки. Собрание было посвящено подполковнику Петровскому. Я записал все, что Жихарев сказал тогда.

— Вчера в полдень, — произнес низким и грустным голосом Жихарев, — наш замполит танковой бригады, подполковник профессор Петровский был тяжело ранен. Это случилось по пути в штаб корпуса. Петровский ехал на «Виллисе» и попал под пулеметный обстрел «Мессершмиттов». В полевом госпитале он скончался от ран... Я собрал вас для того, чтобы все мы помянули его минутой молчания.

Затем Жихарев рассказал (главным образом для пополнения) о боевом пути профессора Петровского.

— За годы моей военной службы, — сказал после долгой паузы Жихарев, — я слышал выступления многих лекторов, комиссаров, замполитов и политруков. Но ни одного из них я не могу сравнить с профессором Петровским. Все его выступления всегда были необычайно интересными, тщательно аргументированными и доступными пониманию всех его слушателей... До 15 октября 1941 года Петровский был сугубо гражданским человеком, профессором новейшей истории в одном из престижных московских институтов. По утверждению его бывших студентов, он был одним из самых популярных преподавателей. Когда немецко-фашистские агрессоры подошли на расстояние нескольких километров к Москве и когда из столицы стали эвакуировать многие учебные заведения, государственные учреждения и промышленные

предприятия, профессор Петровский оставил свою преподавательскую работу и ушел рядовым добровольцем в ряды московского народного ополчения. Он храбро защищал столицу и участвовал в разгроме фашистов под Москвой, а вскоре был назначен политруком роты. В боях под Сталинградом он стал уже комиссаром полка, а в боях на Курской дуге — замполитом нашей танковой бригады...

Нет сомнения в том, что у каждого, кто хотя бы один раз слышал замечательные выступления профессора Петровского, он останется в памяти на всю жизнь...

27 июня 1944 года **Бобруйск**

Ближайшей целью нашего фронта было взятие усиленно укрепленного немцами города Бобруйска на Березине; окончательной — освобождение Минска и всей территории Белорусской ССР от немецко-фашистских оккупантов. После взятия Бобруйска майор Жихарев обещал отметить с помпой восемнадцатый день рождения военфельдшера нашей роты Принцессы Оксаны, а в освобожденном Минске стать свидетелем церемонии нашей с Оксаной регистрации официального бракосочетания.

22 июня исполнилась третья годовщина начала Великой Отечественной войны. В этот день нашим разведчикам удалось добыть на восточной окраине Бобруйска очень важного для нас языка, который оказался фестунгсверкмайстером (мастер-инженером крепостных инженерных войск). Прежде чем дать нужные нам показания о системе обороны Бобруйска, он с перепугу около десятка раз повторил как попугай: «Гитлер капут! Гитлер капут! Гитлер капут!» А показания, которые в конце концов удалось от него получить, были очень важными.

У пленного была неглубокая ножевая рана под правой лопаткой. Оксана ее обработала и перевязала. Фестунгсверкмайстер после этого несколько успокоился и стал отвечать на все вопросы. Он показал, что немецкие оборонительные рубежи вокруг Бобруйска состояли из шести

рядов боевых траншей, минных полей, колючей проволоки, артиллерийских орудий и пулеметных гнезд. Но командование, сказал он, не знает точной даты наступления советских войск. Впрочем, и мы тоже не знали точной даты нашего наступления, что вполне объяснимо в условиях боевых действий.

Фестунгсверкмайстер также показал, что в немецком гарнизоне, состоящем из 30 или 40 тысяч немецких в основном солдат и офицеров, все очень боятся оказаться в советском котле, как это произошло с немецкой 6-й армией фельдмаршала фон Паулюса под Сталинградом. Но самым шокирующим для меня было то, что этот военнопленный фестунгсверкмайстер сообщил о немецком главнокомандующем группой армий «Центр» фельдмаршале Эрнсте фон Буше. Согласно показаниям языка, фон Буш лично посетил каждый батальон в каждой полку и в каждой дивизии, предупреждая всех солдат и офицеров, что если кто-то из них посмеет оставить свою боевую позицию и отступить, то будет расстрелян на месте, а члены его семьи в Германии будут репрессированы. Я никак не мог поверить, что подобное возможно в любой армии и, тем более, в немецкой. Однако когда я рассказал об этом Оксане, она отреагировала на мое сообщение странным образом.

— Три ха-ха, Николасик! — сказала она.

— Не понимаю, что ты этим «три ха-ха» хочешь сказать?

— Хочу сказать, что этот фон Буш совсем не оригинален, мы это уже проходили...

— В каком смысле? — удивился я.

— Разве ты не слышал о приказе Сталина номер 227 «Ни шагу назад!».

— Не слышал, — ответил я честно. — В газетах и по радио о таком приказе ничего не было. Ты сама-то его читала?

— Конечно, читала, — ответила Оксана.

— Что же там было?

— По тому приказу НКВД организовал так называемые заградотряды, которые расстреливали каждого отступающего советского солдата или командира.

— И ты сама видела, как эти заградотряды стреляли в отступавших солдат и командиров?

— Видела... — Она глубоко вздохнула и затем произнесла упавшим голосом: — Это святая правда. Но меня этот приказ не коснулся. Мое дело было таскать из-под огня тяжелораненых.

Слова Оксаны меня сильно озадачили и возмутили.

— Ведь это ужасно! — крикнул я.

— Да. Согласна. Это ужасно! Но это было! Только тебе, Николасик, не надо об этом никому рассказывать. Пожалуйста! Ведь без этого приказа фашисты могли окатиться на Урале или еще глубже.

— В Курской битве я ничего подобного не видел.

— А в Курской битве дезертиров уже, кажется, совсем не было, Николасик. Одно дело — войска обороняются, и совсем другое дело, когда войска наступают. В наступлении заградотрядам делать нечего. В наступлении бывают лишь редкие самострелы. Но ими занимается Смерш.

— А как Смерш узнает о самострелах? — спросил я.

— Если у легко раненных в руку или в ногу хирург обнаруживает порох, так как стреляются с очень близкого расстояния, он обязан докладывать об этом в Смерш. Но это теперь стало большой редкостью. И самострелы стали делать более изобретательно.

— То есть?

— Стреляют иногда через буханку хлеба. Порох тогда попадает не в рану, остается в хлебе...

Утром 24 июня нас разбудил душераздирающий грохот нашей канонады, который продолжался вдвое больше, чем артподготовка на Курской дуге. Казалось, что от этой почти полуторачасовой артподготовки у противника по ту сторону линии фронта не должно остаться ничего живого. Похоже, наш 1-й Белорусский фронт перешел наконец в давно ожидаемое всеми нами летнее наступление.

Во время утреннего построения наше предположение подтвердил комроты майор Жихарев. Он сказал, что 1-й Белорусский фронт под командованием маршала Рокоссовского начал летнее наступление под кодовым

названием «Багратион». Ближайшая задача наступления — окружение и взятие в плен сорокатысячного гарнизона мощно укрепленного Бобруйска, полное освобождение Минска и всей Белоруссии от немецко-фашистских оккупантов.

Майор Жихарев зачитал приказ:

— Всему личному составу роты проверить личное оружие, снаряжение и обмундирование. Проверить наличие полного комплекта боеприпасов и горюче-смазочных материалов, запчастей, инструментов и безотказность действия средств связи. Проверить наличие продуктовых НЗ, индивидуальных санитарных пакетов. Всем танкистам и десантникам, включая командиров танков и командиров взводов, сдать моему заместителю личные документы, включая партийные и комсомольские билеты, письма, фотографии и записные книжки.

Я решил: два моих миниатюрных блокнота, мирно покоящиеся в кармашке, вручную пришитом к внутренней стороне моей нательной рубахи, чего бы мне это ни стоило, не сдавать!

В середине дня над нашими головами к фронту стали пролетать на помощь стрелковым корпусам 3-й и 48-й армий одна за другой эскадрильи штурмовиков, а выше их — бомбардировщики 16-й воздушной армии. Мы, пользуясь ревом самолетов и грохотом орудий 3-й армии, вышли на исходную позицию. В 22.00 майор Жихарев изложил командирам танков и командирам десантных групп на танках боевую задачу и тактику ее исполнения нашей разведотой:

— Впереди, в северном направлении, по проходам, обозначенным саперами в минных полях, параллельно лесному массиву движется на максимальной боевой скорости в линию танковый взвод гвардии старшего лейтенанта Милюшева с десантниками на броне. Расстояние между танками — 25—30 метров. Отыскивают цели и ведут по ним интенсивный огонь с ходу кумулятивными снарядами. За тремя танками Милюшева через 50 метров следуют второй и третий танковые взводы, тоже в линию. Замыкают ротную колонну бронетранспортеры. В случае встречи с «Тиграми» или СУ бить в них по ходовой части

бронейными. Командиры танков вместе с десанниками ведут наблюдение по сторонам и замеченные цели обозначают трассирующими очередями и огнем пушек. Во втором и третьем взводах, при необходимости прицельного огня, подготовка выстрела из пушки выполняется на ходу. Для прицельного выстрела — остановка не более 5 или 6 секунд. Наша задача: прорваться максимально глубоко в тыл противника, навести там панику и через 35—40 часов, соединившись с передовыми частями наступающего нам навстречу с юга 1-го гвардейского корпуса, замкнуть кольцо окружения Бобруйска. Все ясно?

В ту ночь мы с Оксаной устроились ночевать на трансмиссии моего танка: одна шинель (Оксаны) под нами, второй (моей) укрылись. Под головами — вещмешки. У меня на голове танкошлем, у нее — берет. Утром был завтрак — горячий из полевой кухни: «кондёр» с «улыбкой Рузвельта» и котловой жидкий чай с маленьким пакетом круглых шоколадных шариков вместо сахара. Тоже, если не ошибаюсь, американские, по ленд-лизу.

— Имейте в виду, — предупредил нас майор Жихарев, — огонь с движущегося на максимальной боевой скорости танка далеко не всегда бывает прицельным, но он всегда оказывает на противника в обороне сильное моральное воздействие, мешает ему вести прицельный огонь по вас.

Сигнал в атаку мы получили в полдень. Как ни уговаривал я Оксану не оставаться с моими десанниками у меня на броне, а лучше перейти в один из бронетранспортеров, она непреклонно отвечала:

— Младший лейтенант не может приказывать старшему по званию и независимому от него военфельдшеру!

— Я ведь не приказываю, Принцесса, я тебя прошу!

— Нет, Николасик, нет! Куда ты, туда я, милый. Не проси!

Не знаю, у всех ли командиров танков перед атакой дрожат руки. У меня перед каждой всегда дрожали. Чтобы избавиться от этого тремора, я садился на руки. Но тогда дрожь начинала пробегать по всему телу. Ни один танкист перед атакой не может быть уверенным в том,

что останется к концу дня в живых, что не сгорит живьем. А что станет с моей обожаемой Принцессой, если мой танк загорится, она соскочит с моей пылающей машины, а я не смогу выбраться?

Мои мысли нарушил в наушниках танкошлема приказ майора Жихарева:

— Вперед!

Я тут же повторил эту команду своему мехводу сержанту Ивану Чуеву, толкнув его носком левой ноги по плечу, и машина, как застоявшийся норовистый конь, сорвалась с места и помчалась в одной линии следом за машиной комвзвода Милюша (так мы стали называть его между собой). Олег мчался на полной скорости, высунувшись наполовину из своего командирского люка. Я заставил себя сделать то же самое. Оглянулся: не снесло ли мой десант вместе с моим бесценным сокровищем — Оксаной. Она увидела мой тревожный взгляд и, улыбнувшись, показала мне язык. Дрожь по всему телу мгновенно исчезла.

В первые минуты появление наших танков на переднем крае произвело ошеломляющее воздействие на противника. У него было что-то вроде шока. Это проявилось в том, что по нашей колонне не было выпущено ни одного противотанкового снаряда. Все огневые средства стрелковых корпусов 3-й армии поддерживали нашу атаку, и мы, окрыленные, неслись вперед.

Первым загорелся танк майора Жихарева. Мы увидели, как он выскочил из машины и тут же перескочил на танк, следовавший позади. Увидел это и Олег Милюш. Он остановил свой танк и прицельным огнем поджег «Пантеру» на расстоянии 500 метров — ту самую, что выстрелила в танк Жихарева из-за кустов слева от нас. Тут же в наушниках танкошлема я услышал голос комроты:

— Продолжать стремительный бросок вперед зигзагообразным маневром. Следить за левым флангом, откуда можно ждать большое число «Пантер» или «Тигров»!

Во второй половине дня мы наконец прорвались к дальним северным окраинам Бобруйска и встретили передовые танковые части 1-го гвардейского танкового корпуса, который наступал навстречу нам, чтобы замкнуть

кольцо окружения Бобруйского 40-тысячного укрепрайона. Для достижения этой цели мы сражались по тылам противника непрерывно около сорока двух часов. При этом наши потери составили еще две тридцатьчетверки и два бронетранспортера МЗА1. Их разнесло в клочья вместе с экипажами, скорее всего от прямых попаданий фаустпатронов.

Между двумя и тремя часами глубоко ночью с 26 на 27 июня была более-менее спокойная обстановка, что позволило Оксане со своим помощником лечить и перевязывать десантников, получивших осколочные ранения от снарядов противника. До этого, в течение всех этих часов танковой атаки, Оксана со своей санитарной сумкой большую часть времени находилась вместе с десанниками на броне моего танка. Случилось бы прямое попадание фаустпатрона в мой танк, мы бы с ней одновременно отдали богу наши грешные души.

Многие немецкие солдаты и офицеры пытались выбраться из осажденного Бобруйска. Но тех, которым это удавалось, настигали наши Яки с грозными пулеметами и реактивными пушками. После боев пространство западнее нас было покрыто телами тысяч немецких солдат и офицеров. На левом фланге нашего движения мы также видели тысячи немецких трупов, раздавленных на дорогах фашистскими танками и самоходками, пытавшимися прорваться из окружения. Сотни трупов, брошенные тяжелораненые немецкие солдаты лежали или сидели в канавах вдоль улиц на северо-западной окраине города.

Оксана не могла оставаться равнодушной к тяжелораненым несчастным людям, вопреки призыву Ильи Эренбурга «Убей немца!». Она потребовала, чтобы я остановил свой танк, и, «мобилизовав» десантников моего танка, пошла оказывать первую помощь немецким раненым, сидевшим или лежавшим возле нас в канаве. В это время я со своим экипажем внимательно осматривал все вокруг нас, дабы к нам не подобрался немецкий фаустник. Оксана с десанниками наконец вернулась к моему танку и, воспользовавшись рацией, сообщила в медсанбаты о множестве немецких тяжелораненых. И тут в наушниках прозвучал голос майора Жихарева:

— В течение ближайшего часа нашей роте приказано передать занимаемую нами позицию частям подходящих стрелковых корпусов 3-й армии. Нашей роте и танковой бригаде приказано уйти в северный лесной массив и там ждать дальнейших приказаний командира корпуса генерала Бахарова.

Это значило, что там мы сможем осмотреть и отремонтировать технику, пополнить запас топлива, дождаться впервые за последние 48 часов нашей полевой кухни, помыться и, может быть, даже немного поспать.

По прибытии в лес майор Жихарев собрал оставшихся в живых командиров танков роты и сказал нам, что, по данным агентурной разведки, завтра большая группа немцев с самоходками и танками намерена прорвать наше кольцо окружения вокруг Бобруйска в направлении Минска. Потом они планируют соединиться с фашистской 4-й танковой армией. Танковым бригадам нашего корпуса, включая нашу разведроту, предстоит отрезать этой немецкой группе пути отступления в сторону Минска.

— Все ясно? — спросил Жихарев. Он посмотрел на часы и сказал: — До приезда полевой кухни проверить личное оружие, снаряжение, обмундирование, пополнить боеприпасы, получить горюче-смазочные материалы, запчасти, убедиться в безотказности действия средств связи. Через час подъедет полевая кухня. После ужина — отбой до появления в небе двух разнонаправленных зеленых ракет.

27—28 июня 1944 года

Две зеленые ракеты. Потеря

В десятке километров от нас в небе над Бобруйском полыхало огромное, во весь горизонт, зарево. Бобруйск горел. Окруженный в нем противник жег все, что могло гореть.

— Готовятся сдать в плен, — задумчиво произнесла Оксана.

— Нет-нет, — возразил я. — Сдаваться они не намерены. Они наверняка попытаются прорваться к Минску.

Но все дороги для них отрезаны. И на заре или утром следует ждать кровавой бойни. Нам надо хотя бы немного поспать до появления в небе двух зеленых ракет.

Я вырыл небольшое продолговатое углубление и попросил водителя Чуева поставить над ним тридцатьчетверку. И мы с Оксаной улеглись немного поспать под танком. Под головами — снова вещмешки; простыней и одеялом служат наши шинели. Во время нашей танковой атаки и рискованных хождений по тылам противника нам было не до сна. Без горячей пищи и сна устали мы чертовски и провалились в сон мгновенно. Но проснулись не от зеленых ракет.

— Как думаешь, — шепотом спросила меня Оксана, — война в этом году закончится?

— Вполне возможно, Принцесса! — ответил я.

— Со взятием Минска?

— Нет, Берлина. Но наш брак мы регистрируем в столице Белоруссии, — сказал я моей любимой.

— Куда мы сначала поедем: к твоей маме в Макеевку или к моей, в Сталинград?

— Сначала к моей, это ближе. А после Сталинграда поедем к моей сестре Энн, в Бостон.

— Дай мне свою руку, Николасик, положи ладонь на мой живот.

— У тебя что-то там болит?

— Нет-нет, ничего не болит, — ответила Оксана. — Положи и скажи, что ты чувствуешь.

Я никак не мог понять, что она имеет в виду.

— Почувствовал?

— Ничего не чувствую, — растерянно ответил я.

— Как же так, Николасик? Я чувствую, а ты нет?

— Не понимаю...

— Ты же во мне шевелишься!

— То есть?

— Он или она... Если родится мальчик, то назовем его в честь победы Виктором, а если девочка — то Викторией. Согласен?

Я был в шоке, когда понял, что она имеет в виду, и поначалу не мог слова вымолвить. Я ее обнял крепко, намеревался расцеловать... но в этот самый момент в небо

взлетели две зеленые ракеты. Мы спешно выбрались из-под танка, и я сказал ей непререкаемым тоном:

— С нами ты сейчас в атаку не пойдешь! Останешься здесь. И будешь ждать, пока мы вернемся назад. И прошу тебя: что бы со мной ни случилось, помни, — люблю я тебя больше собственной жизни!

— А я прошу тебя помнить, что иду в атаку с тобой, мой дорогой Николасик!

— Нет!

— Да!

— Не возьму!

— А я спрашивать не стану!

— Н е в о з ь м у! — повторил я и запрыгнул в свой танк, коснулся носком левой ноги плеча Ивана Чуева, и танк, вздрогнув, рванул вперед.

Из-за горизонта поднимался огромный красный диск восходящего солнца, а со стороны Бобруйска в нашу сторону двигалась казавшаяся издалека скопищем муравьев туча фрицев с танками, самоходками и грузовиками с пушками на прицепе.

— После балки закрываем люки и заходим к ним для удара по левому флангу, — услышал я через наушники команду майора Жихарева. — Наперерез их голове идут танковая и корпусная мотострелковая бригады, — добавил он.

После балки, прежде чем закрыть за собой люк, я оглянулся назад. Там на броне у меня среди десантников стояла, со своей сумкой через плечо, Принцесса Оксана. Она улыбнулась и снова показала мне язык. Остановиться нельзя, сделать что-либо я не могу...

Высочив из балки, мы сразу оказались под огнем немецких противотанковых орудий. Я снова открыл люк и во всю глотку заорал:

— Спрыгивать! Всем! Н е м е д л е н н о, ... вашу мать!

А потом Чуеву:

— Крутыми зигзагами за Олегом!

От зигзагов Чуева вряд ли кто-то мог удержаться на броне. Он бросал машину то круто влево, то круто вправо. Немецкие бронебойные и осколочные снаряды стали рваться рядом со страшной силой. Фашисты били при-

цельно. Спасением для нас послужила ложбина, в которую нырнул танк комвзвода. Чув и вся рота последовали за ним.

— Выходим из ложбины во фланг «Пантерам» и «Фердинанду!» — послышался в наушниках голос Жихарева.

Танк Олега выскочил из ложбины первым, и через несколько секунд за ним потянулся черный хвост дыма. В него попали. Я поймал в прицел выстрелившую в него «Пантеру» и скомандовал: «Огонь!» Немецкий танк вздрогнул и задымился. В этот момент Борис поджег вторую «Пантеру», а в наушниках раздался крик, в котором смешались отчаяние и восторг:

— Комвзвода пошел на таран! На таран!

Я успел увидеть, как в момент столкновения тридцатьчетверки и «Фердинанда» на их месте образовался огромный огненный шар. Вся наша рота оказалась в тылу прорвавшихся из окружения частей противника, и мы стали по приказу Жихарева расстреливать врагов прицельным огнем. Над нами прошли штурмовики, взявшие на себя голову колонны прорвавшегося противника.

На поле боя после этой мясорубки остались лежать трупы не сотен, а нескольких тысяч солдат и офицеров противника. Зря они не сдались нам в плен... — подумал я тогда.

Тем временем со стороны Бобруйска прорвалась еще одна группа противника, отчаянно продвигавшаяся по трупам своих и наших солдат. Жихарев скомандовал роте зайти к ним во фланг, что мы и сделали. Началась новая мясорубка, и снова жертвы. Мы потеряли еще одну тридцатьчетверку и еще один бронетранспортер вместе с экипажами.

Бои 28 июня продолжались еще долго. А когда прозвучала команда комроты уходить в лес, я решил сначала вернуться и найти то место, где наши десантники спрыгнули с брони. То, что мы нашли, описать невозможно! Герника! Острая боль в сердце. Сначала нам попалась пробитая осколками санитарная сумка Оксаны, потом изуродованные до неузнаваемости тела. Я не устоял на ногах и свалился на землю как подкошенный. На какое-то время я потерял сознание.

Сегодня словно через туман вспоминается мне, как Чуев взял на себя командование. Он с ребятами из моего и подошедшего экипажа танка Бориса нашли глубокую воронку и снесли туда останки разорванных тел, разорванных надежд, разорванных жизней, разорванной вдребезги мечты... Помню, кто-то из ребят сказал: «У нее ведь сегодня день рождения!» И затем реплика Чуева: «Она сказала вчера, что после боя будет со всеми танцевать до самого утра!»

Борис нашел гильзу от нашего 85-миллиметрового снаряда. Написал записку. Вложил в гильзу и воткнул ее поглубже в холмик над братской могилой.

...Разве мог я в тот момент представить себе, что в 70-х годах XX века бобруйские школьники, которых в 1944 году и на свете не было, найдут эту гильзу и что по их инициативе на западной окраине города установят аккуратно отремонтированную и покрашенную в золотистый цвет тридцатьчетверку над большой братской могилой и на мраморной доске позоченными буквами будут написаны имена многих моих боевых однополчан — танкистов и десантников. Первым стоит имя командира нашего танкового корпуса генерала Бахарова, затем, среди других — мои дорогие, близкие мне люди — Оксана и Олег. (Кстати, это ведь генерал Бахаров в ноябре 1943 года подписал приказ о назначении моей любимой и незабвенной Принцессы на должность военфельдшера роты танковой разведки.) Мог ли я предположить, что бобруйские школьники разыщут меня и пригласят приехать к ним и выступить с рассказом о героизме тех совсем молодых людей, останки которых были собраны следопытами и захоронены под одной из наших славных тридцатьчетверок. Мог ли я предполагать, что бобруйские ребяташки поведут меня к тому самому танку и что я снова «встречусь» с милой сердцу моему Оксаной, с Олегом Милюшем-Милюшевым и многими другими товарищами по оружию?.. Но это произойдет лишь через четверть века после описываемых мною событий. А 28 июня 1944 года мы, обнявшись за плечи, опустимся большим кругом на ко-

лени вокруг гильзы, воткнутой в холмик над братской могилой, и промычим (другого русского слова не подберу): «Синенький скромный платочек падал с опущенных плеч, ты говорила, что не забудешь милых и ласковых встреч...»

Из фронтового блокнота: «Пишу в полевом госпитале после операции и не могу сдерживать слез. Мне совсем не стыдно перед другими ранеными, у них тоже слезы на глазах. Бывают случаи, когда солдатам совсем не стыдно плакать... Мехвод Иван Чуев — а наши койки в полевом госпитале оказались рядом — рассказал мне, что я чуть ли не всю ночь громко разговаривал с Принцессой; он опасался, не рехнулся ли я из-за вчерашней трагедии. И мой верный мехвод тоже не спал из-за моего громкого голоса».

29 июня — 2 июля 1944 года

Боль

В ночь на 29-е я снова лежал под своей, нещадно изрешеченной осколками немецких снарядов и пуль тридцатьчетверкой. Меня греют две шинели — моя и оставшаяся с того дня в танке шинель Оксаны. В кармане моей гимнастерки — «талисман», вышитый и подаренный мне моей Принцессой зимой в Паперне: крохотный скромный синенький платочек. Казалось, он хранил запах рук Оксаны... Я ворочался с боку на бок, считал, сбиваясь, до сотни, повторял английский, русский и немецкий алфавиты, но уснуть по-настоящему смог лишь после приема 250 граммов чистого медицинского спирта.

...Рано утром я направлял свою тридцатьчетверку в самые опасные места навстречу огню противника, хотя его вполне можно было обойти с фланга. Это продолжалось и 29, и 30 июня — до тех пор, пока мехвод Иван Чуев вдруг не остановил машину и не выдал мне, как старший по возрасту, жесткий монолог:

— Все, командир, танк дальше не сдвинется с места, пока ты не придешь в себя. Мы прекрасно понимаем, что ты пережил. Нам тоже больно оттого, что ее с нами больше нет. И никогда не будет... Мы знаем, что ты ищешь смерти. Ты знаешь, где ее можно обойти, но ты этого не хочешь, лезешь на рожон. Ты смертельно рискуешь своей жизнью — и это твое дело, хозяин — барин. Но ты ведь нас подвергаешь смертельной опасности, а мы хотим жить! Понимаешь, командир?!

Остальные члены моего экипажа молчали, но я чувствовал и понимал, что думают они так же, как Чуев.

У меня не оказалось аргументов и слов, чтобы ему возразить. Я просто никак не мог смириться с тем, что моей Оксаны не стало, а я остался жить. Я счел это великой несправедливостью. И я действительно стал искать для себя смерти. Это был мой личный выбор. Но не «свобода выбора» членов моего танкового экипажа. Они ждали от своего командира разумных, а не сумасшедших действий — продуманных, отвечающих поставленным перед нами боевым задачам.

Они были безусловно правы. Я взял себя в руки, преодолевая острую боль потерь.

3 июля 1944 года

Юго-восточнее Минска. Поле, усеянное черепами

Освобождение столицы Белоруссии поручили не нам, а войскам 3-го Белорусского фронта. Лишь две бригады нашего корпуса приняли участие в освобождении южной окраины Минска.

Наша разведрота остановилась перед зеленым полем. Поначалу нам показалось, что она усыпана огромными белыми грибами. Подъехали ближе, и оказалось, что это не грибы, а человеческие черепа.

На наших самодеятельных картах, выданных нам Олегом Милюшевым 24 июня, справа от этого огромного поля значились две деревни: Малый Тростинец и, чуть ближе к Минску, Большой Тростинец. Слева был лес под названием Шишковка. Кроме тысяч черепов, мы увидели

несколько огромных — длиной около пятидесяти шагов, шириной в пять шагов — рвов, заполненных трупами детишек, женщин и седовласых стариков. У одного из раскрытых рвов стояла огромная землеройная машина...

Глядя на это поле, усеянное человеческими черепами, на огромные рвы-могильники, я снова вспоминал «Апофеоз войны» Верещагина...

Танкисты и десантники нашей роты, уцелевшие в мясорубке у Бобруйска, сняв танкошлемы, каски и пилотки, долго стояли молча между тридцатьчетверками и полем, усеянным человеческими черепами. Вдруг из леса появилась странная тройца: девушка в черном берете с красной лентой и немецким автоматом на груди. Рядом с ней — два низкорослых паренька, тоже в шапчонках с красными лентами и немецкими автоматами.

«Белорусские партизаны!» — произнес кто-то из наших бойцов с нотой иронии в голосе. Тройца сначала шла к нам медленно, неуверенно, а затем, убедившись, наверное, что мы действительно свои, бегом. Они кинулись всех нас обнимать и целовать, как родных.

— Что здесь происходило? — спросил девушку-партизанку майор Жихарев.

То, что мы от нее и от двоих ее спутников услышали, вызвало у нас настоящий шок. Мне это показалось совершенно невероятным и невозможным в цивилизованном мире. Сначала все трое, засучив рукава, показали татуированные номера. И объяснили, что это — «удостоверения личности», выколотые в том концлагере смерти, который располагался справа от белых хатенок Малого Тростинца.

— А куда девался сам концлагерь? — спросили танкисты.

— А его фашисты разбомбили за два дня до вашего наступления на Минск! — перебивая друг друга, ответили парни.

А девушка добавила:

— ...Чтобы скрыть зверства, которые они чинили здесь.

— А это все разве не доказательства? — спросил девушку Жихарев, указывая на поле, на землеройную машину и открытые могильники.

— Не успели закончить, — ответила она. — Хотели вырыть всех из могильников и сжечь трупы. В Шишковке можете увидеть крематории, бочки с жидкой смолой и две душегубки.

Только тогда я сообразил, что землеройная машина нужна была немцам, чтобы выкапывать, а не закапывать трупы.

— Сколько здесь могильников было? — спросил Иван Чуев.

— Штук тридцать, — ответила девушка.

— Бо-ольше, Алесья! — возразил паренек.

— Как вы попали в концлагерь? — спросил Жихарев у Алеси.

— Я сама минчанка, — сказала она. — До начала войны окончила первый курс Минского пединститута. Была на своем курсе комсоргом. В конце 42-го меня выдала конкурница, эстонка. Ее отец был охранником в концлагере смерти.

— А они как? — спросил кто-то из танкистов, кивнув на парней.

— А они попали в облаву и тоже оказались в концлагере, — ответила девушка.

— Как же вы спаслись? — спросил Жихарев.

— Мы трое работали на строительстве крематория, — начала рассказывать Алесья.

Но ее нетерпеливо перебил один из ребят-партизан, тот, что был постарше:

— Нас охранял один вечно пьяный фриц. Он как-то раз сидя уснул, и я его огрел кирпичом по башке. Не знаю, может, убил.

— Схватили его автомат и драпанули в лес, — добавил второй.

— На другой день мы нашли партизан, — пояснила Алесья, — стали у них разведчиками.

— Молодцы! — произнес майор Жихарев. — Звать-то вас как?

— Меня Банась, — ответил тот, что постарше. — А его...

— А меня Карусь.

— Вы все трое белорусы. А кого в концлагере было больше? — спросил Жихарев.

На этот вопрос ответила Алесья:

— Больше всего было евреев. Их привозили в Тростинецкий лагерь со всей Европы, даже из Германии. Поезда с еврейскими семьями приходили в Минск два раза в неделю, рано утром. Все их вещи сразу же отбирали и выдавали расписки. А после этого — я сама это видела несколько раз — их запихивали в душегубки и везли из Минска в крематории Шишковки. В пути они задыхались. В лагере — до нашего побега — знающие люди говорили, что все душегубки ездили туда-сюда непрерывно, круглосуточно. Кроме того, многих евреев, поляков, русских и белорусов везли сюда, на это поле между Малым Тростинцом и Шишковкой, и здесь расстреливали. Заполняли трупамы могильники, засыпали их землей и поверху для утрамбовки пускали гусеничный трактор ЧТЗ. А еще из Европы привозили на расстрел и в душегубки людей из концлагеря Дахау....

Мне через четверть века довелось побывать не только в Бобруйске, но и здесь, в обоих Тростинцах. К тому времени из разных источников мне удалось узнать, что Тростинецкий лагерь смерти занимает по количеству умерщвленных жертв нацизма четвертое место в Европе после Освенцима (4 миллиона человек), Майданека (1 миллион 380 тысяч человек) и Треблинки (800 тысяч человек). В Тростинецком погибло 200 тысяч.

В том лесу, откуда к нам вышла троица партизан — Аляся, Банась и Карусь, — я прочел на белорусском языке и переписал себе в блокнот наказ-завещание потомкам:

Мы — тысячы ахвар,
што у польмя кастроу
фашвсты кінулі
на Трасцянецком полі!
Звяртаемся до вас,
Сясцер сваіх, братоу:
Змагайцеся за мір
І, беражыце волю!

На другом гранитном постаменте я прочел надпись на русском языке: «Здесь захоронены советские граждане, замученные и сожженные немецко-фашистскими захват-

чиками. Люди, помните, передайте из поколения в поколение, что вся земля здесь пропитана нашими слезами и кровью. Пусть наше горе и мужество дадут вам силы и уверенность в борьбе за мир и счастье на земле!»

30 июля 1944 года

Польша. Полевой госпиталь

Моя жизнь и судьба устраивают мне невероятные салто-мортале, смертельные прыжки. Впечатление такое, будто моя жизнь и судьба испытывают мое терпение. Интересно было бы знать, когда все это закончится. Между тем я не перестаю думать и разговаривать с моей дорогой Принцессой Оксаной.

Открыв глаза и глядя по сторонам, догадываюсь: я снова в госпитальной палате. (Механик-водитель Иван Чуев сказал бы по-одесски: «Обратно в палате».) Она значительно просторнее тех, где хозяйничала Оксана. Наверное, это не армейский, а фронтовой военно-полевой госпиталь, и тент здесь, похоже, ленд-лизровский, американский.

Третье ранение. К тому же, кажется, и контузия? То и другое? Возможно. Надо вспомнить: что, где и как? Напрягаюсь долго. Не получается. Провал памяти. Как долго я был без сознания — час, два, день, неделю? Меня оперировали? Очевидно: вся грудь и левая рука крепко забинтованы. Шевелить левой рукой больно. Оперировали под общим наркозом или под местным? Кто оперировал? Пальцы и вся правая рука не забинтованы. Могу шевелить пальцами, поднять руку. Голова, лицо и шея, кажется, тоже совсем не забинтованы. Проверяю. Они вроде бы в порядке. А ноги? Что с ними? Пальцы ног шевелятся. Получается! Но тут же вспоминаю раненого соседа в госпитале до начала Курской битвы (значит, память не полностью отшибло!). Ему казалось, говорил он мне, что может шевелить пальцами ноги, которую ему накануне ампутировали выше колена. Его собирались увезти в эвакуогоспиталь, но он застрелился. Попробовать поднять ноги? Острая боль в груди и пред-

плечье не позволяют! Что же с ногами? Левая забинтована, а правая — нет.

Сосед с забинтованной головой на койке слева улыбается.

— Очухался, командир? — прошептал он.

Его глаза внимательно смотрят на меня. Видел эту улыбку не раз! И голос кажется мне знакомым. Мехвод Чуев?

— Ты? — спрашиваю.

— Я, командир, я! — отвечает Иван.

— Каким образом?

— Так распорядился Всевышний, — ответил Иван Чуев улыбаясь. Потом улыбка на его устах погасла. Он продолжил: — наших ребят разнесло миной, а мы, командир, вот здесь стронулись. Чудеса! Представляешь: они варили кашу, сидели вокруг костра, и вот аккурат прямо в его середину немецкая мина и угодила...

После продолжительной паузы я спросил у Чуева:

— А мы с тобой где были в то время?

— Чуть в сторонке... Карту рассматривали. Искали польскую Прагу. (Чуев имел в виду пригород польской столицы — тезку столицы Чехословакии.)

— Где это произошло?

— В направлении на Варшаву, за Вислой.

— До Праги, понятно, не дошли?

— Нет.

— А кто нас подобрал?

— Санитары. Попали мы прямо в операционную к Галине Васильевне Талановой. Сначала ты, командир. А после тебя — я. Она меня спрашивает: «Вы его знаете?» — «Мой командир танка», — отвечаю. Она: «А почему бредил на английском, все звал какую-то принцессу?»

— Ну и?..

— Ну я ей все про тебя, командир, и выложил. Она после этого распорядилась поставить наши койки рядом.

— Неужели та самая Таланова?

— Она! — произнес Чуев. — У меня здесь земляк оказался и подтвердил: ППЖ маршала Рокоссовского.

— Слушай, Иван, не смей так о ней говорить.

— А разве неправда, командир?

— Неправда! — возразил я. — Походно-полевая жена — это когда девчонки попадают в рабство к начальству. Я, например, был старшиной, а Принцесса — лейтенантом. Она не была мне подчиненной. Разве ее могли называть ППЖ?

— Так у вас было дело по-серьезному...

— Я уверен, что у них все тоже по-серьезному, а не так, как у других, — сказал я. — Помнишь, что нам о них рассказывал Милюшев? У них, Чуев, обоюдискренние отношения и настоящая большая любовь. Война и любовь совместимы, Чуев.

— Тс-с-с! — прервал меня Чуев. — Она идет!

К нам направлялась молодая красивая женщина в белоснежном халате и таком же белом колпаке хирурга. Я ее никогда прежде не видел, но, если Чуев сказал «Она», значит, это Таланова, решил я. Кроме того, по ее походке сразу было видно: по палате идет не вторая и не третья персона этого госпиталя, а первая.

Чем ближе приближалась к нам Таланова, тем больше я понимал Рокоссовского. Я мысленно ее «сфотографировал», чтобы потом, когда смогу, нарисовать ее портрет.

Приблизившись к нашим с Чуевым койкам, она вдруг произнесла с приятной, мягкой улыбкой:

— Good morning! How do you feel?

У Чуева от неожиданности челюсть отвисла. Да и я был удивлен. Но я быстро взял себя в руки и ответил:

— Fine, thank you, Madam Doctor. You can't imagine what a joy for me to hear my native English here, in this field hospital! (Спасибо, мадам доктор. Вы не можете себе представить, какая для меня радость услышать здесь, в этом полевом госпитале, родную английскую речь!)

— Too much! Too much! — замахала рукой «мадам доктор» и, снова улыбнувшись, перешла на русский: — Многовато. Многовато. Я вам сказала лишь то, что осталось в памяти со школы. Но ваше «Fine» и «Thank you, Madam Doctor» я поняла.

Она мне напомнила Принцессу Оксану. Я подумал: «Была бы Оксана жива, закончила бы мединститут и

была бы похожа на Таланову». Она присела на край моей койки, приподняла мою левую руку и попросила сжать пальцы в кулак. У меня не получилось. Мне удалось с болью сжать кулак лишь наполовину. Она поняла, как трудно мне это дается, лицо у нее стало серьезным. Я испугался: не значит ли это, что меня из этого полевого госпиталя ушлют далеко от фронта за Урал? Глупо, конечно: я тогда не подумал о более серьезном последствии: что могу остаться вовсе без левой руки. Нет, я думал о том, что должен выполнить свою и Принцессы Оксаны заветную мечту — дойти до логова фашистского зверя, до Рейхстага! И там встретиться с моими земляками американцами. Они ведь теперь, наверное, уже в Париже!

Доктор Таланова молча встала и откинула легкое одеяло с моих ног.

— Пошевелите пальцами ног.

Я пошевелил.

— Хорошо! — сказала она.

— А левая рука? — осторожно спросил я.

— Не опухла. Пульс есть. Будем надеяться...

— Позвольте мне у вас спросить... — начал я робко.

— Позволяю.

— Могу ли я и мой механик-водитель рассчитывать на то, что мы через какое-то время сможем вернуться в нашу разведроту?

— Бойтесь быть отправленными в эвакогоспиталь?

— Боимся, доктор. Хотим остаться на фронте, которым командует маршал Константин Константинович Рокоссовский.

Таланова взглянула на меня, как бы желая понять, насколько искренне я это сказал. Я встретился с ее глазами и выдержал пытливый взгляд. На лице у нее снова появилась приятная, мягкая улыбка.

— Время покажет, — произнесла она. — Возможно, вернетесь.

— Thank you so much, Madam Doctor! — сказал я по-английски.

Она меня поняла.

12 августа 1944 года

Батя

Старший сержант Иван Чуев и многие другие в нашей роте называют нашего комроты майора Жихарева между собой Батей. Такая кличка давалась далеко не всем командирам Красной армии. И я сам, следом за всеми, стал его так называть — разумеется, мысленно или в приватном разговоре с сослуживцами. Надо сказать, было за что Жихарева так называть. О танкистах и десанниках своей роты он, при всей строгости, заботился, как требовательный, но справедливый отец о своих сыновьях. Слыханное ли дело, чтобы комроты ехал более 50 километров и тратил несколько часов своего драгоценного времени, чтобы навестить раненых бойцов роты?

Мне кажется, мой краткий разговор с Талановой сыграл определенную роль в том, что нас с Чуевым не отправили в какой-нибудь далекий эвакуогоспиталь и решили лечить здесь, в этом фронтовом полевом госпитале. Сегодня с утра Чуев мне сообщил, что нас должен навестить Батя. Откуда такие сведения? Земляк Чуева, некий шустрый одессит Марк, слышал разговор Талановой с нашим Батей по телефону.

В первую неделю августа к нам в госпиталь поступило сразу несколько тяжелораненых танкистов. Все они были из 2-й танковой армии, которую чуть не полностью разгромили несколько немецких танковых дивизий севернее Праги, пригорода Варшавы, на восточном берегу Вислы. Об этой ужасно неприятной для советских войск операции нам рассказал один из раненых — командир танкового взвода, старший лейтенант Морозов. Он был ранен под Воломином, что севернее варшавской Праги. «Там, — рассказал Морозов, — шли ожесточенные бои между танковыми корпусами нашей 2-й танковой армии и свежими немецкими танковыми дивизиями, переброшенными к Варшаве с юга». Морозов рассказал нам, что в Варшаве 1 августа по команде от Миколайчика из Лондона вспыхнуло восстание, возглавляемое генералом Армии край-

вой Тадеушем Бур-Комаровским. Помимо прочего, Морозов упомянул то, что в Варшаве живет младшая сестра Константина Рокоссовского. Последнее обстоятельство было для меня новостью.

Около одиннадцати утра к нам прибежал, запыхавшись, Марк — тот самый земляк Чуева — и сказал нам, что к Талановой приехал какой-то бравый майор-танкист с двумя орденами Боевого Красного Знамени. Мы с Чуевым переглянулись и чуть ли не одновременно произнесли: «Неужели наш Батя?!»

— Ты, Марк, помнишь, о чем я тебя просил?

— Конечно, помню, — ответил Марк и, усмехнувшись, добавил: — Заяц трепаться не любит! А ты, земляк, — обратился он к Чуеву, — помнишь, что обещал, если я организирую?

Чуев тут же, без разговора, снял с руки свои трофейные часы-штамповку и вручил их Марку. Тот посмотрел на них, послушал: идут — не идут? — оглянулся по сторонам, сунул их в нагрудный карман под халат и быстро ушел.

Я понял, что речь у них шла о «гешефте», который мне активно не нравился. Суть его была в том, что раненым танкистам, отправляемым в госпиталь, друзья надевали на руку две-три пары трофейных часов, которые можно было обменять на чистый медицинский спирт у таких, как этот Марк. Такие «шустрые», устроившись в полевых госпиталях, делали свои мутные делишки. «Кому война, а кому мать родна», — говорили о такого сорта людях фронтовики.

Вообще-то внимание к трофейным часам было в то время повышенное, мягко говоря. Когда немецкие пленные после Минска стали со словами «Гитлер капут!» сдаваться в плен, у них не столько спрашивали о спрятанном оружии, сколько о часах, — на полунемецко-полурусском тут и там звучала фраза: «Ур, ур есть?» Немецкие военнопленные беспрекословно снимали с рук или вынимали из карманов свои часы и отдавали советским солдатам, лишь бы их не «шлепнули». Я не раз видел это и не раз задумывался о том, почему в СССР была такая дикая погоня за ручными часами? И пришел к выводу, что во вре-

мя индустриализации СССР лидеры страны не думали о насущных потребностях людей: о ручных или карманных часах, например. В Макеевке перед войной к нам в дом приходил к отцу один инженер. Я показал ему привезенный из Штатов специальный нож для очистки картофеля или других овощей и спросил, почему в Союзе не выпускают такие ножи.

— Смотрите, как тонко и быстро он чистит, — сказал я инженеру.

На что тот ответил:

— Такая хорошая сталь нужна нам не для картошки, не для бритвенных лезвий, а для танков и орудий, — ответил он, дав мне при этом информацию для размышления о том, что важнее — человек или танк?.. Часовых заводов во всем СССР было, кажется, только два. Отсюда, думал я, такая «часомания». После боя у советских солдат было популярно развлечение: «махнем часы на часы не глядя». «Часомания» и «гешефты» на фронте мне очень не нравились, порой вызывали отвращение. Я не раз задумывался, происходит ли что-то подобное в армии Соединенных Штатов?

Марк появился возле Чуева минут через десять с двумя небольшими свертками. Он открыл прикроватную тумбочку и положил в нее свертки.

— Чистый, медицинский? — строго спросил Чуев, на что Марк ответил по-одесски:

— Шоб я так жил!

— Что там? — спросил я.

— Встретим Батю — что надо! — ответил Чуев. — В одном пакете — чекушка чистого медицинского спирта, в другом — соленые огурцы. Банкет!

— А ты, Чуев, думаешь — это законно?

— Это не наша проблема, командир. Не наша! Может, он его не ворует, а просто собирает. Им тоже положено по пятьдесят граммов в день спирта вместо ста граммов водки. Они тоже считаются здесь фронтовиками... В тылу так и будут себя называть.

Я понял, что мой мехвод сделал этот «гешефт» ради встречи с Батей. Решил таким образом показать ему наше уважение и почтение.

«Чекушка на троих — не пьянка. Но языки развязывает и сближает людей», — говорил наш покойный комвзвода Олег Милюшев.

Диалог с Чуевым был неожиданно прерван. В палату вошел Батя — майор Жихарев. Вставать с кроватей нам с Чуевым еще не разрешили, а садиться можно было, что мы и сделали.

— Здравствуйте, мои хлопчики-молодчики! — произнес, улыбаясь, майор. — Я к вам прямо от Талановой. Она обещает...

— Что? — настороженно, не удержавшись, спросил я.

— Что к наступлению на Берлин вы оба будете у меня в строю.

— А когда будет наступление на Берлин? — задал бестактный вопрос Чуев.

— Вы оба вернетесь в строй недели через три или четыре. Так пообещала Таланова. А наступление на Берлин еще не скоро...

— А верно, что 2-я танковая армия Богданова потерпела большое поражение? — спросил Чуев.

— Это правда.

— А восстание в Варшаве — тоже правда? — снова спросил Чуев.

— тоже правда, — ответил Жихарев.

— Товарищ майор, а можно нам с вами помянуть наших погибших товарищей по оружию: Принцессу Оксану, гвардии старшего лейтенанта Олега Милюшева и других наших танкистов и десантников? — осторожно спросил Чуев.

Хитер мужик, подумал я. Нашел способ подобраться к чекушке и соленым огурцам. Разве можно отказаться от того, чтобы помянуть павших товарищей?

— Помянем, — ответил Жихарев, когда увидел, что Чуев вынул из тумбочки чекушку и огурцы.

Было всего два стакана. Чуев и тут проявил солдатскую смекалку: налил в два стакана спирт и сказал:

— А я из горла! Пусть им земля будет пухом...

Мы, не чокаясь, выпили. Соленые огурцы оказались очень кстати после чистого медицинского спирта.

— Товарищ майор, — спросил я, — вы получили какие-либо известия о своей семье из Ельца?

— Из Ельца — ничего, — ответил он. — Но меня разыскала старшая дочь Алла и сообщила, что мама — моя жена Мария Михайловна с младшей Тоней перед приходом немцев уехали в деревню. А саму Аллу приняли танцовщицей в один из фронтовых или армейских ансамблей песни и пляски, хотя ей и шестнадцати еще нет.

Жихарев вынул из нагрудного кармана фотографию и показал нам.

— На этом фото она выглядит совсем взрослой, — сказал я. — Красивая девушка. Не случайно ее приняли.

— Она танцует с шестилетнего возраста, — добавил Жихарев не без гордости.

— Красотка! — воскликнул Чуев, взглянув на фото. — Был бы я не женат, нашел бы ее после войны и попросил бы руку и сердце.

Майор Жихарев оставил реплику Чуева без комментариев.

6 октября 1944 года **Доктор Таланова**

Мы с Чуевым покинули госпиталь доктора Талановой 2 октября, в тот самый день, когда радио сообщило о том, что польские повстанцы капитулировали.

Мое прощание с Талановой оказалось необычайно интересным. Она задала мне напоследок, казалось бы, очень простой вопрос:

— Почему вы так боялись попасть в эвакогоспиталь?

Если бы она не была талантливым хирургом и главным врачом госпиталя, я бы подумал, что мне на хвост сел Смерш.

— Видите ли... Те, кто попадает в эвакогоспиталь, уже, как правило, никогда не возвращаются в свою часть, — ответил я. — А мне нравится служить под командой умного и человечного, хотя и довольно строгого командира майора Жихарева. Он относится к подчиненным уважительно и бережно — как маршал Рокоссовский.

— Откуда вы знаете, как маршал Рокоссовский относится к подчиненным? — спросила доктор Таланова. — Вы лично с ним встречались?

— Да, два раза. В первый раз — в Московской военной спецшколе номер 3, где я учился в одном взводе с его дочерью Адусей. Он был еще не маршалом, а генералом...

И я рассказал Талановой о том, как танцевал с Адой Рокоссовской под внимательными взорами ее отца и маршала Ворошилова.

— А второй раз? — поинтересовалась Таланова.

— Второй раз был перед началом Курской битвы. Я с экипажем закапывал танк по самую башню. Как вдруг в окружении нескольких генералов и полковников подходит генерал Рокоссовский. Я узнал его сразу и доложил по форме: кто, что, чем заняты. В это время к нему подошел полковник, я думаю, из Смерша, и что-то негромко сказал Рокоссовскому, после чего тот меня спросил: «Так вы, оказывается, к нам попали из Америки?» На что я ему ответил: «Так точно, товарищ командующий фронтом!»

— Как вы думаете — он вас узнал как партнера Адуси на танцах? Ведь прошло всего лишь четыре месяца после 23 февраля. Не так ли?

— Не знаю, — ответил я честно. — Он только еще раз пристально на меня взглянул и, уходя, произнес: «Что ж, посмотрим, как наши союзники воюют».

— Его дочь в той школе все звали Адусей?

— Нет, только я. Она мне показала свой, как она его назвала, «талисман». Это было первое долгожданное письмо, полученное от папы с фронта. Я обратил внимание, что Рокоссовский называет ее Адусей. Вот и я стал ее так называть, когда мы оставались вдвоем. Мне казалось, ей это нравилось. Она мне рассказала много интересного и трогательного о своем отце. А я ей — о своих родителях.

— У Адуси, между прочим, характер, скажу я вам, как у ее папы, — сказала Таланова.

— Вы тоже ее видели? — удивился я.

Мне это показалось странным. Где, когда, по какому случаю доктор Таланова могла встретиться с Адусей?

— После той спецшколы ее в партизаны не пустили, хотя она рвалась. Наверное, вмешался папа, — предположила Таланова. — Но зато Адуся настояла на том, чтобы

получить назначение на 1-й Белорусский фронт в качестве радистки. И служит она в одном из радиоподразделений, которое поддерживает связь с партизанами в тылу врага.

Это сообщение для меня было как снег на голову: неожиданное и удивительное. Неужели мне удастся встретиться с Адусей где-то в боевой обстановке на фронте? — подумал я. ...Нет, не довелось. Лишь много лет спустя, в августе 1968 года, когда я пришел на Красную площадь, на похороны маршала Рокоссовского, мне встретился бывший мой соученик по той партизанской спецшколе Кузнецов, живущий теперь в Химках. Он рассказал мне, что наша боевая подруга Ада Рокоссовская из-за издевательского отношения к ней ее мужа застрелилась из того «вальтера», который подарил ей папа. Тот пистолет попал к Рокоссовскому от плененного им фельдмаршала Паулюса после Сталинградской битвы...

16 октября 1944 года

В лесу. В 30 километрах восточнее Вислы

В землянке стоял молодецкий храп четверых танкистов. После многочасовой работы по маскировке новой техники и вооружения все спали как убитые. Все, кроме меня. Работал я в тот день наравне с ними, но «думы мои, думы мои» не давали мне уснуть. Что-то меня тревожило. Не мог понять, что именно. Я снова и снова думал о маршале Рокоссовском и о докторе Галине Талановой. Думал: возможно ли в одно и то же время одинаково искренне любить двух и, насколько мне известно, исключительно порядочных и милых женщин, которые, несомненно, обожали Рокоссовского. И еще тревожила меня мысль: показала ли доктор Таланова кому-нибудь два моих блокнота, которые были в кармашке на внутренней стороне моей нательной рубашки? Она ведь перед операцией разрешила рубашку, блокноты из кармашка вынула, сохранила и вернула мне. Пыталась ли она их прочесть? Вряд ли. Глаза у нее честные. Это несомненно!

Было, наверное, около часу ночи, когда в землянку вошел ординарец майора Жихарева и сказал, что командир

роты приказал меня разбудить и немедленно сопроводить до его штабной землянки. Я сразу забыл о всех своих «думах». Мой командир роты хочет снова, чтобы я послушал Би-би-си и пересказал ему, что сообщает радио о сражениях союзников с немцами на Западном фронте. Это и самому было очень интересно узнать.

— Вы знаете, зачем он меня среди ночи вызывает? — спросил я ординарца.

— Наше дело десятое, товарищ Никлас.

Меня многие стали так называть после того, как узнали, что я не настоящий советский военнообязанный, а американский доброволец в Красной армии.

— Не наше дело спрашивать что да почему. Наше дело выполнять приказ, — ответил ординарец.

Мои предположения подтвердились. Я это понял, как только вошел в землянку Жихарева. По его ответу на мое приветствие и по его лицу было видно, что командир в плохом настроении. Но я-то при чем?

— Садитесь, Никлас! — велел он приказным тоном.

Я сел в ожидании чего-то тревожного.

— Я несколько раз видел, что вы что-то записываете в блокнот. Так?

— Так точно, товарищ майор.

— Зачем это вам?

— Если выживу в этой бойне, напишу книгу... может быть.

— Где вы храните ваши блокноты, Никлас?

Соврать нашему Бате было невозможно. И намерения такого у меня не было.

— У меня внутри натальной рубашки пришит карманчик. В нем я храню свои блокноты.

— Они сейчас при вас? — спросил Батя.

— Так точно, товарищ майор! Они всегда при мне.

— Покажите! — приказал он.

Неужели он мне не поверил? — подумал я. И я тут же расстегнул гимнастерку, вынул из натальной кармашка два блокнота и выложил их на стол.

Жихарев внимательно перелистал несколько страничек в одном блокноте, потом в другом, после чего спросил:

— Где вы учились стенографии, в Московской партизанской школе?

— Никак нет, товарищ майор, — ответил я. — Этого предмета в той школе не было. Мы изучали лишь, как зашифровывать и расшифровывать тексты. Дело в том, что мой самый старший брат Майк в Америке учился стенографии. Потом в Макеевке по воскресеньям он учил этому делу нас с Джоном.

Батя снова раскрыл один из блокнотов и внимательно посмотрел на мои карандашные штриховые рисунки. Там были мои наброски Принцессы Оксаны, Олега Милюшева, профессора Петровского и его самого, а также рисунки различных немецких и советских танков и противотанковых орудий.

— Похоже, похоже, — произнес он. После этого вдруг перешел на тональность пониже и сказал мне такое, от чего у меня по спине мурашки пробежку сделали: — Однако, Никлас, должен вам сказать следующее... По-отечески, исключительно и сугубо между нами... Во время вашего пребывания в госпитале ко мне приходил офицер из Смерша и настырно интересовался, знаю ли я, какие рисунки и записи вы делаете в своем блокноте и где вы храните свой блокнот. Кроме того, он спрашивал, откуда и как часто вы получаете письма и отвечаете ли на них сразу или нет. Я ответил, что рисунки немецких танков и противотанковых орудий не только в блокноте, но и на фанерных щитах вы рисовали по моему приказу. А по поводу писем сказал ему, чтобы он лучше спросил у нашего бригадного почтальона, он знает это лучше, чем я.

После этого последовала долгая пауза. Сообщение Бати было для меня очень неприятным, хотя нельзя сказать, что абсолютно неожиданным. Во-первых, я со своим чуть ли не фотографическим зрением сам заметил, что среди новобранцев, с которыми я ехал из Москвы на Центральный фронт, был один «новобранец», которого я, как мне показалось, пару раз видел в московской военной школе. Я сделал вид, будто его не узнал. Но это натолкнуло меня на мысль, что особист в партизанской школе — капитан в погонах с голубыми кантами — за мной присматривал. Возможно, ему было известно, что

я из спецшколы поехал не назад в Актюбинск, а по дороге во Фрунзенский райвоенкомат порвал и выбросил в туалет свой паспорт. Может быть, особист решил, что я поехал добровольно на фронт для того, чтобы при удобном случае сдать в плен немцам, и приставил ко мне хвост, который меня сопровождал от и до... Но до чего?

— Короче говоря, Никлас, — сказал после паузы Батя, — вы у них в разработке. Но им вас не отдам.

Что бы я ни замечал раньше, что бы я ни чувствовал раньше — было лишь моим предположением, а то, что сказал мне открытым текстом Батя, было вполне обоснованным и серьезным предупреждением. После его слов я сидел шокированный, словно оглушенный, как та рыба, которую мы когда-то под Курском на речке Сейм глушили при помощи мощных противотанковых гранат.

«Жизнь — это всегда ряд естественных и спонтанных происшествий, которым зачастую невозможно противостоять», — не раз повторял мне в Америке наш Пап.

— Я, Никлас, — сказал мне Батя, — найду для сохранности ваших блокнотов место получше, чем ваше нательное белье. Вы ведь его время от времени обязаны сдавать в дезинфекционную камеру. Верно?..

Нашему Бате я не мог не довериться и не мог не поверить. Он был прямой противоположностью приснопамятному макеевскому майору Баеву. Я ушел от него без блокнотов. Уснуть в ту ночь я не смог.

После того как из моей палаты отправили в Москву американского пилота Ричарда О'Брайна (об этом я расскажу чуть позже), у меня появилась уйма свободного времени. Я выпросил у секретаря-машинистки госпиталя несколько листов бумаги и сделал из них замечательный 84-страничный блокнотик. В нем я решил записать несколько событий моей фронтовой жизни за последние 146 дней и ночей (с 6 октября 1944 года по 12 марта 1945 года).

Два предыдущих моих блокнота остаются пока у моего комроты. Он мне их вернет 2 мая, когда мы с ним встретимся у Рейхстага. Но это — впереди.

А сегодня идет 1363-й день Великой Отечественной и 2053-й — Второй мировой войны. Я снова в полевом госпитале, снова, черт возьми, ранен, и снова — в левое предплечье. Целятся в сердце, но у них пока не получается. Ранение назвали почему-то не просто пулевым, а «слепым пулевым». Немецкую пулю во время операции хирург вынул и велел операционной сестре, чтобы та вернула ее в марлю и, когда я «очухаюсь», передала мне на память. «Недели через две-три вернетесь в строй, — пообещал главный врач. — Вас это устраивает?» Меня это вполне устраивало, так как, по всем приметам, последняя наша атака на «логово фашистского зверя» должна начаться в апреле. Значит, успею...

Но вернемся в октябрь 1944 года.

29 октября 1944 года **Правый берег Вислы**

Сегодня, в лесу прифронтовом, на восточном берегу Вислы в Польше, мне исполняется двадцать лет. Будь я в этот день в Макеевке, моя милая мама наверняка испекла бы любимый в нашей семье Apple Pie (яблочный пирог). Так было до этого шестнадцать раз и в Бетлехеме, и в Макеевке. В яблочный пирог втыкали маленькие свечки, Пап зажигал их, я задувал, и после этого все сидевшие за столом — Джон, Майк, Энн, мама и Пап — пели традиционную песню, которой поздравляли с днем рождения:

Happy birthday to you,
Happy birthday to you,
Happy birthday, dear Nicholas,
Happy birthday to you!

Однажды в Бетлехеме Пап нам рассказал, что мелодию и слова этой песенки сочинили в 1893 году сестры-американки Пэтти Хилл и Милдред Дж. Хилл. Теперь эту песенку поют, отмечая чей-либо день рождения, не только в Штатах, но и чуть ли не во всем мире...

Я вспомнил, какой чудесной неожиданностью для меня было в прошлом, 1943 году на фронте, когда моя любимая Принцесса устроила в реабилитационном центре мой де-

вятнадцатый день рождения. В глубокой тайне от меня она ухитрилась испечь настоящий яблочный пирог по-американски с хрустящей корочкой по краям. Оксана раздобыла где-то (скорее всего, в церквушке села Александровка) девятнадцать маленьких свечек и разучила с теми, кто был приглашен к праздничному столу в реабилитационном центре, на английском Happy birthday. В устах моих товарищей по оружию песенка на ломаном английском звучала забавно: «Хэппи бьордей ту ю, хэппи бьордей то ю, хэппи бьордей дир ник-о-лас, хэпи бьордей ту ю!» Хотя не это ведь важно: мои друзья пели от души, с огоньком!

Но сегодня я никому не сказал о своем дне рождения. Без Принцессы, без моих дорогих боевых товарищей Олега Милюшева, профессора Петровского, двух моих танковых экипажей — нет, это не будет праздником в полной мере. Я сегодня весь день вместе со всей ротой пахал, как папа Карло, с утра до самого вечера и в 22.00 командовал своему экипажу отбой. Уставшие люди охотно улеглись. Кто-то уже даже всхрапнул — как вдруг к нам в землянку неожиданно ворвался наш новый комвзвода, старлей Николай Долин и громко крикнул:

— В рууужьеооо!

Все соскочили со своих нар и окружили Долина, держа в руках... алюминиевые кружки.

Долин вынул из кармана чекушку и произнес:

— Чистый спиритус вини дистилляти! Подставляй свою кружку, Никлас, тебе наливаю первому!

Я, ошарашенный, не мог понять, что все это значит. Подумалось поначалу: после глотка спирта следует срочная отправка роты на западный берег Вислы и танковая атака.

Долин плеснул мне в кружку пару глотков «спиритус вини дистилляти».

— Зашнуруем, братцы, за нашего боевого союзника!

Алюминиевые кружки сошлись с глухим стуком, все дружно чокнулись, выпили, крякнули и вместо закуски понюхали свои рукава. Долин взмахнул пустой чекушкой, вслед за этим грянуло: «Хэппи бьордей ту ю...»

Мне тут же в голову пришла мысль: все это «проделки Скапена», то есть моего мехвода Ивана Чуева. Кто, кроме

него, знал о том, что мне в прошлом году на день рождения подготовила Принцесса Оксана? Я никому об этом не рассказывал, кроме Ивана. Было это в госпитале у Галины Талановой, где мы с ним провели больше восьми недель. Чуев, наверное, все запомнил и доложил нашему комвзводу.

Все случилось так неожиданно и так по-фронтовому трогательно. Но на этом «пятиминутка» не окончилась. Иван Чуев вдруг затянул мелодию «Синего платочка», все ее подхватили, кто со словами, кто лишь напевая мелодию: «Синенький скромный платочек... падал с опущенных плеч...»

Хорошо, что в землянке было темно. Иначе весь мой экипаж и комвзвода увидели бы, как слезы катились по моим щекам и я их не вытирал. Теперь мне стало ясно, что мой мехвод Иван Чуев не только верный боевой соратник, но и настоящий друг. Он наверняка рассказал ребятам об Оксане, о том, что в освобожденном от фашистской оккупации Минске я с ней собирался расписаться в ЗАГСе и что она погибла под Бобруйском за одну неделю до освобождения белорусской столицы. Вот и «Синий платочек» звучал сейчас не только для меня, но и в память о ней...

Ребята закончили куплет и умолкли. Комвзвода встал, объявил отбой и вышел из землянки. Все улеглись на свои нары, но обычного храпа я не слышал. Значит, они тоже не спали. Значит, и они, как и я, после всего, что произошло за эти пять минут, еще долго не могли уснуть. Значит, их до глубины души тронуло, казалось, невероятное: американский доброволец в танковой разведроте Красной армии и советская девушка — военфельдшер Принцесса Оксана в разгар войны по-настоящему полюбили друг друга и намеревались оформить свой союз в Минске... Было о чем думать, было. А у меня перед глазами еще долго-долго стояла, как живая, моя дорогая советская Дина Дурбин...

В то самое время, когда 1-й Белорусский фронт ускоренно готовился к одной из важнейших операций Великой Отечественной и Второй мировой войн, наш комро-

ты, уже подполковник Жихарев объявил перед строем, что маршал Рокоссовский переведен с 1-го Белорусского на 2-й Белорусский фронт и что теперь в предстоящей операции, названной танкистами и десантниками наступлением «Nach Berlin!», будет командовать маршал Жуков.

Для многих, в том числе и для меня, это прозвучало как гром среди ясного неба. В нашей роте во время перекуров можно было услышать разноречивые комментарии. Одни утверждали, что якобы Сталин на вопрос Рокоссовского: «За что такая немилость?» — ответил: «За то, что вы с ходу не взяли Варшаву и в польской столице поэтому погибло около четверти миллиона гражданского населения». Другие доказывали, что взятие Пруссии и очистка побережья Балтики от немецких войск важнее той задачи, которая неизвестно как скоро начнет выполняться 1-м Белорусским фронтом.

У меня созрела собственная версия того, что произошло с Константином Константиновичем Рокоссовским. При всей его талантливости и популярности он по национальности не русский, родился за границей, имел и до сих пор имеет там близких родственников. Словом, нельзя такому человеку доверить взятие Берлина. Логово фашистского зверя должен взять русский. Пусть с большей кровью, пусть менее искусными решениями, но чисто русский... Я пытался понять логику Верховного главнокомандующего.

12—14 января 1945 года

Под звуки музыки

2-я танковая армия и наш танковый корпус, полностью укомплектованные, расположились на плацдарме западного берега Вислы южнее Варшавы и в ближайший день-два готовы начать наступление в северо-западном и западном направлениях.

Зимнее наступление начали 12 января наши соседи: на левом фланге 1-й Украинский фронт под командованием маршала Ивана Конева, а на правом — 2-й Белорусский

фронт под командованием маршала Константина Рокоссовского.

14 января в 6.00 мы проснулись не по команде «Подъем!», а оттого, что сотни мощных советских громкоговорителей на всем протяжении нашего фронта начали транслировать на полную громкость самые популярные песни на русском, украинском, белорусском, армянском, молдавском и других языках народов Советского Союза. Вместе с началом оглушительного звучания этих песен нам дали команду: «Вперед, на исходные позиции!» Оказалось, музыкой маскировали движение тысячи гусеничных машин на передовые исходные позиции: танков, самоходных артиллерийских установок, тракторов-тягачей. Плотный утренний туман маскировал движение всей этой армады к передовой визуально. Во время этого движения я впервые увидел рядом с нашими тридцатьчетверками американские «Шерманы-М4А2» и бронетранспортеры М3А1. Таковую подготовку к наступлению, как позже выяснилось, даже наш многоопытный подполковник Жихарев не мог припомнить.

В 8.30 началась грандиозная артподготовка, напоминавшая невиданной силы грозу. Продолжалась она двадцать пять минут. Ровно в 8.55 канонада умолкла, и впереди нас послышалось мощное русское «Уррррраааа!!!». В атаку пошла пехота, следом — танки и самоходки. Иначе было не пробиться через передовые траншеи противника, у которого все больше и больше становилось фаустников. Фаустпатроны — страшное оружие против танков. Немецкий стрелок подпускал танк на расстояние до 50 метров, клал ФАУ на плечо, прицеливался и стрелял по танку. Попадая в броню, фаустпатрон взрывался, и этот взрыв оказывал кумулятивное воздействие на весь боекомплект 85-миллиметровых снарядов. Танк вместе с экипажем разрывало в клочья, башня тридцатьчетверки при этом могла отлететь на десятки метров. Спасение от этого немецкого оружия давала только пехота, движущаяся впереди танков во время прорыва оборонительных немецких позиций. А после прорыва передовых позиций, во время движения танков в глубь обороны противника наши тридцатьчетверки спасались при помощи десанта на бро-

не. Десантники следили за возможным появлением фаустника у дороги. Если не уследят, то и сами погибнут. Фаустник готовится к выстрелу в среднем 25 секунд. За это время восемь сидящих на броне десантников должны были его обезвредить.

Проходя через несколько рядов немецких траншей, мы снова увидели страшное лицо войны: работу нашей артиллерии и советской пехоты. Повсюду лежали части человеческих тел, изуродованных до неузнаваемости. Трупы немецких солдат и советских пехотинцев лежали чуть ли не в обнимку. Как тут снова не вспомнить Германику...

14—20 января 1945 года Освобождение польского города Лодзь

14 января нашей пехоте и танкам с относительно небольшими потерями удалось прорвать глубокоэшелонированную оборону противника и продвинуться к вечеру западнее Пулавского плацдарма на 15—20 километров в направлении польского города Радома. При этом наша рота потеряла одну тридцатьчетверку и один бронетранспортер. Зрелище развороченного танка — не для слабонервных. В машину наверняка попал фаустпатрон, взорвавший весь боекомплект и оставивший от танка лишь днище корпуса, несколько опорных катков и часть гусеничных траков. Останков танкистов экипажа и десантников не было видно — их разорвало на куски и разметало.

В наушниках танкошлема прозвучал по радиации нервозный комментарий комвзвода Николая Долина:

— Мгновенная смерть.

В следующие двое суток погодные условия улучшились, и нам стала здорово помогать штурмовая и бомбардировочная авиация 16-й воздушной армии. Ничего подобного в прежних боях мы не видели. У одного населенного пункта стояли развернувшиеся для контратаки против на-

шего наступления более двух десятков сожженных штурмовиками «Тигров» и «Пантер».

— Ай да соколы! Ай да молодцы! — восторженно воскликнул Долин.

В ночь на 17 января на окраине польского Радома нас догнала полевая кухня. В одном котелке у нас оказались одновременно завтрак, обед и ужин. Потом подполковник Жихарев собрал танкистов и десантников и четко изложил поставленную перед нами боевую задачу: вместе с еще одним танковым батальоном ранним утром нам предстояло по сигналу «три зеленые ракеты» ворваться в брешь, образовавшуюся в обороне отступавшего на северо-запад противника. Развернувшись в боевую линию, на полной скорости форсировать несколько мелких речушек, подавляя по пути встречающиеся огневые точки противника, обойти населенные пункты Джевица справа и Тимашув слева, двигаться стремительно в направлении крупнейшего промышленного центра Польши города Лодзи. Здесь 17 и 18 января танкистам и десантникам очень пригодилась минно-саперная подготовка, которую мы штудировали в ноябре и декабре минувшего года. Мы научились проделывать проходы во встречавшихся нам минных полях, разминировать мосты, не дожидаясь подхода саперных подразделений. Нас также обучили, как при необходимости заминировать местность вокруг танкового взвода.

Нашей задачей было не освобождение населенных пунктов на пути к Лодзи, а дерзкое и стремительное движение по тылам противника, сеющее страх и панику на дорогах в колоннах отступающих на запад мотоциклов, машин, повозок и танков. Чем больше было огня наших пушек и пулеметов, тем больше была паника. За одни сутки мы прошли около 90 километров, уничтожив по пути два танка, десяток противотанковых орудий, множество заслонов и фаустников на обочинах дорог.

При подходе к реке Пилице по башням и по бортам танка Николая Долина, Бориса и по моему ударили снаряды двух противотанковых орудий, замаскировавшихся в кустах. Снаряды попадали в наши танки под углом справа и срикошетили, не пробив броню. Я заметил одно из фашистских противотанковых орудий, направил на

него на всем ходу свой танк и вмял в землю вместе с ору-
дийным расчетом. Танк Николая Долина поступил так же
со вторым орудием.

19 января к нашей роте присоединились кавалеристы
7-й гвардейской кавалерийской дивизии, и мы вместе во-
рвались на окраину Лодзи — одного из самых крупных
промышленных центров Польши. Город, как оказалось,
совсем не пострадал. Жилые дома, текстильные фабрики,
школы, больницы, общественный транспорт, водоснаб-
жение и электричество оставались не тронутыми вой-
ной. Мы были немало удивлены, так как до этого видели
множество разрушенных чуть ли не до основания горо-
дов: Курск и Орел, Гомель и Минск, фотографии Варша-
вы, сделанные с воздуха и опубликованные в «Красной
Звезде».

Впервые за последние 566 дней и ночей на фронте я
спал не в телятнике, не на бревенчатых нарах землянки,
не сидя в танке или лежа сверху на броне, не на узкой кой-
ке в полевом госпитале; я спал не в шинели, танковом
комбинезоне и военной форме, а в чьей-то свежевывстиран-
ной пижаме, в настоящей спальне жилого неразрушенного
дома, лежа на роскошной широкой кровати с простыней,
двумя мягкими подушками и настоящей польской пуховой
периной. Хозяин дома был, видимо, немцем или польским
коллаборационистом, убежавшим от Красной армии из
Лодзи на запад...

Сказочная ночь закончилась обычным утренним по-
строением перед оставшимися у нас тридцатьчетверками
и жесткой речью нашего командира отдельной танковой
разведроты подполковника Жихарева.

— Товарищи! — произнес он. — У меня в руках немец-
кий плакат, который я обнаружил в этом доме. Видите, на
нем — страшное звероподобное существо с автоматом
ППШ и кинжалом в зубах. На одной лапе у него повязка
с американским звездно-полосатым флагом, на другом —
повязка с британским флагом, на голове — пиратская
повязка с красным флагом и серпом с молотом. Думаю,
автором этого плаката является не кто иной, как главный
подручный Адольфа Гитлера, рейхсминистр пропаганды
Гebbельс. А теперь послушайте, что он говорит о нас, о во-

инах Красной армии. — Жихарев вытащил из кармана мятый листок бумаги: — «Красная армия недочеловеков и варваров, — с брезгливостью цитировал подполковник вражескую агитку, — стремительно продвигается к границам нашего фатерланда, хватая наших матерей, жен, дочерей и даже внучек. Пьяные большевистские орды укладывают жертв женского пола в возрасте от 6 до 80 лет вдоль дорог и насилуют толпами. Они выстраиваются с расстегнутыми штанами в очередь позади того, который насилует. Немецких малых мальчишек, подростков и мужей, стремящихся защитить своих сестричек и мам, жен или бабушек, они расстреливают в упор. Крик своих жертв они заглушают громким смехом, подобным лаю стаи диких собак».

Жихарев после этого вынул свою зажигалку, поджег плакат и листок с цитатой, держал их в руке, пока, обжегшись, не отбросил остатки. Растер сапогом пепел и сказал нам:

— Если мне станет известно, что кто-то из вас окажется уличенным в непотребном поведении по отношению к мирному гражданскому населению любой национальности или кто-то из вас возьмет в танк перину или одеяло из какого-либо дома, то — независимо от ранга и прежних заслуг — я лично отдам под трибунал!.. Кроме того, хочу вас проинформировать и по-товарищески предупредить, что город Лодзь был издавна известен своими борделями и тюремными больницами для профессиональных проституток, заразивших офицерский состав гитлеровской армии сифилисом и другими венерическими болезнями. Так вот, позавчера ворота тех тюремных больниц и борделей гитлеровцы открыли и выпустили на улицы города около восьмисот проституток.

29 января 1945 года Северо-западнее Познани

Менее чем за три недели наша разведрота прошла по тылам немецких опорных пунктов и гарнизонов более 400 километров и к 29 января оказалась возле старой германо-польской границы. Наша задача состояла в том,

чтобы перерезать пути отступления войскам противника, уничтожить встречавшиеся нам опорные пункты и сеять панику в ближайших тылах немцев. Появление тридцатьчетверок у них в тылу производило ошеломляющее воздействие на фашистских солдат и офицеров. Наши танки появлялись неожиданно оттуда, откуда они, наоборот, ожидали подмогу от своих. Так, по пути от Радома до Познани нам удалось подбить и поджечь 12 «Пантер» и «Тигров», вмять в землю 26 противотанковых орудий, уничтожить десятка полтора фаустников и накрыть огнем наших пушек множество пулеметных гнезд противника. При этом мы потеряли треть нашего личного состава и техники.

Поздно ночью в 100 километрах западнее Лодзи, вблизи польского местечка Опатувек, началась снежная метель. Дорога стала плохо различимой, двигаться дальше стало трудно и небезопасно. Измучившись до предела, мы к ночи услышали долгожданную команду нашего комвзвода: «Глуши моторы, братва!» А через минуту-другую: «Отбой до рассвета!» Экипажи трех наших танков и автоматчиков на броне долго уговаривать не пришлось: вскоре раздался молодецкий храп.

Под утро, примерно за полчаса до рассвета, меня растолкал кто-то из десантников и шепнул на ухо:

— Впереди — два или три «Тигра». Спят, наверно.

— Понял! — ответил я шепотом и приказал бойцу: — Пробрись по-тихому к танку комвзвода. Разбуди и шепни ему то же самое. Скажи: я предлагаю всех наших ребят тихо разбудить и, как только чуть-чуть посветлеет, разом сдать наши машины немного назад и сразу расстрелять «Тигры» бронебойными...

— Понял, командир, «бузде»! — шепнул автоматчик и бесшумно спустился на дорогу.

Я разбудил Чуева и остальных. Приказал радисту вылезти из машины и проверить, позволит ли расстояние между нашими танками развернуться и сдать их назад. Не успел радист вернуться, как на броне у меня появился сам Долин.

— Правильно придумал, Никлас, — прошептал он. — Докладывать по радиации Жихареву опасно: могут проснуться и услышать. Посмотри на свои часы. Ровно через десять

минут включаю фары, освещаю «Тигров», сдаю свою машину на полста метров назад и беру на себя головного бронбойным. То же самое делаете ты и Борис! Вы берете второго и кто там еще. Усек?

— Четко! — ответил я.

Долин бесшумно растворился в темноте... Вернулся радист и доложил:

— Расстояние между нашими машинами позволяет развернуться и сдать их назад.

Минутная стрелка на моих часах приблизилась к условленному времени. Долин включил фары, послышался звук мотора. Я тронул левой ногой правое плечо Чуева. Он понял команду, тоже включил фары и завел двигатель, сдал машину назад. Если немцы проснулись, наши фары их ослепили и ошеломили. Огонь! Наша «пушечная побудка» подожгла две машины фашистов. Метрах в ста впереди оказался еще один «Тигр». Видимости на таком расстоянии мешала снежная метель. Передний «Тигр», не отстреливаясь, ушел. Стрелять в него из пушки мог только Николай Долин. Его танк загораживал от нас немца.

Два «Тигра», в которых мы бахнули бронбойными, дымили и горели. Выбравшихся из «Тигров» немецких танкистов взяли на себя наши автоматчики-десантники. («Разгромили атамана, разогнали воевод и в районе Опатувка свой закончили поход...» — строчками из этой переделанной нами песни мы потом вспомнили этот бой...)

— Вперед на Калиш, Иван! Идем навстречу с комроты Жихаревым.

— Усек, командир! — ответил Иван.

Из Калиша нам было приказано идти всей ротой по тылам на Познань. Еще четверо суток, и мы всей ротой минуем поселки Котина, Важешни, Гнието. В конце концов оказываемся с соляжкой на нуле и без единого бронбойного снаряда северо-западнее Познани в ожидании эшелона с горючим и боеприпасами.

Для бесперебойного обеспечения горюче-смазочными материалами, боеприпасами и продуктами питания танковых подразделений в армиях и отдельных танковых

корпусах были созданы так называемые «подвижные армейские и корпусные эшелоны складов». Они доставляли нам грузовиками все необходимое для нашего стремительного движения на запад, к Одеру, на ближние подступы к Берлину. Дороги в Польше оказались значительно лучше советских (что тогда нас удивило), однако препятствия нашему продвижению создавали нередко «карманы», как мы их называли. Это группы гитлеровцев, остававшиеся незачищенными в разрывах между танковыми соединениями и не успевающими за ними стрелковыми корпусами. «Карманы» противника являли собой вполне боеспособные группы гитлеровцев, наносивших нам много вреда.

От Вислы вплоть до Познани наша танковая бригада, батальоны и разведрота ни разу не испытывали перебоя в снабжении, пока мы не достигли старой германо-польской границы, где разведчики другой танковой бригады, побывавшие в этом месте раньше нас, установили грубое бревно с фанерной табличкой, на которой химическим карандашом написали: «Вот оно — логово фашистского зверья!» Именно в этом самом месте нам довелось остановиться на «вынужденный простой» в ожидании горючего и боеприпасов. После Лодзи проблема с продовольствием нас больше «не колыхала», как говорил мой мехвод Иван Чуев. В каждой тридцатьчетверке, как правило, были в наличии: канистра немецкого 70-градусного свекольного спирта, целый копченый окорок (из чердаков поместий бежавших от нас немецких бауэров), коробка немецких галет, три-четыре банки консервов «Молодые поросята» (они стали такими популярными, что банку можно было обменять у пехоты на ручные часы), коробки гаванских сигар от Салазара. Кроме того, были у нас сухие «микояновские» пайки: миниатюрные куски сухой, как камень, колбасы и брикеты нашего родного «кондёра».

Утром на второй или третий день нашего вынужденного простоя в районе германо-польской границы мой новый командир орудия, старший сержант Илья Щур решил полакомиться брикетом «кондёра» и горячим чаем. Разжег костер и стал варить кашу в алюминиевом котел-

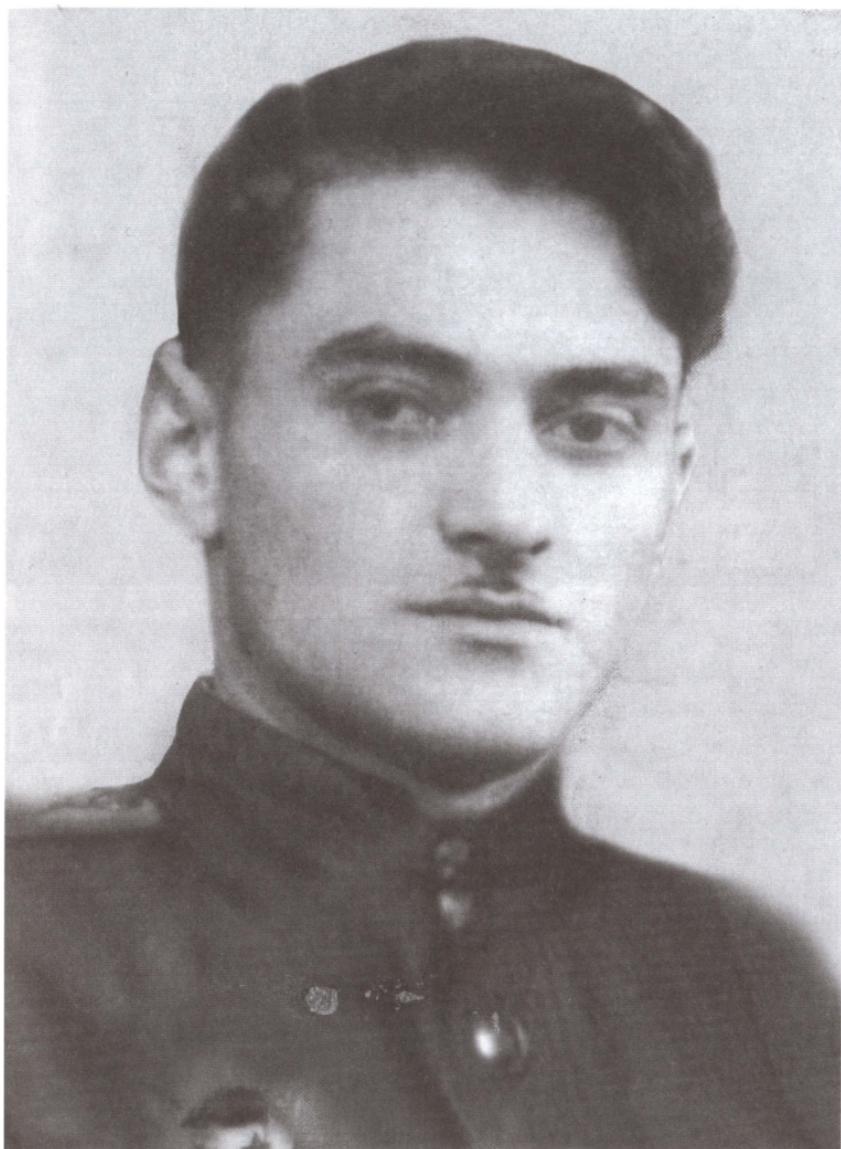
ке. Да и то верно: горячее питание никогда не лишнее... Через минуту-другую ему для костра понадобилось еще немного дровишек, и он, отойдя на небольшое расстояние, стал разгребать снег палкой. Как вдруг раздался взрыв. Я увидел, что Илья лежит на снегу скорчившись. Оказалось: наступил (или затронул палкой) противопехотную мину, она взорвалась. Илье разворотило правую ногу от ступни и чуть ли не до самого колена. Рана выглядела жутко, из нее хлестала кровь. Нужен был жгут. Но ничего лучшего, чем тонкий ремень от моего трофейного немецкого планшета, у нас под руками не оказалось. Кровь остановили с помощью этого ремешка. Собрали все, имевшиеся в танке, санпакеты, облили рану спиртом и, как смогли, перевязали. Илья лежал без сознания. Было бы в танке горячее, я мог бы отвезти его на броне в ближайший медпункт, как меня когда-то под Курском ребята отвезли в полевой госпиталь. Но горячего во всех трех танках нашего взвода не было. А полевые госпитали и санбаты не успевали передвигаться поближе к переднему краю. Правда, умные начсанкоры и начсанармы выдвигали поближе к передовой небольшие мобильные пункты медицинской и хирургической помощи — ПМХП. Один такой пункт мы видели северо-западнее Калиша. Рискнем?

Шустрый Иван Чуев где-то у обочины дороги узрел лежавший вверх колесами немецкий мотоцикл с коляской и рядом два трупа немецких мотоциклистов. Чуев поставил мотоцикл на колеса, проверил бензобак. Завел! Мотоцикл затарахтел. Мы уложили в коляску по-прежнему не приходившего в сознание Илью.

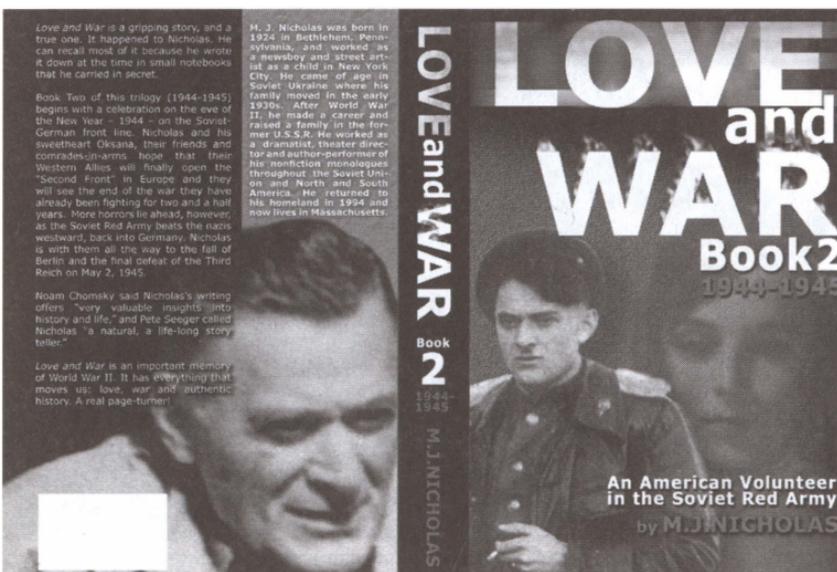
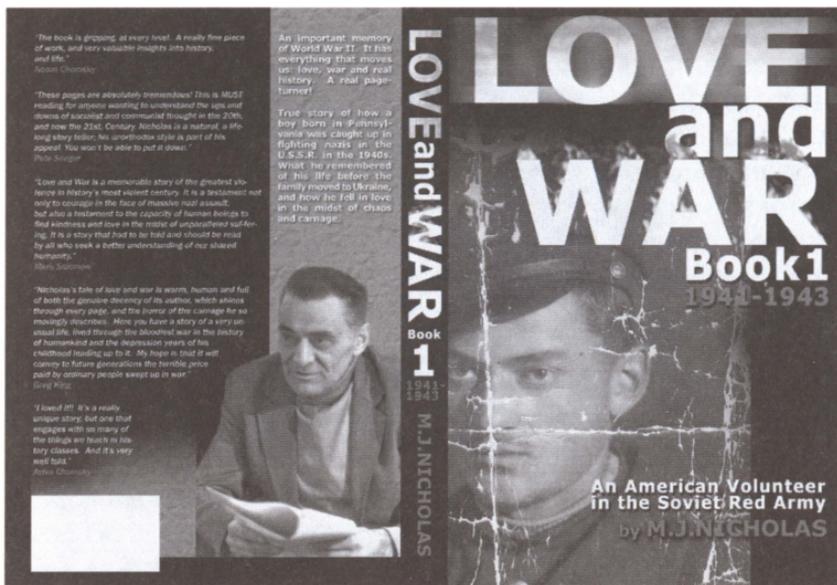
— Кто повезет? — спрашиваю у взводного Николая Долина. Тот задумался. Я продолжил: — В госпитале я немного научился польскому языку. Могу спросить у местного населения о госпитале. Значит, везти мне! — заявил я. — Час туда и час назад.

— Давай! — согласился Долин.

(Тогда было недосуг, но позже я рассказал своим товарищам, что симпатичные польские медсестрички научили меня читать на память католическую «Молитву Паньску».)



Никлас Бурлак. 1945 г.



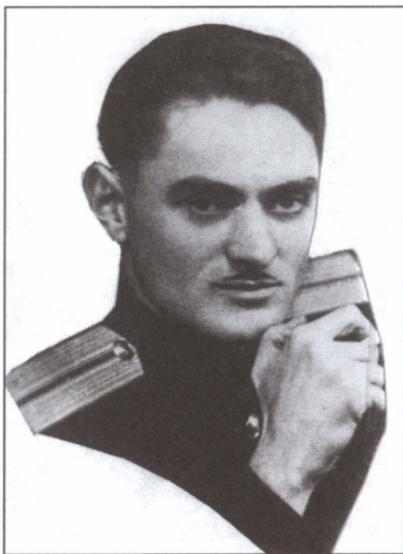
Обложка американского издания воспоминаний о Великой Отечественной войне Н. Бурлака (опубликованы под псевдонимом М.Дж. Никлас), вышедших в двух книгах в 2010–2013 гг. под общим названием «Любовь и война»



Никлас Бурлак. Ньютон, США, 2012 г.



Отреставрированная фотография, сделанная перед поступлением в военную спецшколу № 3 в Москве в августе 1942 г. Эта фотография вернулась к автору, вся исцарапанная, сорок лет спустя, с надписью на обороте: «Убит в августе 1943 г. под Киевом»



Автор книги. 1946 г.



Будущая супруга автора Алла



Автор со своей женой Аллой Николаевной в день свадьбы. 17 октября 1947 г., Берлин



«Принцесса Оксана». Северо-западнее Бобруйска. Июнь 1944 г.
Рисунки автора



«Советская Дина Дурбин» — так Никлас назвал Оксану, еще не зная ее настоящего имени. Украина Курска, апрель 1943 г.



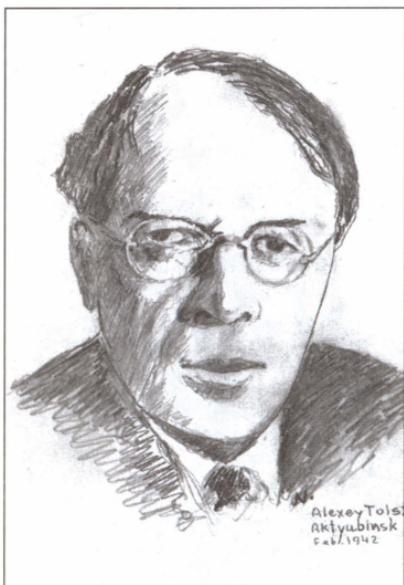
Американская кинозвезда Дина Дурбин. На нее была поразительно похожа возлюбленная автора «Принцесса Оксана»



Майор Жихарев. Март 1945 г.
Рисунок автора



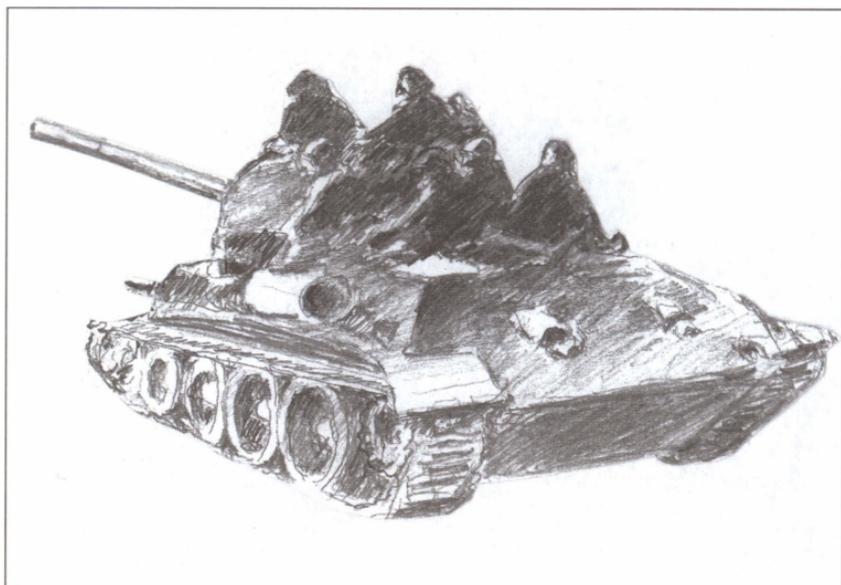
Полковник Костин. 4 апреля 1945 г.
Рисунок автора



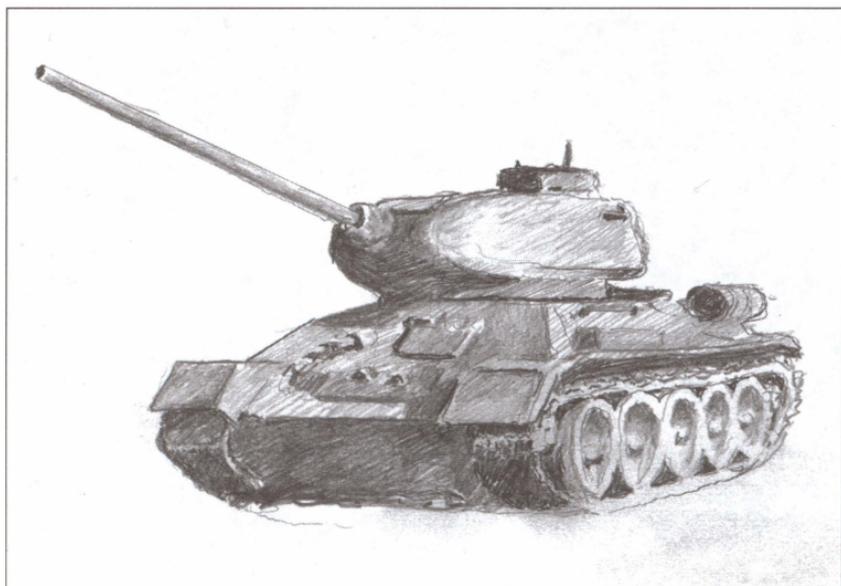
Алексей Толстой. Актюбинск,
февраль 1942 г. Рисунок автора



Спасенный американский летчик
капитан Ричард О'Брайан.
Померания, март 1945 г.
Рисунок автора



Тридцатьчетверка с десантом на броне. Рисунок автора



Т-34-85, на котором воевал Никлас Бурлак



Никлас Бурлак. 2012 г.

Я надеялся найти ПМХП где-то на расстоянии 25—30 километров от нас, это заняло бы не более полутора или двух часов. Но ехать пришлось не 30 и даже не 60, а почти 90 километров, пока я не увидел на дороге указатель «ПМХП». Стрелка показывала в лес, находившийся в километре от шоссе. Проехал туда. Нашел пункт: брезентовая палатка. Возле палатки — шесть носилок с ранеными. Они уже все с забинтованными руками, ногами, головами. Возле них возятся трое санитаров. Через пластиковое окошко в палатке виден склонившийся над операционным столом хирург и две медсестры. Одна подает врачу инструменты, другая стоит поблизости с бинтами. Санитар принес носилки. Из коляски мотоцикла на носилки аккуратно Илью переложили, перенесли поближе к палатке. Значит, его прооперируют после того, кто сейчас лежит на операционном столе.

— Его щас примут, — сказал мне один из санитаров.

Я увидел невдалеке от палатки желтый немецкий автобус с окнами, изрешеченными пулями; передние колеса спущены. Подошел поближе. Двери раскрыты настежь. В автобусе два немецких трупа. Один, видимо водитель, лежит рядом с сиденьем, во лбу — пулевое отверстие. В лобовом стекле — тоже пулевая дыра: наверняка стрелял снайпер. Второй труп — в форме фельдфебеля пехоты — у того пулевая пробоина у виска. Оружия рядом не видать. Значит, не сам застрелился. Пока я осматривал автобус, из палатки вытащили на носилках того раненого, которого только что прооперировали, и настала очередь укладывать Илью под нож хирурга. Я тем временем решил проверить, заведется ли автобус. Повернул ключ зажигания, мотор заурчал. Значит, водитель заглушил двигатель до смертельного выстрела. Из палатки выглянула перепуганная медсестра, я выключил зажигание, мотор заглох. Через разбитое окно помахал медсестре: не волнуйтесь, мол, все в порядке. Она позвала одного из санитаров, что-то стала говорить ему, я услышал «ампутация». Как высоко будут ампутировать Илье правую ногу? Наверное, это решит хирург уже в ходе самой операции.

— Отвоевался, сердешный, — услышал я слова второго санитаря.

Я позвал его, потом еще двух санитаров, чтобы помогли мне отцепить от мотоцикла коляску. В ней оказалось полно крови Ильи. Видно, жгут у нас получился все же плохим. В это время из лесу прибежал еще один санитар с приспущенными штанами. Он их придерживал руками и орал:

— Фрицы! Там фрицы с автоматами! Не успел опраться, они идут, что-то на земле высматривают.

Я понял, что произошло. Пошедший в лес по большой нужде санитар наткнулся на один из тех немецких «карманов», которые оставались еще не зачищенными. Встреча с ними ничего хорошего не предвещала. У санитаров есть винтовки. У хирурга, возможно, есть пистолет. У меня — наган. У санитарок вряд ли есть оружие.

Я подошел к испуганному санитару и сказал:

— Не орите! Как далеко отсюда фрицы?

— Метров триста!

— Винтовка есть?

— У нас их всего четыре. И все.

— Сколько фрицев?

— Десятка два будет.

Из палатки вышел хирург:

— Что происходит?

— Немцы вблизи! — отвечаю. — Беру команду на себя! Всех раненых в автобус. Быстро! Быстро!

— У него же спущенные передние! — говорит хирург.

— Плевать! Поедем на спущенных! Палатку бросаем! Давайте сюда моего Илью.

— Он там на столе, — говорит мне хирург. — Его бинтуют!

Я вбежал в палатку, подхватил на руки Илью и понес его в автобус. Следом за мной бежит медсестра и продолжает бинтовать на ходу. Хирург вместе со второй медсестрой помогают санитарам. Ору из окна автобуса:

— Винтовки! Возьмите винтовки!

Через минуту завел мотор, включил первую скорость. Автобус тронулся с места и медленно пошел вперед. Хирург, медсестры и два санитар придерживают на полу носилки с ранеными. Другие двое санитаров выставили свои винтовки в разбитые окна. Переключаю скорость на

вторую. Автобус пошел чуть быстрее. Руль плохо слушается из-за спущенных передних колес, но движемся к опушке. Через три-четыре минуты я увидел шоссе, значит, еще километр.

Кричу хирургу:

— Вам лучше прыгнуть и бежать к шоссе, чтобы нас оттуда свои не вздумали шарахнуть! Автобус-то немецкий.

Хирург лет на пять старше меня, но без разговора встает и, подойдя к раскрытой двери, смотрит на меня и произносит:

— Мерси боку, танкист.

На что я успел ему крикнуть:

— Сель ву пле, хирург!

Он побежал в направлении шоссе, то и дело оглядываясь. Я на автобусе следовал за ним. Перед выездом на шоссе позади автобуса слышались немецкие автоматные очереди. Санитары выстрелили в ответ. Выйти из лесу фрицы не посмели: по шоссе к передовой двигалось много машин. Над головами летели наши штурмовики, охранявшие эшелоны.

Я остановил автобус. Подошел к Илье. Через бинты на ноге сочилась кровь. Сестра виновато посмотрела на меня.

— Жгут! — сказал я. — Нужен жгут!

Вторая медсестра сняла свой окровавленный халат и оторвала от него несколько полос. Я тем временем снял с руки часы и надел их на руку Илье. Прикрыл часы рукавом. Авось не снимут, подумал я и вышел из автобуса.

— Как прошла ампутация? — спросил я хирурга.

— Сохранили ему коленный сустав.

— Мерси боку! — произнес я. — Здесь могут проезжать с переднего края санитарные. Вам лучше дождаться их. А мне пора на передок. Au revoir! (Прощайте.)

— Тоi aussi (вам тоже), танкист!

Мне повезло. «Студебеккер» с боеприпасами направляется прямо в нашу бригаду. Шофер поначалу был насторожен. Я назвал ему фамилию Жихарев и добавил: «Разведка».

Услышав от меня фамилию подполковника Жихарева, водитель смягчился, по-доброму улыбнулся.

— Садись! — сказал он. — Они уже за старую границу проскочили.

— Это то, что мне нужно! — заявил я и принялся рассказывать водителю о том, что приключилось с моим Ильей.

— Они бы вам всем устроили хакакири. Никого бы в живых не осталось! — бросил реплику шофер.

— Вполне возможно. Им терять теперь нечего.

— Молодец! — заметил водитель.

— Кто? — не понял я.

— Ты!

— Служба!

— Не скажи...

Через час шоссе для нас закончилось. Водитель поехал по широкому следу, оставленному траками наших тридцатьчетверок. Они были видны километра три, потом их замело снегом. Начало темнеть. Конец января... Водитель остановил машину и безапелляционно заявил:

— Перекур с дремотой. Дальше так ехать нельзя. Опасно. Можем наткнуться.

Закурили, поговорили. А потом водитель сладко захрапел. Я же решил немного размяться и пройтись по снегу, полепить и побросать снежки, как когда-то в детстве в Бетлехеме.

(Да и само мое появление на свет тоже связано — да, да, со снежками!.. Помню, как старший брат Майк рассказывал мне:

— У нас, Никлас, шел жестокий бой со снежками: наша Восьмая улица в Бетлехеме сражалась против Четвертой. Вдруг из нашего дома выскакивает Джон и орет своим писклявым голосом: «Майк! Майк! Остановите бой! У нас только что еще один братишка появился! Пап мне сказал, что его будут звать Никласом. Ты понял, Майк?!»)

У меня на пути оказалась табличка, на которой было написано по-немецки «BAAL». Стрелка указывала туда, где, как мне показалось, мерцал тусклый свет. Я осторож-

но, боясь наткнуться на мину и повторить судьбу Ильи, направился в ту сторону.

Вдруг я услышал:

— Стой! Кто идет?

— Свои! — ответил я и добавил: — Рота Жихарева.

— Подойди!

Я подошел ближе к часовому и увидел силуэты двух тридцатьчетверок.

— Бригада Кузнецова? — спросил я.

— А ты? — ответили мне вопросом на вопрос.

— Сергеева, — сказал я.

— А мы кузнецовские.

— Экипажи спят?

— Бухарики бухают. Напропалую бухают.

— Где?

— В доме, — сказал часовой. — Не видишь?

Только после того, как он сказал «В доме», я обратил внимание на слабый свет, пробивавшийся сквозь плотно зашторенные окна дома, из которого доносились чуть слышимые голоса.

— Ты из Донбасса? — спросил я часового.

— Точно. Из Сталино я. А ты как узнал, что я из Донбасса? — удивился часовой.

— Я сам из Макеевки. Только у нас на Донбассе можно услышать такое: «Бухарики бухают». Больше нигде не слышал, — сказал часовому.

— Земляки, значит! — обрадовался тот. — Ты заходи в дом. Тебе там бухнуть дадут. Немецкий спирт. Крепкий — ужас! Нашего старшого Игорем зовут.

— Спасибо, земляк. Зайду погреться, — поблагодарил я и вошел в дом. А в доме — дым сигарный и восемь пьяных танкистов. Старший лейтенант, командир танкового взвода по имени Игорь сидел в огромном мягком кресле в широко распахнутой гимнастерке, без ремня, с сигарой в зубах и основательно пьяный. Увидев меня, спросил заплетающимся языком:

— Ты откуда взялся, танкист?

— Из роты подполковника Жихарева. Слышал?

— А-а, разведка, значит. Чего случилось?

— Моему командиру орудия миной полноги оторвало. Отвез его в медпункт. Возвращаюсь в роту на попутной.

— Наш человек! Леха, налей ему полную пивную бо-
дяду спирта для сугрева. А когда Федул закончит, гостя
вне очереди пропустим. Ты меня понял, Леха?

— Понял, старлей, понял! «Наливаем спирту, пьем
и немчурочек е...м!» — пропел пьяным голосом Леха и,
подав мне спирт в немецкой пивной кружке, сказал:
— Ногу копченого кабана видишь? Режь сколько твоей
душе угодно и загрызай.

— Зашнуруй ее до дна, разведчик! Пей! Мы завтра бе-
рем эту гребаную Бааль и вперед на Одер! — произнес
пьяный старлей Игорь, пытаясь от фитиля маленькой за-
жигалки прикурить сигару.

Леха в это время подошел к двери, ведущей в другую
комнату, начал стучать и громко вопрошать:

— Ты что там, Федул, на девке уснул? Кончай дрых-
нуть и выходи! Народ ждет!

Я воспользовался моментом, когда все отвлеклись, и
незаметно вылил почти всю кружку спирта на ковер под
стол. Оставил на донышке глоток — не больше. Демон-
стративно долго подержал кружку возле рта вверх дном и
затем молодецки ударил ее об стол. Удар получился та-
ким сильным, что кружка разлетелась вдребезги.

— Вот это да! — восхитился Леха.

— Питок! — вскрикнул удивленный старлей. — Моло-
дец! — добавил он. — Мы тебя за это пропускаем без оче-
реди к бывшей немецкой целке. Мы уже по кругу про-
шли. Федул последний. Теперь ты, а после тебя пойдем
по второму кругу.

Дверь, в которую стучал Леха, наконец раскрылась. Из
совершенно темной комнаты вышел старшина в гимна-
стерке без пояса, с широко расстегнутой ширинкой. Он
обвел комнату осоловелыми глазами и направился к ка-
нистре со спиртом. Была бы у меня толовая шашка с за-
палом, подложил бы ее под весь этот дом. А потом мель-
кнула мысль: «Жива ли там эта немецкая девчонка?»

— Ну что же ты, разведчик? Иди! Иди! — подзадори-
вала меня пьяная компания.

И я вошел в темную комнату. Закрыл за собой дверь. Окно в комнате было не зашторено, слабый свет пробивался в окно. Воздух в комнате был спертый, вонючим. Я попробовал приоткрыть окно, сдвинул два шпингалета вверху и внизу рамы. Окно открылось. Можно было вдохнуть чистого воздуха.

Подошел к кровати, где лежала девчонка в высоко задранный ночной рубашке. Ноги ее были широко раскинуты. Видно, у девчонки уже не было сил свернуться калачиком или повернуться на бок и укрыться одеялом. Я сел на край кровати и спросил ее тихо по-немецки:

— Ты меня слышишь?

— Да, — ответила она, с трудом шевеля губами.

— Встать с кровати сможешь?

— Не знаю... — Голос ее был очень слабым.

— Попробуй! — сказал я и помог ей встать.

Она встала. На пол откуда-то упал какой-то тяжелый предмет. Я его поднял. Оказалось, это обоюдоострый кортик... Подумал: немка хотела или себе горло перерезать, или одному из своих насильников.

— Зачем это? — спросил я.

— Не знаю! Не знаю! — захныкала девчонка.

У меня мгновенно созрело решение. И я ей велел приказным тоном:

— Бери одеяло и обмотайся им!

Она не спросила зачем. Я подвел ее к окошку, распахнул его настежь и сказал:

— Не бойся! Спрыгнешь и побежишь к ближайшему дому. Они за тобой не погонятся, я задержу их. Поняла?

Немка затравленно кивнула.

Я посадил девчонку на подоконник и еще раз спросил:

— Все поняла?

— Да! — простонала она.

— Прыгай!

— Не могу, — снова простонала.

Я ее легонько подтолкнул в спину, и она упала в снег под окном. Я испугался, подумал: что-то сломала себе. Но через минуту она поднялась, обернулась одеялом и, босая, побежала прочь от дома. Я вынул наган и выстре-

лил в окно. Тут же влетели старлей Игорь, Леха, Федул и двое картежников.

— Что? Что? Что случилось, разведчик?

— Она хотела ударить вот этим кортиком в спину. Но удара не получилось, она выпрыгнула в окно. Я выстрелил в нее. Где-то там лежит...

Сволочная компания заготовила отвратительными пьяными голосами. Я подумал: наверно, так именно гоготали эсэсовские палачи, когда в Малом Тростинце насильовали и сразу после этого расстреливали свои жертвы... Но ведь то эсэсовцы, а это — советские воины!..

— П-предлагаю... предлагаю выпить за упокой ее души! — воскликнул старлей Игорь, и все вернулись в большую комнату.

На этот раз я выпил не один, а несколько глотков немецкого спирта. Упал в кресло и, чуть поворочавшись, изобразил, будто уснул. А на самом деле мучительно обдумывал: смогу ли я рассказать все о войне своей маме — правоверной католичке? Что бы сказала мне обо всем этом моя незабвенная Оксана, если бы она была жива и я ей поведал эту неприятную историю? Что я расскажу своей дорогой сестре Энн в Бостоне, когда вернусь на родину, в мою Америку?

Пьяная компания еще немного пошумела и, по-видимому, уснула. И я от усталости и после спирта тоже уснул.

Проснулся я от страшного грохота снаружи дома. Я выбежал из дому. Тридцатьчетверок и след простыл...

А примерно в полукилометре я увидел на улице между домами немецкого городишки под названием Бааль то, что остается от тридцатьчетверок и их экипажей, если в них попадают фаустпатроны...

Если бы у меня после всего этого спросили, есть ли Бог на свете, я бы, наверное, ответил: «Да, наверное, есть!»

23 февраля 1945 года **Померания**

В конце первой недели февраля комроты подполковник Жихарев рассказал нам о чрезвычайно важном результате наступления 1-го Белорусского фронта на левом

фланге. За первые три дня февраля, сказал он, 8-я гвардейская армия под командой генерала Чуйкова, 5-я ударная армия под командой генерала Берзарина, при участии 2-й гвардейской танковой армии под командованием генерала Богданова, захватили плацдармы на западном берегу реки Одер к северу и югу от прусского города-крепости Кюстрина и к северу от города Франкфурта-на-Одере. Это значит, сказал Жихарев, что теперь наш передний край находится всего в 70 километрах от Берлина.

Тем временем, продолжал Жихарев, на нашем правом фланге в Померании противник намеревается мощной группой армий «Висла», под командованием рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера, нанести нашему фронту удар в спину, окружить, взять в огромный котел и уничтожить. Поэтому пять общевойсковых армий, включая 1-ю армию Войска польского, две гвардейские танковые армии, два отдельных танковых и один кавалерийский корпус 1-го Белорусского фронта разворачиваются на север, чтобы вместе со 2-м Белорусским фронтом рассечь и полностью уничтожить немецкую группу армий «Висла».

— Задача нашей роты, — напоминал Жихарев, — остается прежней: идти по тылам противника и, не ввязываясь в бои с превосходящими силами, вести разведку и сеять панику в тылу противника. Командиры взводов выходят со мной на радиосвязь ежедневно в 5.00, в 12.00 и в 23.00 по московскому времени. Все ясно?..

Это произошло во второй половине февраля, когда войска левого крыла 1-го Белорусского фронта на западном берегу Одера в жестоких боях с противником метр за метром расширяли плацдармы в районе Кюстрина и Франкфурта, а на севере, в Померании, наши войска, прорывая Померанский вал и Мезерицкий укрепрайон, перешли в решительное наступление. Наш танковый разведвзвод, выполняя поставленную перед нами задачу, вел разведку местности в районе, примыкающем к немецкому городишке Черникау. Мы двигались по узкой дороге, ведущей к городу. Николай Долин шел первым, я следовал за ним, за мной шел Борис. На броне у нас

по 7—8 десантников-автоматчиков внимательно следили за дорогой, стараясь не проморгать опорный пункт противника или фаустника. О внимательности напоминать им было делом лишним, они не раз видели, что бывает с танком, танкистами и десанниками-автоматчиками, если в машину попадает фаустпатрон. Вопрос простой: кто кого прикончит первым. На войне как на войне.

Танк Николая Долина вдруг пошел юзом. Десантники с трудом удержались на броне. Я и Борис тормозим наш танк. Да, что-то случилось впереди. Выясняется: у Долина перед танком вдруг откуда ни возьмись оказался старик немец. До меня доносится то, что ему на полунемецком-полурусском языке орет Николай:

— Du alter, мудака, ganz, ох...ел, что ли? Sie wollen mich von Ihnen сделал бифштекс?

В ответ старик Николаю бормочет что-то странное. Николай не понимает. Зовет меня. Я выбираюсь из машины, подхожу к старику, спрашиваю по-немецки:

— Bitte sagen Sie mir, was ist los, alter Mann? (Скажите мне, пожалуйста, старик, в чем дело? Was willst du? (Что вам нужно?)

— Sie sowjetische? (Вы советские?)

— Sowjetische? — подтверждаю ему в ответ.

— Ich bin 20 Jahre der kommunistischen. Bitte geben Sie mir Rauchen. (Я двадцать лет коммунист. Дайте, пожалуйста, закурить.)

— Чего он там бормочет, Никлас? — спрашивает меня комвзвода.

— Утверждает, что он двадцать лет коммунист, и просит закурить, — перевел я.

Взводный рассмеялся, вынул из нагрудного кармана сигару.

— Если он коммунист — держи! — Взводный бросил мне сигару, и я ее вручил старику. Он тут же откусил ее с конца и попросил огня. Экий шустрый коммунист, подумал я.

Жадно затянувшись, старик пошатнулся и, чтобы не упасть, облокотился о танк. Мы с Долиным и его мехводом смотрим на старика и смеемся. Старик, видно, давно не курил, и эта затяжка вскружила ему голову.

Позади старика был Т-образный перекресток. Прямо в 2—3 километрах от нас виднелся немецкий населенный пункт. Дорога, уходящая от перекрестка направо, вела в лес. Мы с тревогой посмотрели туда: нет ли там опорного пункта или фаустников?

— Weiß du was? Vor einer halben Stunde auf der Straße, die nach rechts in den Wald fuhr ein großes Auto mit bewaffneten SS-Truppen führt, müssen sie in das Lager rasstroelivat gegangen militärischen Gefangenen, — сказал старик.

Я перевел сказанное взводному и его мехводу:

— Знаете? Полчаса тому назад по дороге, что ведет направо в лес, проехала большая машина с вооруженными эсэсовцами. Они, наверное, поехали в лагерь расстреливать военнопленных.

— Спроси его, откуда он знает, что в лесу лагерь военнопленных, и каких? — попросил меня комвзвода.

Я спросил. Старик ответил:

— Я осенью собирал в лесу грибы. Видел собственными глазами десятка два длинных бараков, окруженных двумя рядами колючей проволоки, и по окружности штук восемь сторожевых вышек с пулеметами. Во всей округе знают, что здесь, в лесу, большой лагерь, в котором содержат военнопленных американских и английских летчиков, сбитых над Германией во время бомбежек.

— Wie viele Kilometer von hier? (Сколько километров отсюда?) — спросил старика по-немецки наш комвзвода.

— Nicht mehr als 10 Kilometer. (Не больше десяти километров), — ответил старик.

— Zeige uns den Weg? (Дорогу нам покажешь?) — пытливо посмотрел на немца командир взвода.

— Zeigen Sie! (Покажу!) — ответил коммунист.

— Скажи ему, Никлас, если это провокация, — schie en Sie (расстреляю)! — сказал взводный.

Слово «провокация» старик понял без перевода и робко залепетал:

— Nein, nein, es ist nicht eine Provokation. (Нет-нет, это не провокация.) Vertrauen Sie mir! (Верьте мне!)

— Ну, что скажешь, Никлас? Рискнем? Твоих земляков освободим, если старик говорит нам правду.

— Риск — благородное дело, взводный, — ответил я и тут же представил себе, что в этом лагере вполне может оказаться кто-то из моих кузенов или кто-то из моих одноклассников по Бетлехему или по Нью-Йорку.

Взводный Николай Долин подумал минуту и произнес:

— Э-эх, была не была, рискнем. Может, их на самом деле собираются расстреливать. Подсади этого коммуниста, Никлас, ко мне на танк. Я его усажу рядом с пушкой.

Так мы и сделали. Николай взял деда за шкуру, как былинку поднял и усадил рядом со своей пушкой. Десанту автоматчиков крикнул: «Смотреть в оба!»

И три наших танка — Николая, мой и Бориса — сделали резкий правый поворот, в наушниках моего танкошлема зазвучал голос Николая Долина:

...И пошел, командою взметен,
По земле немецко-померанской
Броневой, ударный батальон!..

— Это он переделал песню из фильма «Трактористы», — произнес Иван Чуев. — Отчаянный человек наш комвзвода!

Чуев был прав: Николай Долин действительно не любил сидеть на командирском месте в танке, закрыв люк. Нет! Ему нужен простор и широкий обзор местности и действия. И он, как и наш прежний комвзвода разведки Олег Милюшев, любил стоять, по пояс высунувшись из люка. Не показухи ради, нет! А для того, чтобы ободрить десантников-автоматчиков на броне. И всех нас, его подчиненных. Понятно: если командир делает так, то и нам с Борисом следовало вести себя соответственно...

По лесу мы мчались минут двадцать, пока не увидели лагерь. Эсэсовцы только-только успели выбраться из обтянутого брезентом грузовика и построиться в два ряда около одной из сторожевых вышек. Их командир, похоже, ведет инструктаж. Дед был точен: барачков в лагере — десятка два. Лагерь обнесен двумя рядами колючей проволоки. Высоких деревянных сторожевых вышек насчитали восемь...

В наушниках — команда взводного:

— Вышку с эсэсовцами — двумя осколочными и пулеметом — беру на себя! Никлас и Борис, берите остальные вышки. На каждую — по два осколочных. Десанты автоматчиков остаются на броне! Внимание! Заряжаем! Наводим!

Борис и я дублируем своим экипажам команды.

— Огонь!

Пленные, что до этого стояли и ходили по территории, побежали в бараки. Расправившись с эсэсовцами и вышками, мы прошлись танками по колючей проволоке. Взводный, прежде чем выбраться из своей машины, приказывает:

— Никлас и Борис, выбирайтесь из машин! Идем втроем на встречу с нашими союзниками!

Вошли в первый барак. Смотрим на нары. Никого. Где союзники? А союзники лежали на полу лицом вниз. Руки вытянуты вперед. Вроде бы лежа сдаются. Взводный смотрит на меня. Спрашивает:

— Что это значит, Никлас?

Я не знаю, что ответить, и громко говорю на английском:

— Hello guys! Get up! You are free!

— Что ты им сказал, Никлас? — спросил взводный.

— Сказал: «Привет, ребята! Вставайте! Вы свободны!»

— Почему же они не встают? — спрашивает взводный.

— Не могут, очевидно, прийти в себя от нашей пальбы.

— Скажи, что мы — Красная армия, — приказывает мне взводный.

Их на полу — человек двести—двести пятьдесят. Форма у всех американская, изрядно потрепанная. Значит, старик немец правильно нам сказал: «сбитые над Германией американские и английские летчики». Они приподняли головы. Смотрят на нас перепуганными глазами.

Я им снова ору по-английски:

— What is it? Didn't you hear what I said? Are you all frightened by our cannon and machine-gun fire? It wasn't against you guys, but against the German SS, who arrived here

on a truck and wanted to chase you all someplace else or... or perhaps to shoot you all.

— Что ты им сказал? — спрашивает взводный.

— Сказал: испугались канонады и пулеметных выстрелов? Мы стреляли не по вас, а по эсэсовцам, которые приехали на грузовике, чтобы вас погнать в другое место или... или — всех расстрелять.

Тут они позадирали головы. Смотрят на нас с удивлением. Никак не могут понять: кто мы такие и откуда взялись, свалились как снег на голову? Форму нашу они не видят: поверх нее на нас овечьи кожушки и темно-синие, замусоленные до ужаса комбинезоны. На головах — не пилотки, не фуражки и не каски, а черные танкошлемы без «серпасто-молоткастых» звездочек.

Один из лежавших поднялся: высокий, поджарый, самый старший, наверное, по возрасту, а может быть, и по званию. Спрашивает:

— Who are you?

— Who are we? We are the Soviet Red Army tank men, your Allies, — отвечаю я ему. (Кто мы? Мы советской Красной армии танкисты, ваши союзники.)

— But, where did you get your Pennsylvania accent?

Перевожу взводному:

— Спрашивает, откуда у меня пенсильванский выговор. Объяснить ему?

— Конечно. Почему нет? — говорит взводный.

И я объясняю сухопарому громко, так чтобы все мои земляки услышали, — по-английски с пенсильванским выговором:

— Я американец. Родился в Бетлехеме, штат Пенсильвания. В то время, когда фашистские агрессоры напали на СССР, я был на Украине и там услышал по радио президента Рузвельта, который сказал, что мы — народ Америки — должны опасаться не Советского Союза, а немецких нацистов. После того, что я услышал от Франклина Делано Рузвельта, я твердо решил сражаться с гитлеровскими фашистскими агрессорами. Особенно когда Америка объявила Германии войну. Но моя Америка была от меня далеко, а мой отец, активный антифашист, сказал мне: «Не важно, где ты будешь сражаться с фашиз-

мом, важно не сидеть сложа руки, а сражаться с врагами Соединенных Штатов и человечества». Так я стал добровольцем, и я здесь, перед вами, сэр, — американский доброволец в советской Красной армии!

— Хорошо сказал, — похвалил меня Долин, когда я перевел ему свой спич.

— Правильно, — согласился и Борис.

Освобожденные узники нас окружили, стали обнимать, хлопать по спине, жать руки, делиться с нами сигаретами «Кэмел» и «Лаки страйк», жевательными резинками и даже плитками шоколада.

— Ты смотри! — воскликнул удивленно Борис. — Им даже шоколад дают. А наших пленных в концлагерях до смерти голодом морят.

— Это Красный Крест старается, — заметил взводный Николай Долин.

— А еще есть у них Армия спасения, — добавил я.

Тем временем сухопарый американский военнопленный сказал мне:

— Я понял, что вы войсковые разведчики. А можете вы нам сказать, где сейчас находятся главные силы Красной армии и когда они достигнут этого участка Померании?

— Наши главные силы находятся примерно в десяти километрах отсюда и прибудут сюда со дня на день, — ответил взводный (я выполнял в этом разговоре роль переводчика).

— One more question, — произнес американец, теперь уже адресуя свой вопрос к Николаю. Он спросил: не думает ли старший лейтенант, что, когда его танки покинут лагерь, сюда могут снова нагрянуть немцы?

Взводный ответил:

— Могут. Но вам следует сейчас же направить ваших людей к вышке, где стоял грузовик немцев. Там много немецких автоматов и даже пулеметов.

Мы попрощались с союзниками, пожелали им счастливого возвращения в Америку и через полчаса были на перекрестке, где удивились сюрпризу: на перекрестке нас ждал, сидя с двумя автоматчиками в «Виллисе», наш замполит бригады — тот, что сменил на этом посту нашего любимца профессора Петровского.

— Почему вы отклонились от намеченного вам маршрута? — резким тоном спросил он взводного.

— Вот этот старик, — Долин показал на немецкого деда, — сказал нам, что в лагере сидят наши военнопленные союзники, что туда поехала машина с эсэсовцами, что они будут расстреливать американских и английских летчиков.

— Кто конкретно вам разрешил отклониться от маршрута?

— Наша совесть! — ответил взводный коротко и ясно.

— На этот вопрос вы нам ответите в военном трибунале! — сказал замполит.

— А ху-ху не хо-хо?! — рявкнул взбешенный Долин.

После этого «Виллис» замполита взревел мотором, сдвинулся с места, резко развернулся и поехал в обратную сторону. А Николай Долин дал старику еще одну сигару, и мы пошли на северо-запад по намеченному маршруту.

В наушниках наших танкошлемов снова послышался голос комвзвода:

Но разведка доложила точно,
И пошел, командую взметен...

Сразу скажу — до трибунала дело не дошло, перепалка между взводным и замполитом не получила своего развития, — вероятно, замполит, остыв, понял, что был резок, а главное — не прав по существу.

Рано утром нам доставили почту. Николай Долин получил письмо из Москвы от жены и шестилетней дочери.

— Вы послушайте, что мне дочурка пишет. Борис, прочти ты. У меня глаза мокрые...

Взводный передал письмо Борису, и тот прочел с выражением:

Дымкая папаха,
Красная звезда.
Это мой папашка —
Впереди всегда!

Мы все чуть не хором восхитились — «Здорово!».

Февраль 1945 года Цилиндры. «Дуэль»

В конце февраля нам в роту привезли награды: ордена, медали, грамоты. Николай Долин, относившийся к ним спокойно (как, кстати, и я), приказал не надевать их, «пока они не будут как следует обмыты». Что это значило, мы, конечно, догадывались. Но реальность превзошла все наши фантазии.

На территории Померании наш танковый взвод с десантниками оказался в каком-то старинном роскошном замке. Кто-то пустил «пулю» (так называли в то время байку, сплетню, слух), а может быть, вовсе и не «пулю», о том, что этот «замок» принадлежал тому самому маршалу Бернадоту, который вместе с Наполеоном шел на Москву в 1812 году. Не знаю, так ли это, и, как говорят украинцы: «За що купив, за то и продаю».

И еще одна просится цитата: «Дело было вечером, делать было нечего» — как-то раз мы скучали в ожидании подвоза солярки и снарядов. В центре первого этажа замка был большой зал с великолепным блестящим паркетным полом. Под потолком висела огромная хрустальная люстра, я таких никогда в жизни не видел ни в Америке, ни в СССР. Вдоль стен этой шикарной гостиной — полки с книгами в дорогих обложках. Но нам было не до книг. У нас появилась та самая возможность как следует обмыть ордена и медали. Нашли большую посудину, похожую на цинковое ведро, налили туда 70-градусного свекольного («бурячного», как его называли поляки) спирта, добытого в Лодзи на заводе, где его производили. Поместили на дно все ордена и медали (я тогда получил второй орден Красной звезды).

Но прежде чем приступить к обмыву, Иван Чуев втихоря притащил откуда-то со второго этажа то, что он нашел в комнатах на втором этаже, и решил показать Долину. Это были цилиндры, смокинги, манишки и еще какие-то причудалы.

— Сколько их там? — спросил Николай.

— Навалом! — ответил Чуев.

— Есть идея! — заговорщицки подмигнул Чуеву командир взвода. — Тащи все сюда! Чтобы наш обмыв был по-насто-

ящему торжественным, мы поверх комбинезонов наденем смокинги, фраки и цилиндры. Будем пить как настоящие джентльмены. Все ясно?

Чуев принес кучу аристократической одежды. Все мы, согласно приказу комвзвода, нарядились во фраки, смокинги, манишки, бабочки, напялили на головы цилиндры — и окружили посудину со спиртом. Когда все уже приготовились «принять на грудь» первую кружку, Николай попросил меня произнести торжественный тост на английском, чтобы это соответствовало нашему одеянию и богатой обстановке. Я нечто пафосное и красивое произнес по-английски. Все слушали внимательно, хотя ничего не понимали.

— Перевожу дословно речь, — сказал торжественно комвзвода, — которую только что произнес выдающийся представитель дружественного нам американского народа: «Так выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем за Рузвельта, выпьем и снова нальем!»

Вообще-то я ничего подобного не говорил, но возражать не стал. Тосту в переводе Николая Долина все поаплодировали и выпили по первой. Закусывали трофейными немецкими консервами «Молодые поросята» с галетами, потом задымили гаванскими сигарами «Ромео и Джульетта». После второй или третьей кружки Николай вдруг спросил меня:

— Ты можешь мне по-честному сказать, что ты в речи своей нам выдал?

На что я ему честно признался, что произнес слова шуточной песни, звучавшей в начале 30-х в Нью-Йорке. И перевел слово в слово:

— Пятнадцать веселых бродяг, мы — пятнадцать веселых бродяг; никогда не работаем, никогда не трудимся и веселимся, как только можем!

— И все?

— И все!

— А как же Сталин и Рузвельт?

— Так это же ты придумал, а не я...

В этот момент в зал вбежал наш часовой-десантник и заорал:

— Полундра! Немцы! Рядом!

Все, в чем были, оставив ордена и медали на дне ведра со спиртом, кинулись, с револьверами в руках, к танкам. Мехводам, стрелкам-радистам, командирам орудий и за-ряжающим пришлось цилиндры снять: в танке они не помещались. А три командира танков и автоматчики, за-прыгнув на броню, остались в цилиндрах и смокингах с бабочками. Завели моторы, выехали на дорогу, проехали несколько километров. Фрицев не было, возможно, раз-бежались. А может, часовому просто стало обидно, что мы гуляем вовсю, а он на посту...

Возвращаясь на рассвете к «замку» за орденами и ме-далями, мы встретили на дороге нескольких с виду семи-десятилетних стариков немцев на костылях. Они попро-сили у нас закурить и лишь после этого спросили, кто мы такие. Я им на полунемецком и полуанглийском (чтоб похоже было) ответил, что мы американцы. Они изумлен-но спросили:

— Как же вы оказались на Восточном фронте?

На что я им, указывая на небо, ответил:

— Parachute jump! (Прыжки с парашютом.) Verstehst du mich? (Поняли меня?)

— Ein Tank ist auch von dort? (А танки тоже оттуда?) — спросили они, указывая на небо.

— Yes, yes! — ответил я.

И мы уехали за орденами и медалями. В замке по по-воду этого события мы от души посмеялись. Чего только не бывало на фронте! Не только драмы и трагедии, но и комедии!

...Вскоре после этого случая нашего отважного и от-чаянного комвзвода Николая Долина не стало. Он пошел в танковую атаку первым. И, как всегда, наполовину вы-сунувшись из своего люка. Снайперская пуля пробила в самом центре ордена Боевого Красного Знамени. Борис заметил, что снайпер стрелял из островерхой немецкой кирхи. Борис снес полкирхи вместе со снайпером — од-ним бронебойным снарядом.

Но я не могу закончить рассказ об этом замечательном человеке, высоко чтившем человеческое достоинство и

честь офицера, не поведав читателю эпизод, имевший место буквально за несколько дней до гибели комвзвода. Признаться, я вначале сомневался, нужно ли рассказывать об этом, не бросит ли история «необычной дуэли» тень на память моего боевого товарища. И все же решил рассказать.

...Был холодный мартовский вечер. Тридцатьчетверка Николая Долина, шедшая первой в небольшой танковой колонне, неожиданно заглохла на мосту через канал и перекрыла движение остальным машинам. В это время к хвосту колонны подъехал на «Виллисе» никому не известный подполковник, сидевший за рулем. И стал на чем свет стоит материть танкистов. Они отмалчивались из-за уважения к званию и возрасту подполковника. Тогда тот решил проехать через кювет, в объезд танков, поближе к мосту.

Механику-водителю командирского танка никак не удавалось завести двигатель. Тогда Николай Долин решил, что надо стащить тридцатьчетверку на буксире. Он договорился с экипажем другого танка о помощи, потом вернулся на мост к своей тридцатьчетверке и поднялся на броню. В это время к мосту подъехал на «Виллисе» тот самый подполковник и грубо спросил у Николая:

— Это твой танк, раззява?

— Мой, — ответил, вскипая, но сдерживаясь, Николай.

— Что же ты, мать твою перемать, собрал такую колонну, танкист х...в, в рот тебя... такой-сякой? — ругался подполковник.

Сказать такое боевому командиру танкового взвода разведки, прошедшему сражения под Курском, Минском, на севере от Варшавы! Терпеть такое Долин не собирался и рывкнул в ответ:

— Слушай ты, жопа-подполковник, а не пошел бы ты... знаешь куда?!

Подполковник выхватил из кобуры ТТ и выстрелил в Николая. У того появилось обширное кровавое пятно у левого плеча. Долин, пережимая кровь в раненом месте, молча залез в танк через командирский люк, закрыл его над собой, медленно развернул башню — и шарахнул

осколочным по «Виллису» с подполковником. Я не видел и не слышал пистолетного выстрела. А вот пушечный — слышал. И, едва рассеялся дым, увидел в том месте, где была машина хама подполковника, исковерканные руль, колеса и заднее сиденье «Виллиса». Подполковник же разлетелся на множество кусков.

...Когда нашего комвзвода не стало, перевязывавший ему простреленную руку механик-водитель поведал нам, что произнес Николай после «дуэли» — никогда прежде такое он от него не слышал: «Умер Максим, ну и х... с ним. Положили его в гроб. Ну и мать его ё...».

От трибунала Николая Долина спасла его гибель в бою.

5 марта 1945 года

Спасение американского летчика

В ожидании горючего и боеприпасов мы оказались прямо напротив позиций противника. Расстояние между нами было метров четыреста, не больше; нейтральная или ничейная полоса померанской земли юго-западнее немецкого Штаргарда и юго-восточнее Альдама.

За время вынужденного простоя мы стали свидетелями нескольких воздушных боев в небе. Советские самолеты отчаянно сражались с немецкими — в основном с Me-109. Но такого боя в небе, как в тот день пополудни, мы никогда раньше не видели. Это, собственно, был не бой, а настоящая демонстрация высшего пилотажа. Но показал класс не советский и не немецкий самолет, а совершенно нам неизвестный. Мы за время войны увидели в небе все советские самолеты, включая присланные по ленд-лизу американские «Кобры». Но такого истребителя, как того, что преследовали два немецких мессера, — никогда раньше. Ребята — теперь, после гибели Николая Долина ставшие моими подчиненными (ротный назначил меня временно исполняющим обязанности комвзвода разведки), — стали гадать:

- Новый польский истребитель!
- Да ты что? Откуда?
- Чехословацкий!

— Ничего подобного — французский.

— Чей бы он ни был, а пилот в нем — настоящий ас, — сказал я ребятам. — Вы посмотрите, что он вытворяет. Я ничего подобного не видел. Может быть, за штурвалом сам Кожедуб?

Мессеры посылали в этот великолепный самолет пулеметные очереди, но он, почему-то не отвечая огнем, мастерски уходил от пуль преследователей: делал резкие повороты и развороты, уходы в «горку» и неожиданные пикеты. Просто чудо! Создавалось впечатление, что он с мессерами просто играет. Но вдруг, после очередной «горки», пилот направил машину прямо в лоб одному из двух мессеров. Они мчались навстречу друг другу. У нас перехватило дыхание. Прямо над нами должен был, казалось, раздаться колоссальной силы взрыв, но... в самую последнюю секунду немец не выдержал и ушел в «горку». Но тут же в хвост асу пристроился второй мессер и выпустил длинную пулеметную очередь. У неизвестного нам истребителя после этого появился черный хвост. Увидев его, два немецких мессера быстро покинули воздушное пространство над нами: боялись, наверное, что у них не хватит горючего дотянуть до своего аэродрома. А незнакомец не стал прыгать с парашютом, а пошел на посадку. Мы боялись, что он вот-вот взорвется. Но он дотянул до земли и посадил свой истребитель как раз на нейтральной полосе ближе к нам, чем к немецким позициям.

Пилот выскочил из кабины и побежал прочь от своего самолета: боялся, очевидно, что машина в любую секунду может взорваться.

Немцы вдруг открыли по бегущему пилоту пулеметный огонь, он упал... Убит или ранен?

Я крикнул Чуеву:

— Заводи и выезжай! Попробуем его спасти.

Чуеву повторять команду два раза не приходилось. Буквально через минуту он вывел из укрытия нашу тридцатьчетверку. Я вскочил на свое место и крикнул Чуеву:

— Вперед, Иван!

Через пару минут мы оказались возле лежавшего на земле с простреленной ногой пилота. Чуев поставил машину так, чтобы оградить пилота от автоматного и пуле-

метного огня немцев. Я спустился к десантному люку. Только так можно было втащить раненого в танк. Но, подталкивая пилота вверх, в руки сообразительного Чуева, я получил пулю в левое предплечье. И все же минут через пять мы уже были в укрытии на наших позициях. Ребята вытащили раненого пилота, разрезали ножом штанину и перевязали. То же сделали с моей рукой.

— Sprechen Sie Deutsch? (Вы говорите по-немецки?) — спросил пилота Борис.

Пилот пожал плечами. Покачал отрицательно головой.

— Sprechen Sie по-польску? — спросил его Чуев, надевшийся применить свой запас польского, который мы с ним обрели в госпитале, «беседуя» с молодыми местными санитарками, добровольно пришедшими в советский полевой госпиталь.

Пилот снова ничего не понял.

— Parlez-vous fran ais? — спросил лейтенант комвзвода автоматчиков Зернов.

Та же реакция.

Затем, увидев у наших автоматчиков на пилотках красные «серпасто-молоткастые» звездочки, неидентифицированный пилот, преодолевая боль в ноге, заулыбался и стал Чуеву — своему спасителю — показывать рукой на внутренний карман своей роскошной кожаной летной куртки с красивым отложным меховым воротником и повторять:

— Look here, look here!

— Ты смотри-ка, командир, он, кажется, шпрехает по-английски, — догадался Чуев.

— Посмотри, что там у него, Иван, — приказал я Чуеву.

Он вынул какой-то цветастый большой носовой платок из внутреннего кармана пилота.

— Разверни!

На одной стороне платка, к нашему всеобщему удивлению (и особенно к моему), оказался звездно-полосатый американский флаг. А на другой стороне крупными русскими печатными буквами было написано: «Я американский летчик. Прошу сообщить обо мне сведения в американскую военную миссию в Москве!»

У всех пораскрывались от удивления рты. А я, забыв про ноющую боль в левой руке, обрадованно выпалил ему град вопросов по-английски:

— Эй, приятель, ты на самом деле американский пилот? Как тебя зовут? Какое у тебя звание? Откуда ты родом?

Я перевел все это для ребят на русский.

Его ответ был по-военному четкий и вполне исчерпывающий:

— Я — капитан Ричард О'Брайн, командир звена истребителей «Мустанг П-51» в 8-м американском авиационном корпусе, который базируется в Великобритании. Родом из Челси, жил и работал в Бостоне, штат Массачусетс.

Он спросил о том, кто я. Я в двух словах рассказал о себе — о том, что я американец и что сейчас исполняю обязанности командира танкового взвода разведки.

— Командир, — воскликнул Иван Чуев, — вы же оба ранены. Вас же обоих надо срочно доставить в полевой госпиталь или медсанбат. Я вас на броне с ходу доставлю, на дороге я видел указатели в сторону Штаргарда.

— Борис, — сказал я. — Чуев правильно говорит. Садись в мою тридцатьчетверку за командира. А ребята могут нас обоих погрузить на трансмиссию, и поедем.

Потребовалось не более 45 минут, чтобы не только доставить нас с Ричардом в госпиталь, но и разыскать главного врача и растолковать ему, что к чему. Появились санитары с носилками, нас отнесли прямо в операционную комнату в огромном старинном здании, кажется немецкой школы.

Перед операциями нам по всем правилам сделали уколы противостолбнячной сыворотки. Хирург, по имени Степан Васильевич, оказался очень общительным и любознательным человеком. Он прежде всего решил нас успокоить.

— Ваши ранения, — сказал он мне с улыбкой, — не смертельно опасны. Через три недели сможете быть в строю.

Я это сразу перевел на английский Ричарду.

— Спасибо, док, — ответил я немного в американском стиле. — Но у нас есть важная проблема: о капитане Ри-

чарде мы обязаны как можно скорее сообщить в американскую военную миссию в Москве. Вы сможете в этом помочь?

— Сделаю все возможное. А о вас, Никлас, не надо сообщать в американскую военную миссию? — спросил он, опять-таки с улыбкой.

— Мне важнее всего поскорее вернуться в свою разведоту и успеть к атаке «Nach Berlin!», — ответил я.

— Вот как? Хорошо, — сказал Степан Васильевич. — Вас сейчас отнесут в палату. К вам придут и сделают вам обоим по кубику морфия в качестве обезболивающего. И вы сможете как следует отдохнуть и прийти в себя.

Хотя я заметил, что в госпитале полно раненых, нас поместили вдвоем в довольно просторной палате с отличными немецкими койками и тумбочками совсем не госпитального типа. Странно, но приятно.

Ногу моего земляка Ричарда поместили в шину, а мне сделали так называемый «пропеллер». Делать укол морфия пришла не одна медсестра, а целых три. Одна держала в руках шприц, другая — стерильный бинт, третья — какую-то плоскую посудинку. Я посмотрел на Ричарда. Он улыбнулся. Значит, все понял правильно: молодым женщинам было интересно взглянуть на живых американцев.

Несмотря на уколы морфия, я не мог уснуть, так как у меня к Ричарду была уйма вопросов, так же как и у него ко мне. Ведь в Бостоне жила моя старшая сестра Энн со своей семьей, и я к ней однажды ездил из Нью-Йорка. Она мне показала интересные исторические места, связанные с американской революционной Войной за независимость, а еще знаменитую тюрьму и окна камеры смертников, где сидели и были казнены на электрическом стуле Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти.

(Мог ли я тогда представить себе, что через 50 лет после их казни, 23 августа 1977 года, я со своим сыном Вадимом буду стоять на Бостон-Коммон в США и слушать решение губернатора штата Массачусетс Майкла Дукакиса о реабилитации Сакко и Ванцетти; процесс был признан необъективным и предвзятым. Неподалеку от нас с Вадимом стояли жена и сын Николы Сакко.)

Но вернемся в госпиталь, где готовят к операции двоих американцев: Ричарда и меня. ...Я спросил у Ричарда, какой танец в Америке теперь самый модный. Дело в том, что до войны я так любил танцевать, что после операции на позвоночнике в военно-полевом госпитале в сентябре 1943-го первым делом стал расспрашивать хирурга о том, смогу ли я танцевать. Хирург тогда рассмеялся и спросил меня — мол, все ли американцы такие смешные, как я: беспокоятся не о том, смогут ли они ходить после операции, а о своем участии в танцах!

— Джиттербаг — вот какой самый модный теперь танец, — стал рассказывать Ричард. — К нам в Англии на нашу базу 8-го авиакорпуса приходили девчонки. Они были без ума от этого танца. Как только смогу наступать на правую ногу, непременно покажу тебе его.

— А скажи мне честно, Ричард, — спросил я его, — бывали случаи, когда кого-то из этих девчонок — я имею в виду англичанок — изнасиловали?

— Бывали, и нередко, — ответил Ричард, — хотя мне этого не требовалось: те, что мне нравились, сами отдавались.

— С удовольствием?

— Это надо спросить у них, Никлас, — ответил, усмехнувшись, Ричард.

— А по пьянке групповые насилия были?

— Были, конечно, но я этому свидетелем не был... А в Красной армии как с этим делом? — спросил Ричард в свою очередь.

Я ему ответил честно:

— Бывает и то и другое...

На следующий день с утра к нам в палату пожаловал гость. Степан Васильевич предупредил нас, что гость — полковник и что он прибыл по вопросу сообщения о Ричарде в американскую военную миссию в Москву.

— Прекрасно! — сказал я и перевел эти слова Ричарду.

Его это обрадовало. Но когда гость вошел, я насторожился. Мне показалось, что его лицо мне знакомо. Его погон я не видел, так как он вошел к нам в белом халате.

Мучительно стал вспоминать... Вспомнил! Он был похож на того, который подошел перед Курской битвой к Рокоссовскому и сказал ему что-то обо мне. Да, очень похож. Но он это или не он, сказать точно я не мог.

— Доброе вам утро, дорогие наши господа союзники! — витиевато поприветствовал нас гость, улыбаясь.

Я перевел то, что он сказал, на английский. Ричард заулыбался и вежливо приветствовал полковника на английском.

— У меня сегодня вечером — сеанс связи с американской военной миссией в Москве. Я пришел, чтобы услышать от вас лично, — он наклонил голову в сторону Ричарда, — кто вы, откуда и как оказались у нас.

Я все это перевел, и Ричард точь-в-точь повторил то, что сказал о себе нам, когда мы его привезли на танке к нашему взводу разведки: звание, должность, имя, фамилию, самолет, на котором летел, и место службы — 8-й американский авиакорпус, базирующийся в Англии.

Полковник заулыбался. Его улыбки (и первая, и вторая), откровенно говоря, мне почему-то не понравились. Может быть, потому, что я все больше и больше приходил к мысли: это тот самый полковник, что был тогда в погонах с голубыми кантами.

Полковник вдруг сказал:

— Я где-то читал, что в американских школах чуть ли не с первого класса заставляют учеников произносить клятву американскому флагу. Это правда?

— Конечно, — ответил я и перевел вопрос для Ричарда.

Он тоже ответил:

— Да, сэр, это правда.

— И вы до сих пор ее помните? — спросил полковник.

— Конечно, — сказал Ричард, приложил правую руку к сердцу и произнес: — Я клянусь в верности моему флагу и республике, которую он символизирует: одной неделей нации со свободой и справедливостью для всех.

Не дождавшись моего перевода, полковник, не стирая с лица сладковатой улыбки, продолжал расспрашивать летчика:

— Говорят еще, что любой ребенок в Америке знает, кто был шестнадцатым президентом Америки и чуть ли не всю его биографию.

— Это тоже правда, сэр, — произнес Ричард. И как ни в чем не бывало стал рассказывать краткую биографию Линкольна...

Я переводил синхронно.

— Это очень интересно, очень интересно, — дважды повторил полковник. — Неужели вы и дату рождения президента Джорджа Вашингтона помните?

Услышав перевод, Ричард рассмеялся и совсем, как мне показалось, беззаботно ответил:

— Джордж Вашингтон родился 22 февраля 1732 года в Бридж-Крик, штат Виргиния. Он наш отец-основатель государства, как ваш Ленин, и главнокомандующий в Войне за независимость.

— Спасибо вам, капитан. Очень интересно вы рассказываете...

— Это наша история, сэр. Стыдно было бы ее не знать, сэр.

Как только он ушел, Ричард мне тут же рассказал, что в летной военной школе их учили: если подозреваете, что имеете дело с немецким шпионом, пробравшимся каким-то образом в Штаты, попросите его произнести клятву флагу и назвать дату рождения шестнадцатого президента Америки.

— Ты, Ричард, попал в десятку! Молодец! Ты все понял правильно, — сказал я ему.

И мы оба от души рассмеялись.

Потом я сказал ему:

— У меня к тебе вопросы совсем другого рода, Ричард.

— Буду рад ответить, — ответил он.

— Ты мне сказал, до армии жил и работал в Бостоне.

— Верно.

— А ты не ходил на митинги на Бостон-Коммон, если там выступали известные или, скажем так, популярные спикеры?

— Ходил. Особенно если там выступала молодая и красивая профсоюзная активистка по прозвищу Red Flame

(«Красное Пламя»). Она была очень эффектна внешне, словно голливудская актриса, но говорила серьезные и правильные вещи.

— А что ты знаешь о ней еще, кроме того, что она говорила серьезные и правильные вещи?

— Дай подумать... Знаешь, я в 30-х годах покупал иногда журнал Labor Defender («Защита труда»). И там однажды увидел на обложке ее портрет. И рядом с ее цветной фотографией — броский заголовок со словами «заключение», «смерти»... Меня, конечно, это заинтересовало, я тут же нашел нужную страницу и прочел следующее: Red Flame в Атланте, штат Джорджия, попыталась организовать профсоюз текстильщиков, в котором были бы на равных белые и черные американские рабочие. За это ее арестовали, обвинили в подготовке бунта против правительства штата Джорджия. И прокурор потребовал для нее электрического стула.

— Интересно, — сказала я Ричарду. — И что было потом?

— Через месяц ее выпустили до суда под залог пять тысяч долларов. По тем временам большие деньги. А дальше — в 1939 году Верховный суд США признал закон штата Джорджия, по которому ее обвиняли в организации бунта, неконституционным.

Мы с Ричардом провели в палате госпиталя три дня. Не знаю, как для него, но для меня это было, словно я все эти дни побывал на родине, в США. Потом за моим земляком приехал тот самый «любопытный» полковник, чтобы отвезти Ричарда в 16-ю воздушную армию, для отправки в американскую военную миссию в Москву. На прощание я сказал летчику:

— Тебя с этим ранением наверняка отправят из Москвы прямо в Америку. Ты будешь там через неделю-другую. А я — неизвестно когда. У меня к тебе огромной важности просьба!

— Проси! Любую твою просьбу выполню!

— Любую?

— Любую! — Он приложил правую руку к сердцу и негромко произнес: — I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to you Nicholas — my dear fellow countryman!

И я после этого ему сказал:

— Приедешь в Бостон, найди во что бы то ни стало ту самую Red Flame, о которой ты мне так много рассказывал. А потом расскажи ей, что ты со мной вместе лечился в одной палате советского полевого госпиталя, что я жив и в ближайшее время собираюсь принять участие в штурме Рейхстага или рейхсканцелярии.

— И все?

— Все!

— Ты думаешь, она тебя знает? — удивился Ричард.

— Знает, Ричард, знает! Дело в том, что Red Flame — моя родная сестра.

У Ричарда отпала челюсть от изумления...

...Я до 1960 года не был уверен на сто процентов, что полковник с окантованными синим погонами отправил Ричарда в Москву, а не в ГУЛАГ. Лишь в 1960 году я получил из Америки первое письмо от Энн. И в нем она написала, что в конце апреля ее разыскал капитан, который рассказал ей о нашей встрече на Советской земле.

31 марта 1945 года На Берлин!

В девять утра по московскому времени Степан Васильевич пришел ко мне в палату и объявил:

— Можете собираться, Никлас. Вас и еще троих танкистов из вашего корпуса выписываем и в 11.00 на госпитальной санитарной машине доставим в район Ландсберга. Там сейчас, как мне сообщили, расположен ваш танковый корпус. Надеюсь встретиться с вами в ближайший месяц-два у Рейхстага в Берлине.

— Спасибо, доктор, — ответил я Степану Васильевичу, — хорошее пожелание. Дай боже, чтобы ваше пожелание сбылось не в два, а в один ближайший месяц...

Мы тепло попрощались, и я, в одиночестве оставшись в палате, прежде всего позаботился о том, чтобы мой новый 84-страничный блокнотик помещался не во внутрен-

нем кармане нижней рубашки, а в более надежном месте. Я пришил под размер блокнота внутренний карман в кальсоны сзади, на том месте, где расположен задний карман галифе. А три карандаша, выпрошенные у секретаря-машинистки госпиталя, я разрезал пополам и поместил в левый карман гимнастерки.

Водитель-сержант санитарной машины по дороге из Штаргарда в леса восточнее Ландсберга решил похвастаться перед нами, четырьмя офицерами-танкистами, своей осведомленностью и долго и сбивчиво пересказывал сводки Информбюро. В частности, ссылаясь на Левитана, рассказал о том, что Мартин Борман — правая рука Гитлера по партийной линии — призвал всех граждан Третьего рейха идти на последние оборонительные рубежи...

В лесах под Ландсбергом мы увидели за сосновыми деревьями и маскировочными сетками множество новых танков Т-34-85, ИС, британских танков «Черчилль», американских «Шерманов», самоходных орудий, «Катюш», множество американских бронетранспортеров М3А1, части понтонных мостов, резиновые лодки. На броне техники виднелись надписи на русском, украинском, польском языках: «Москва—Сталинград—Берлин!», «Курск—Берлин», «До Берліну!», «Do Berlinu!».

Танкисты разведроты встретили меня как родного. А подполковник Жихарев при всех обнял и впервые трижды по-русски расцеловал, словно сына. Я обратил внимание на то, с каким усердием и энтузиазмом танкисты и простые десантники-автоматчики готовятся к «NACH BERLIN!» (стало модно тогда произносить это именно по-немецки). Рядовые солдаты-пехотинцы, танкисты, артиллеристы, саперы, офицеры и генералы, и я, американский доброволец в советской Красной, мечтали об одном: как можно скорее начать наше последнее и решительное наступление, чтобы в самом «логове фашистского зверья» взять в плен их фюрера.

Кстати, многие танкисты то ли по ошибке, то ли нарочито произносили не «фюрер», а «фюлер». Все мечтали

взять «фюлера» живьем, чтобы судить его каким-то особым, всемирным судом и приговорить к высшей мере. Я тоже считал, что он заслужил или казни на электрическом стуле, или повешения на Красной площади.

Жихарев, как ни странно, вызвал меня к себе совсем не по делу, а чтобы показать мне, видимо, очень дорогую для него фотокарточку, присланную ему дочерью-балериной. Показывая снимок, Жихарев назвал дочь Аллой Николаевной. И вот только тогда я узнал, что моего комроты зовут Николаем. Тогда я почему-то считал, что в русском языке нет имени Алла, а есть имя Александра и производные от него: Шура, Саша или Алла... На фотографии я увидел необыкновенно красивую, стройную девчонку-балерину фронтового или армейского ансамбля песни и пляски, лицо которой неуловимо было похоже на лицо отца — комроты.

1 апреля 1945 года

**Германия. Северо-восточнее Кюстрина
и северо-западнее Ландсберга**

На следующий день, который в Америке многие называют All Fool's day (День всех глупцов), то есть 1 апреля 1945 года, в моей фронтовой жизни произошло совершенно невероятное событие, которое иначе, чем судьбоносным, назвать невозможно! Из штаба 2-й гвардейской танковой армии к нам в роту неожиданно-негаданно приехали на американском «Виллисе» двое: гвардии подполковник — мужчина лет сорока пяти — и молодая женщина лет двадцати двух, гвардии старший лейтенант. Подполковник вызвал меня к себе в штабную землянку на этот раз с вещами. Это было так неожиданно, что я подумал сначала, что это какой-то розыгрыш: недаром ведь 1 апреля... Но приказ есть приказ, и я действительно явился к Жихареву «с вещами». У него в штабной землянке я и увидел тех высоких гостей из штаба 2-й гвардейской танковой армии. Они вручили Жихареву приказ, подписанный начальником штаба 2-й гвардейской танковой армии генерал-лейтенантом танковых войск Алексеем

Ивановичем Радзиевским. Когда я вошел в штабную землянку и, как положено, доложил о своем прибытии, комроты без разговора вручил мне документ и произнес коротко:

— Читай, Никлас!

Из написанного на листе бумаги я узнал, что меня переводят из танковой разведроты корпуса в разведуправление или отдел штаба 2-й гвардейской танковой армии на должность офицера разведки. Как на моем лице отразилось прочитанное — не знаю, в зеркало не смотрел. Но высокие гости широко заулыбались. Их улыбка меня не особенно обрадовала, так как я в этот момент подумал, что «гости», вполне возможно, были не из разведуправления, а из контрразведки, то есть из Смерша. Что же они надумали? Почему это назначение произошло перед Берлинской операцией? Лучше бы после, — я ведь могу сделать еще что-то полезное для победы над нашим общим врагом. И еще одна мысль пронеслась в моем мозгу: «Они решили, что, встретившись в Берлине с американскими войсками, я немедленно сбегу к ним. Ну и что? Разве я обладаю какими-то секретами? Глупо, очень глупо!»

Перед тем как сесть в «Виллис», я побежал в землянку моего танкового взвода, попрощаться с экипажем, с моим верным другом механиком-водителем Иваном Чуевым, командиром танка Борисом и его экипажем, а также с командиром взвода десантников-автоматчиков Леонидом Зерновым.

Жихарев крепко обнял меня, как сына, и шепнул на ухо:

— О своих блокнотах не волнуйся. Я их верну тебе в целостности и сохранности возле Рейхстага, если будем живы, Никлас... Годится? — спросил он громко.

— Так точно, товарищ подполковник! — ответил я.

Поездка из роты до штаба 2-й гвардейской танковой армии отняла у нас всего полтора часа. За рулем был не солдат, машину вел сам подполковник. В советской Красной армии я это увидел впервые. По дороге гвардии под-

полковник сообщил, что его гвардии старшего лейтенанта зовут Аной, фамилия ее Липко, она киевлянка.

— А подполковника, Ни-ко-лос, начальника агентурного отдела разведуправления, — сказала Ана Липко, — зовут Александром Ивановичем Андреенко. Мое имя Ана, — добавила она, — сокращенное от Марианы.

Я как можно деликатнее заметил ей, что меня звать не Ни-ко-лос, а Никлас.

Слава богу, что подполковник является не начальником контрразведывательного отдела, а агентурного, подумал я.

«Виллис» подкатил к странному немецкому особняку, похожему на небольшой замок. Андреенко и Липко сразу повели меня к начальнику разведуправления полковнику Костину. Он встал из-за стола, вышел мне навстречу, протянул руку и сказал:

— Вот вы, значит, какой — американский доброволец в советской Красной армии. О вас много рассказал мой одноклассник Николай Жихарев!

Так вот, оказывается, чья это работа! — понял я.

Значит, наш Батя знал, что должно было со мной произойти, но ни словом об этом не обмолвился. Чтобы не сглазить? Боялся, что не получится?

У Костина — мужественное лицо, широкая, добрая улыбка, живые, внимательные глаза. На груди — два ордена Боевого Красного Знамени и два ордена Красной Звезды. Он усадил меня за стол и сразу ввел меня в курс дела — коротко, четко и ясно.

— Вашим прямым начальником будет подполковник Андреенко. Он расскажет вам о круге ваших обязанностей. Старший лейтенант Ана Липко поможет вам ознакомиться с вашим новым назначением. Она у нас офицер разведки с хорошим боевым опытом. Ана в течение двух дней все, что надо, вам покажет и расскажет. О результатах своей ночной работы будете каждое утро докладывать подполковнику Андреенко. Все ясно?

— Так точно, товарищ гвардии полковник, — ответил я, встал и подумал, что одна эта маленькая реплика — «Все ясно?» выдает в нем одноклассника подполковника Жихарева. Под Курском, когда Жихарев спросил, кто из

нашего батальона новобранцев, прибывших из Фрунзенского райвоенкомата Москвы, согласен идти в разведку, я тогда впервые услышал от него эту реплику — «Все ясно?».

Костин снова встал и, пожимая мне крепко руку на прощание, спросил:

— Как он там?

Я догадался, что вопрос о Жихареве, и ответил:

— Нормально. Он мудрый, мужественный, строгий и человечный. Его называют «наш Батя».

Полковнику понравился мой ответ, он выразительно взглянул на Андреенку и на Ану Липко, как бы давая им понять: «Вот чего удостоился мой одноклассник от своих танкистов!»

Но почему же Костин взлетел так высоко, а наш Батя вместо того, чтобы командовать танковой бригадой, до сих пор ротный? Не связано ли это с тем, что в середине 30-х он, как я слышал от Олега Милюшева, тоже подвергался репрессиям?..

Тем временем полковник произнес на английском:

— Good luck, Nicholas! (Удачи, Никлас!)

— Thanks a lot! — поблагодарил я, и мы все трое покинули его кабинет.

Разведывательное управление штаба 2-й гвардейской танковой армии занимало весь нижний этаж немецкого особняка. А спальные комнаты были на втором и на третьем этаже. Здесь можно было отдохнуть после дел, которые выпадали у меня в основном на вечер и ночь.

Мои новые обязанности коренным образом отличались от всего того, что я делал в армии до агентурного отдела. Каждую ночь на отличном стационарном приемнике я должен был слушать эфир на английском, немецком, польском, русском и украинском языках и в семь утра по Москве докладывать все самое значительное и самое важное. Таким образом, то, что мы в минувшем году с Батей проделывали втихаря на «северке», стало теперь моей официальной обязанностью. Опытные радисты знают, что время с полуночи до раннего утра — наилучшее для прослушивания эфира. В нем значительно меньше помех и само звучание становится чище.

После ночной «смены» и устного доклада подполковнику Андреенко я мог поспать до часу дня. Затем до восьми вечера я наносил на большую немецкую 200-миллиметровую карту сообщения, полученные с запада — из Германии, Дании, Франции от советской агентурной разведки. На карту я также вносил ночной информационный «улов», если он того стоил. На карте, таким образом, оказывались все передвижения соединений и подразделений противника с указанием командиров частей, численности личного состава и вооружения. Ночью у меня до сна было время для анализа всего происходящего, для размышлений и для записок в мой заветный 84-страничный блокнот.

В первые сутки моей новой работы Ана здорово смогла быстро разобраться в делах, ознакомиться со многими деталями, о которых я раньше ничего не знал. Она была умной, талантливой женщиной. В киевской средней школе от мамы, учительницы немецкого языка, она обрела прекрасные знания не только в лингвистике, но и в классической литературе Германии. В десятом классе она приняла участие в соревнованиях по стрельбе и стала обладательницей значка «Ворошиловский стрелок». Она также победила в киевском городском конкурсе знатоков немецкой литературы и поэзии. Среднюю школу закончила с золотой медалью.

Ана рассказала мне, что ее кумиры — Гете, Шиллер, Гейне и Томас Манн. Ее лицо озарялось, когда она читала наизусть их произведения в оригинале. Читала как профессиональная актриса: вдохновенно, с четкой артикуляцией и блестящим немецким произношением. После первой смены прослушивания радиоэфира в особняке, где разместилось наше разведуправление, звучало в ее исполнении стихотворение Die Lorelei («Лорелея») Генриха Гейне:

Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin,
Ein Märchen aus uralten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.

Die Luft ist kühl und es dunkelt,
Und ruhig fließt der Rhein;
Der Gipfel des Berges funkelt,
Im Abendsonnenschein...¹

В ее исполнении это звучало здорово!

При всей своей любви к немецкому языку, к германской литературе, Ана ненавидела фашистских оккупантов, которые вместе с украинскими полицаями 29 сентября 1941 года убили ее отца, маму и сестренку Лилли в Бабьем Яре вместе с 30 тысячами евреев, украинцев и русских. В начале Великой Отечественной войны она закончила школу снайперов и до конца 1942 года была на передовой. А с 1943 года служила в ротной, бригадной и корпусной разведке. Затем с конца 1944 года, в звании старшего лейтенанта, стала переводчицей разведуправления 2-й гвардейской танковой армии.

3 апреля 1945 года

Немка рассказывает про «чубатых генералов»

Идет третий день моего нового назначения. Скучаю по своим товарищам по оружию и по нашему Бате. Строгий, мудрый, храбрый и добрый. Он все больше и больше напоминает мне моего отца. Мой отец, которого мы, его дети, и даже наша мама звали Пап, тоже был строгим, мудрым, храбрым и добрым человеком. А с подполковником Жихаревым я прошел боевое крещение от Курска, через всю Белоруссию, Польшу, Померанию и до немецкого Ландсберга. Вместе с тем я прекрасно понимаю: у меня, теперь офицера разведки штаба 2-й гвардейской

¹ Не знаю, о чем я тоскую.
Покою душе моей нет.
Забуть ни на миг не могу я
Преданье далеких лет.

Дохнуло прохладой. Темнеет.
Струится река в тишине.
Вершина горы пламенеет
Над Рейном в закатном огне...

(Фрагмент.

Перевод С. Маршака)

танковой армии, появляется возможность значительно расширить свой кругозор, лучше понять, что происходит на всех фронтах. Если раньше мы с Батей слушали Би-би-си полулегально, то теперь отслеживание новостей не только Би-би-си, но и вражеских радиостанций входит в мои прямые служебные обязанности. Я должен анализировать услышанное, отбирать главное. Об Ане Липко я уже рассказывал. Капитан Троев окончил Киевский государственный университет, затем военные курсы армейских разведчиков; майор Заботин и майор Шустров закончили военные академии, а мой непосредственный начальник подполковник Андреекко — кандидат наук.

В 7.00 в самом первом своем докладе я воспроизвел в точности то, что сообщила английская радиостанция Би-би-си: «Красная армия прошла долгий путь от стен Москвы до Одера. Она готовится к своему последнему большому наступлению на Берлин. Маршал Георгий Жуков взял крепость Кюстрин... Он сейчас расширяет плацдармы на западном берегу реки больше чем на 20 километров в ширину и на 8 километров в глубину».

В передаче одной американской военной радиостанции я услышал и доложил о том, что генерал Эйзенхауэр приказал союзным войскам идти в глубину Германии, но не переходить через реку Эльбу, предоставляя таким образом Красной армии возможность взять Берлин. Союзные войска находятся сейчас на расстоянии 200 миль от Берлина, тогда как Красная армия находится менее чем в 50 милях от него. «Британский премьер-министр Уинстон Черчилль, — сказал американский радиокорментатор, — намерен обратиться к генералу Эйзенхауэру с просьбой пересмотреть свой приказ о том, чтобы союзные войска не переходили рубеж реки Эльбы». Американский радиокорментатор также сказал, будто Черчилль написал или сказал генералу Эйзенхауэру следующее: «Мы должны пожать руку русским как можно дальше на востоке от Берлина»

Подполковник Андреекко после этой части моего доклада усмехнулся и спросил:

— Что еще интересного услышали за ночь?

Мой ответ был следующим:

— Британская группа армий под командованием фельдмаршала Монтгомери движется в сторону немецких портов на Балтике. Американская 7-я армия наступает на Гейдельберг. 3-я американская армия под командованием генерала Патона соединилась с 1-й армией генерала Бредли. Французская армия движется на юг в сторону швейцарской границы. На Филиппинах американская морская пехота захватила Легаспи... Это все, товарищ подполковник. Разрешите нанести эти данные на карту?

— Да-да, Никлас. В 14.00 жду вас у меня в кабинете для работы с агентурными данными. Допуск уже оформлен.

Вечером, во время ужина, Ана Липко рассказала интересную историю о том, что немка, хозяйка особняка, в котором мы расположились, не захотела эвакуироваться, как многие немцы. Ей, очевидно, захотелось узнать, какие они — эти русские.

— Она живет во флигеле, как вы видели, — рассказывала Ана. — И вот что я заметила. Когда мимо ее окна проходит кто-то из наших генералов, она отворачивается от окна и плюется. Меня это заинтересовало. В чем дело? — подумала я и решила у нее прямо спросить:

«Почему вы не плюете, когда мимо вашего окна проходят солдаты или офицеры, а только когда видите генералов?»

«У них штаны с широкими красными полосками. Верно?» — просит уточнить фрау.

«Верно», — отвечаю.

«Так вот: когда первые ваши русские сюда пришли, меня изнасиловало семь ваших генералов. Слава богу, это было лишь однажды, не то бы они изнасиловали меня до смерти».

«И вы совершенно уверены, что все семеро были генералами?» — спрашиваю у фрау.

«Да-да, все семеро! — с волнением подтверждает она. — У всех у них на штанах были широкие красные лампасы».

«И все они были чубатые?»

«Да-да! Все чубатые. Наши немецкие генералы такие прически не носят», — замечает фрау.

«На чем же они к вам приехали, фрау?» — спрашиваю ее.

«На лошадях. Все такие молодые, здоровые. В немецкой армии таких молодых генералов нет, в немецкой армии генералы все постарше...»

Пришлось ей растолковать, — продолжила свой рассказ Ана, — что ее насильовали не советские генералы, а рядовые донские казаки, тоже носящие штаны с широкими красными лампасами. Мне показалось, что мое сообщение ее огорчило.

— Это понятно, — заметил майор Заботин. — Она, видимо, сообщила ведомству Геббельса, что ее насильовали семь генералов, — и вдруг такой конфуз.

— А вы не думали о том, что во время нацистской оккупации Дона жен и невест этих самых чубатых казаков насильовали немецкие солдаты? — спросил майор Заботин.

— Не сомневаюсь в этом! — ответила Ана. Щеки ее горели гневным румянцем.

7 апреля 1945 года

Доклад и неформальная похвала

Идет 1386-й день Великой Отечественной и 2036-й день Второй мировой войны. Из информации, которую я слышу во время моих ночных смен, в моей голове складывается цельная картина происходящего. Война в Европе движется к концу. Но скольким сотням тысяч или миллионам людей конец войны будет стоить жизни? Американские войска уже в промышленном бассейне Рура. Британские войска в Бремене, Гамбурге, Ганновере, техника вооруженных сил США уже движется по автобану, ведущему на Берлин. Союзные войска проходят через города, не тронутые войной, — о ней напоминают разве что пустые продуктовые полки и белые флаги или, если быть точным, белые простыни снаружи каждого дома, каждого магазина и каждого немецкого учреждения. «Русские

войска ворвались в столицу Австрии — Вену», — заявил диктор какой-то немецкой радиостанции. Он же сообщил о том, что фюрер приказал генерал-полковнику Буссе уничтожить советские плацдармы на западном берегу реки Одер любой ценой.

7.00, время московское. Я положил на стол подполковнику Андреенку информацию в письменном виде. Перед тем как начать ее читать, он сказал мне:

— У вас, Никлас, за спиной висит большая немецкая топографическая карта. Пока я буду знакомиться с вашим рапортом, посмотрите на нее внимательно. У меня к вам будет потом несколько вопросов.

Я обернулся и посмотрел на карту. Подумал: «Почему ему интересно мое мнение относительно этой карты? Ведь он в картах наверняка разбирается не хуже меня. Хочет узнать, разбираюсь ли я?»

Внимательно вглядываюсь в 200-миллиметровую карту. Местность между Франкфуртом на юге и небольшим городком Кийниц на севере; Кюстрин на востоке и Зеелов на западе. Между Кюстрином и Зееловом проходит шоссе на Берлин. От Зеелова на восток к Одере спускаются так называемые уступы. Их вершины находятся на 45—50 метров над уровнем Одера. Чуть южнее Зеелова большое озеро, от него протянулись к плоской местности, лежащей западнее Одера, оросительные каналы. Плоская местность западнее Кюстрина называется Одербрух. Я подумал: если эту местность в Средние века или раньше населяли племена славян, то они могли назвать местность Одербрюхо. Она напоминает «брюхо» реки Одер. Весь Одербрух изрезан речушками и каналами. Весной, подумал я, когда на Одере начинается половодье, эта местность превращается в болото. Я повернулся и сказал своему шефу:

— Готов доложить, товарищ подполковник!

Он отодвинул в сторону бумаги:

— Слушаю.

Я ему доложил, что собой представляет местность, намеченная командованием, как нетрудно было догадаться

(зачем бы иначе здесь висела именно эта карта?), для наступления на Берлин. После этого я высказал свое видение обстановки:

— На дворе апрель, самое время для начала паводка на Одере и его левобережной окрестности, между Кюстрином и уступами Зеелова и Платкова. Эта местность на карте названа Одербрух. Если Одер разольется, то весь Одербрух превратится в сплошное месиво. А если противник додумается открыть шлюзы или взорвать дамбу на озере, что чуть южнее самого Зеелова, из него по каналам вниз к Одербруху с его мелкими речушками хлынет вода и превратит местность в сплошное болото, непроходимое для наших танков, самоходок, бронетранспортеров и тяжелой артиллерии...

Я сделал паузу, опасаясь, что меня сейчас поставят на место — мол, не в свои дела лезешь. Но мой командир молчал, внимательно смотрел на меня. Затем спросил:

— Где вы научились так читать топографические карты?

— В спецшколе номер 3 на Садово-Кудринской в Москве, товарищ гвардии подполковник, — ответил я.

— Молодец!

Так как похвала была неформальная, то я решил ответить так, как отвечал в свое время Бате, — не по-уставному, но верно по сути:

— Служу победе над фашизмом!

Подполковник мой ответ оценил и сдержанно улыбнулся.

13 апреля 1945 года

Смерть Рузвельта. В вихре радионовостей

Этой ночью я пережил серьезный стресс. Сердце чуть не выскочило из груди, когда я услышал сообщение радиостанции Би-би-си:

«...Вчера, 12 апреля 1945 года, президент США Франклин Делано Рузвельт перенес обширный инсульт и внезапно умер. Ему было 63 года. Он был единственным американским президентом, когда-либо избранным четыре раза подряд. Вся страна скорбит о президенте-демократе...»

В моих глазах возникали сцены, которым я, еще совсем мальчишка, оказался свидетелем в Нью-Йорке в 1932 году, когда Франклин Делано Рузвельт баллотировался в президенты впервые. Я тогда вместе с моим старшим братом Джоном жадно читал бегущие строчки последних новостей на углу Бродвея и 42-й улицы. А вечером мы всей семьей липли к ламповому приемнику, когда Рузвельт общался со страной (первый из всех американских кандидатов в президенты) по радио. Соседи, у которых тогда не было радиоприемников, приходили к тем, у кого они были, и жадно ловили каждое слово. С Джоном я оказался в толпе зевак на Бродвее, когда по Нью-Йорку в открытом лимузине Рузвельт проезжал со своей супругой Элеонорой. Мог ли я тогда предположить, что когда стану взрослым и прошедшим войну ветераном, то случайно встречу и побеседую с одной из умнейших женщин Соединенных Штатов — Элеонорой Рузвельт, автором книги «Его глазами»? С Элеонорой Рузвельт моя встреча была такой же случайной, как и с Алексеем Толстым в моей актюбинской художественной мастерской. С ней я встретился в 1950 (или 1951) году в санатории имени Чкалова, где она оказалась какими-то неведомыми мне путями, а я попал на лечение по путевке Херсонского облисполкома. Наше короткое общение с ней оказалось возможным, когда ей сказали, что я уроженец Соединенных Штатов и являюсь огромным почитателем покойного президента Рузвельта. Надо сказать, что я в основном отвечал на вопросы Элеоноры Рузвельт, так как спрашивать ее о чем-то существенном не считал для себя удобным.

6.00, время московское. Би-би-си сообщила, что вице-президент Гарри С. Трумэн приведен к присяге в качестве тридцать третьего президента Соединенных Штатов. Вчера вечером Трумэн сообщил журналистам в Белом доме следующее: «Ребята, если вы вообще молитесь, то молитесь за меня!» Это казалось мне странным, смешным и неловким высказыванием нового американского президента.

* * *

6.30, время московское. Снова Би-би-си:

«Официальной реакцией германских СМИ по поводу смерти Рузвельта было полное молчание. Однако вскоре Берлинское радио сообщило: лидеры Третьего рейха восприняли это сообщение как очень хорошие известия: «Мой фюрер, — заявил Гитлеру Йозеф Геббельс. — Я поздравляю вас: Рузвельт мертв! Звезды нам говорят, что вторая половина апреля станет поворотным моментом для нас!» Лидеры Третьего рейха рассчитывают на то, что в стане союзников произойдет разрыв между странами Запада и Советским Союзом».

6.45, время московское. Американская военная радиостанция (если не ошибаюсь — 3-й американской армии) сообщила из Бухенвальда о том, что войска Соединенных Штатов освободили нацистский лагерь смерти, что генералы Эйзенхауэр, Бредли и Паттон совершили поездку по огромной территории концлагеря. При виде целого каравана грузовых машин с трупами заключенных лагеря генералы Эйзенхауэр и Бредли залились слезами. А от запаха разлагающихся тел генерала Паттона вырвало. Многие американские солдаты вынуждены были надеть противогазы. Глядя на горы незахороненных трупов, американские солдаты были в шоке, они не верили своим глазам, комментировал эти события радиокорреспондент.

...Позволю себе немного нарушить хронологию повествования. Осенью 1944 года, когда я лежал в полевом госпитале на территории Польши, мне повезло познакомиться с замечательным человеком, советским кинохроникером Романом Карменом. Он доверительно рассказал мне, что британские и американские газеты и журналы отказались публиковать его свидетельские показания о том, что он видел своими собственными глазами и, более того, заснял на киноплёнку в концлагере Майданек. Это было сочтено советской пропагандой.

С Карменом я потом встретился еще раз уже в Фюрстенберге, в Германии, в 1946 году. Он приезжал в гости к командующему 2-й гвардейской танковой армией генералу Радзиевскому.

7.30, время московское. На этот раз я подготовил своему начальнику не совсем обычный доклад. Немного рассказал о первой избирательной кампании Рузвельта. Кроме того, я откровенно сказал то, что думаю о Трумэне. Не мог ему простить высказывание по поводу начала Великой Отечественной войны: «...Если будут побеждать немцы... если будут побеждать русские... и пусть они убивают друг друга столько, сколько возможно». В докладе Андреенко я назвал Трумэна на английском: «Ass hole». Подполковник тут же спросил меня, что это значит. На что я ему ответил прямо: «Дырка в заднице».

— Почему так резко? — спросил Андреенко.

— Потому что он — ставленник определенных кругов в Соединенных Штатах, кругов, которые, на мой взгляд, являются врагами моего американского народа, — ответил я. И еще позволил себе добавить: — Нисколько не удивлюсь, если в обозримом будущем мы с вами узнаем, что Рузвельта отравили.

Подполковник Андреенко тут же повел меня к полковнику Костину и сказал, чтобы я повторил все, что доложил ему, вместе со своими воспоминаниями по поводу первой избирательной кампании Рузвельта и моей оценкой Трумэна.

Полковник выслушал меня внимательно и, помолчав минуту-другую, произнес, не глядя ни на меня, ни на подполковника Андреенко, а как бы размышляя вслух:

— Нельзя исключать того, что смерть президента Рузвельта может привести к довольно крутому повороту в наших взаимоотношениях с Америкой и Великобританией... создать критическую точку поворота в отношениях США с нами.

Я понял, что Костин имел в виду слова Геббельса.

Костин, словно продолжая размышлять вслух, заговорил о рейхсминистре гитлеровской пропаганды:

— Геббельса называют самым умным, самым образованным и агрессивным специалистом устной и печатной нацистской пропаганды. Он сложен, зловещ, непримирим и беспощаден. Его комментарий о «поворотном пункте» в отношениях между СССР и США не лишен определенных оснований...

До сих пор не могу поверить, что президент Рузвельт умер своей смертью! Правда, на фотографиях, появившихся в печати после Ялтинской конференции, «Большой тройки»: Черчилль, Рузвельт и Сталин, он выглядел больным. Это правда. Я тогда еще подумал: «Дай Бог, чтобы он дожил до конца войны!» Тем не менее его смерть стала шоком для многих людей во всем мире. Я слышал по радио, как вдова Рузвельта Элеонора заявила по поводу смерти мужа: «Я больше сожалею о людях Америки и о людях других стран мира, чем о нас самих» («I am more sorry for the people of the country and of the world than I am for us»).

Стокгольмское радио на английском языке:

«В Москве маршал Сталин спросил посла США Авелла Гарримана, что мог бы сделать Советский Союз, чтобы проявить свое глубочайшее уважение памяти покойного президента. Гарриман ответил: «Направьте господина Молотова на конференцию в Сан-Франциско. Эту конференцию задумал покойный президент Рузвельт, чтобы организовать послевоенную Организацию Объединенных Наций».

15 апреля 1945 года

Агентурный отдел в автобусе

Никто никогда не скажет вам — когда, в какой день и час должно будет начаться каждое новое наступление. Причем, как мне удалось установить, не только коман-

диры рот и батальонов этого не знают, не только командиры полков, бригад и дивизий, но даже командиры корпусов, а может быть, и армий не знают точной даты и часа каждого нового наступления. Эти сведения, как я понимаю, держатся в строжайшем секрете, чтобы они каким-то образом не просочились к противнику. Командармы, оказалось, получали дату и час наступления за сутки, комкоры, комдивы и комбриги — за 12 часов до начала; комполка — за 6 часов, а комбаты и комроты — за 2—3 часа. Если противнику удавалось взять советского языка, можно было его пытаться, хоть резать на куски, но сказать день и час начала нового наступления он не может: просто не знает. Тем не менее солдаты научились по каким-то едва видимым и ощутимым приметам чувствовать приближение даты нового наступления.

Прошлой ночью все радиостанции Германии транслировали приказ фюрера. Я его записал, перевел и доложил своему начальнику отдела.

«Солдаты немецкого Восточного фронта! — приказывал фюрер. — Еврейские большевики являются нашими заклятыми врагами. Они пытаются разгромить и уничтожить нашу Германию. Вы, солдаты Восточного фронта, знаете, какая это угроза для всех немецких женщин, девушек, стариков и детей. Стариков и детей они убивают, а женщин и девушек превращают в своих казарменных проституток и затем отправляют в Сибирь. С января 1945 года мы сделали все, чтобы создать мощный Восточный фронт. К вам для укрепления направлена могучая артиллерия, резервные подразделения и фольксштурм. На этот раз большевики должны будут захлебнуться своей кровью на пороге столицы нашего немецкого рейха. Если кто-то даст вам команду к отступлению, он должен быть, независимо от его ранга, незамедлительно арестован и казнен. Берлин остается немецким... В этот час, когда судьба прибрала величайшего военного преступника всех времен и народов (имелся в виду президент Рузвельт. — *Авт.*), вся немецкая нация смотрит на вас, мои солдаты Восточного фронта, и надеется только на вас, надеется, что вы потопите натиск заклятого врага в море большевистской крови.

— Знаете, Никлас, — сказал мне Андреенко, после того как я ему прочел мой перевод приказа фюрера, — в украинском языке есть давнишняя присказка: «Казав глухий — почуємо, казав сліпий — побачимо»...

В 15.00 из Ландсберга вернулись: командующий 2-й гвардейской танковой армией, начальник штаба, начальник оперативного отдела и начальник разведуправления.

Полковник Костин собрал всех офицеров отдела и сделал краткое, ясное заявление о предстоящей операции.

— Наши планы понятны, — перешел он сразу к делу. — В первый день наступления, по опыту операций «Багратион» и «Висла—Одер», 8-я гвардейская и 5-я ударная армии, используя свою артиллерию, свои танковые подразделения и свои самоходные установки, прорывают зееловскую оборону противника. Во второй день 1-я гвардейская танковая, 2-я гвардейская танковая вместе с другими армиями резерва устремляются в бреши, пробитые в первый день, и с ходу идут на Берлин. Конечная задача 1-го Белорусского фронта: ко дню рождения Владимира Ильича Ленина 21 апреля овладеть рейхстагом и рейхсканцелярией в центре Берлина.

Из сообщений, поступавших от советской агентуры, следовало, что противнику известен состав 1-го Белорусского фронта под командованием маршала Жукова: около миллиона человек, включая 78 тысяч солдат 1-й армии Войска польского, свыше 3 тысяч танков и самоходных орудий, 4 тысячи боевых самолетов, 42 тысячи орудий и минометов, включая установки «Катюша». Противник также знал, что советские поставки составили миллион тонн топлива, продовольствия, боеприпасов и других необходимых материалов и оборудования. Противник также знал количество мостов через реку Одер.

Спрашивать у Андреенко, верна ли информация советской агентуры, я не считал нужным и возможным, так как накрепко запомнил предупреждение Бати о том, что

я на крючке у офицеров Смерша и могу по неосторожности легко стать их добычей. Мне было интереснее сопоставить информацию советской агентурной разведки с данными о войсках противника на глубокоэшелонированной полосе обороны, которая строилась больше года.

Бражеские войска, стоящие перед Кюстринским плацдармом на Зееловских уступах высотой до 50 метров, находились под командованием немецкого генерал-полковника Готхарда Хейнрици. У него в 14 неполных дивизиях было около 200 тысяч солдат и офицеров, около 520 танков и самоходных орудий, 2500 стволов артиллерии, включая 690 зенитных орудий, пробивающих насквозь не только тридцатьчетверки, но и танки ИС-2. Кроме того, у генерала Хейнрици было несколько батальонов бойцов фольксштурма, вооруженных фаустпатронами. Немецкие радиостанции утверждали, что генерал Хейнрици — один из лучших тактиков обороны вермахта, что он полон решимости остановить маршала Жукова на Зеелах, пока англоамериканские войска не подойдут к столице Германии.

Эта информация меня встревожила. Означает ли это, что моя мечта быть одним из первых американцев в Берлине может не состояться?

20.30, время московское. В войсках 1-го Белорусского фронта, включая нашу 2-ю гвардейскую танковую армию, была объявлена боевая тревога, после чего каждому солдату и офицеру была вручена листовка с текстом, подписанным маршалом Жуковым. В ней были короткие предложения и очень важные слова:

Солдаты, офицеры и генералы Красной армии!
Враг будет сокрушен по маршруту на Берлин.
Столица фашистской Германии будет взята,
и красное знамя нашей победы
будет реять над Рейхстагом!

8-й гвардейской и 5-й ударной армиям было приказано прорваться сквозь три линии обороны на Зееловских уступах, после чего 1-я гвардейская танковая и 2-я гвар-

дейская танковая армии вместе с другими соединениями резерва должны быть готовы к движению на Берлин.

Полковник Костин приказал капитану Троеву и старшему лейтенанту Ане Липко — нашим самым опытным офицерам разведки — отправиться на передний край в 8 километрах западнее Кюстрина и после артиллерийской подготовки во что бы то ни стало взять в плен немецкого языка.

22.30, время московское. Все мое радиооборудование вместе с немецкими топографическими картами переправлено из особняка в довольно большой автобус, оборудованный для агентурного отдела управления разведки. Этот автобус будет во время Берлинской операции нашим рабочим и спальным местом.

23.00, время московское. Большинство соединений 1-го Белорусского фронта, находившихся в лесах на восточном берегу реки Одер, без особого шума двинулись к 22 мостам, сооруженным инженерами и саперами через реку на западный берег, где находились плацдармы, до этого захваченные, расширенные и углубленные 8-й гвардейской и 5-й ударной армиями. Мосты, построенные на Одере, находились на 20—30 сантиметров ниже поверхности воды в реке. Это было сделано с целью маскировки мостов от пикирующих бомбардировщиков противника.

16 апреля 1945 года

Деревня Софийнталь, западный берег Одера

Война — это всегда реки крови, ручьи слез и море смертей. Кое-кто на войне наживается, но большинство ни в чем не повинных людей страдают. И в невероятных муках гибнут. Мне хочется верить, что наш переезд на западный берег немецкой реки Одер станет предпоследним

шагом, ведущим человечество к концу. К концу чего? — спрашиваю я себя. К концу ЭТОЙ конкретной кровавой бойни в Европе или к концу всех войн, как заявил когда-то президент Вудро Вильсон, толкнув мою родину — Соединенные Штаты Америки в Первую мировую бойню? Это заявление было лицемерием. Ибо с тех пор, как наши далекие предки обнаружили, что булыжник в руках обладает силой и способностью раскалывать черепа противников, по земле нашей потекли широченные и глубоченные реки человеческой крови. Ради чего? Ради справедливости или ради ограбления? Ради наживы немногих и невероятных страданий сотен и миллионов ни в чем не повинных людей!

Между тем немецкие радиостанции сегодня ночью цитировали новые установки фюрера: «Уничтожать абсолютно все: мосты, транспорт, фермы, скот, заводы, фабрики, электростанции, водонапорные башни, дома, магазины и даже госпитали, чтобы они не достались заклятому врагу — еврейско-большевистским ордам». Или, например: «Если война проиграна, — заявил фюрер, — нет никакого смысла в попытке спасти немецкий народ».

Между тем «Ева Браун, — передают немецкие радиостанции, — прибывает из Баварии в Берлин, чтобы разделить последние дни Третьего рейха с Гитлером, так как у нее нет никакого желания жить в Германии без него (то есть без Гитлера)». Услышав все это, я спросил себя: это — любовь?..

2.20, время московское. Мы наконец остановились возле небольшой немецкой деревни под названием Софийнталь примерно в 5 километрах от западного берега Одера. Наша переправа через Одер прошла без каких-либо приключений. Над нами не появилось ни одного немецкого пикирующего бомбардировщика: то ли горячее у фрицев закончилось, то ли разведка стала плохо работать? Вокруг нас стояло полное затишье. Перед бурей, наверное? — подумалось мне.

Я надел наушники и стал слушать, что говорят немецкие радиокomentаторы по поводу нашего перехода с вос-

точного берега Одера на западный. Первое, что я услышал, было сообщение о том, что по приказу генерала Хейнрици взорвана дамба на озере южнее Зеелова для превращения Одербруха в болото.

3.00, время московское. Меня оторвали от эфира три ярко-красные ракеты, взлетевшие в ночное небо, как мне показалось, со стороны Кюстрина. Через несколько секунд автобус сильно тряхнуло: началась чрезвычайно мощная артподготовка. На передний край противника полетел град смертоносных снарядов. Передок фрицев обрабатывали тысячи и тысячи артиллерийских орудий.

Дальнейшее прослушивание эфира стало совершенно немыслимым. По сравнению с этой артподготовкой, казалось мне, извержение вулкана Везувия было бы простым фейерверком. Ночь превратилась в день. Позиции противника вдруг осветились сотней, если не больше, противозенитных прожекторов.

— А это придумка маршала Жукова, — произнес майор Шустров.

— Да нет, — возразил ему майор Заботин. — Нацисты использовали такие прожекторы в Арденнах в декабре прошлого года.

С передовой вернулись капитан Троев и старший лейтенант Ана Липко. Вид у обоих ужасный. Казалось, оба они с трудом стоят на ногах: такими изможденными и уставшими я их представить себе не мог. Видно, досталось им там под самую завязку. Но, слава богу, живы! Они еще приволокли с собой немецкого унтер-офицера, обмякшего, «полудохлого». Его, видимо, оглушило артподготовкой. На шее с двух сторон, в ушах и под носом — застывшие сгустки крови, весь с головы до ног в грязи. Казалось, что этот унтер не в себе.

— Говорить он пока не может, наверняка ничего не слышит, — сказала о нем Ана Липко. — И штаны полны дерьма. Это контузия. Может быть, к вечеру придет в себя и тогда заговорит.

В это время из своего микроавтобуса вышел полковник Костин. Ана Липко протянула ему вчетверо сложенный листок бумаги и доложила:

— Мы это нашли в его нагрудном кармане. Листовка со словами фюрера... Некоторые слова фюрера подчеркнуты. Кроме этого унтера, в траншеях переднего края взять было некого.

— Все были убиты нашей артподготовкой? — спросил Костин.

— Нет, товарищ полковник, — вступил в разговор капитан Троев. — Траншеи немецкого переднего края оказались практически пустыми. Это похоже на «проделки Скопена» — генерал-полковника Хейнрици. Он их нам устраивал не раз в России и на Украине. Полагаю, товарищ полковник, что ему стал точно известен момент начала артподготовки. Разведчики 8-й гвардейской нам рассказали, что в час тридцать ночи фрицы на своем передке все или почти все были еще на месте, а к моменту артподготовки исчезли... Нам с Анной преградили путь поглубже в оборону противника сильные потоки воды в каналах.

— Откуда вода? — удивился полковник.

Оказавшись свидетелем разговора, я не удержался и сказал то, что услышал по радио.

— Генерал Хейнрици недавно, — доложил я, — приказал своим инженерам взорвать дамбу на озере, что южнее Зеелова. Это озеро осенью орошает Одербрух — пойму Одера.

— Позвольте мне высказать свое предположение по поводу подчеркнутых слов в приказе Гитлера, — произнесла Ана Липко.

— Говорите! — сказал полковник.

— В листовке фюрера подчеркнуты слова: «Если кто-либо прикажет вам отступить с линии обороны, он должен быть, независимо от ранга, немедленно арестован и казнен». Кроме унтера, в укрытии мы нашли еще двух убитых немецких солдат. Есть предположение, что эта тройца, приняв к исполнению слова фюрера, и собиралась казнить офицера, отдавшего им приказ покинуть передовую линию обороны. Мы с капитаном пытались

найти казненного офицера, но поблизости никакого тела не оказалось. Мы сможем все это уточнить, если пленный унтер заговорит.

— Вы что же, полагаете, что миллион снарядов, выпущенных на передовую противника, упал на пустые траншеи? — спросил недоверчиво подполковник Андреевко.

— Похоже, так, товарищ подполковник, — ответил капитан Троев.

— Очень похоже, — подтвердила Ана Липко.

— Дело в том, — добавил капитан Троев, — что генерал Хейнрици проделал с нами такую штуку во время нашей артподготовки в Ржевско-Вяземском районе в 1942 году. Генерал Хейнрици — хитрая лиса!

Полковник Костин и подполковник Андреевко посмотрели на капитана Троева с некоторым удивлением. Но возразить ему не могли, так как Троев там был и знал, о чем говорит.

— Как сработали зенитные прожекторы? — спросил полковник Костин, адресуя вопрос к обоим: Троеву и Липко.

— Прожекторы зажглись в момент начала атаки 8-й гвардейской и 5-й ударной, — ответил Троев. — Но есть проблема. Во время артподготовки образовалась плотная стена дыма и пыли. Она рассеивала лучи прожекторов, и они, вместо того чтобы слепить противника, четко показывали ему наших наступающих солдат и технику.

К сказанному Троевым Ана Липко добавила:

— Если бы на передовой не было сплошной стены дыма и пыли, прожекторы могли бы сработать на пользу нам. Но вышло наоборот, и мы слышали ор наших командиров: «Выключите прожекторы! Выключите прожекторы!»

Чувствовалось, что Троев и Липко докладывали обо всем, с чем столкнулись, с болью в сердце. На лице Андреевко я прочел некоторую растерянность. А у Костина лицо выглядело окаменелым.

Интересно, подумал я, какой была бы в этом случае реакция нашего Бати? Мне вспомнилась реплика майо-

ра Шустрова о «гениальной придумке маршала Жукова с прожекторами» и как на нее мгновенно отреагировал майор Заботин, который сказал, что на самом деле это придумали немцы во время боевых действий в Арденнах.

— Вы видели танковые подразделения 8-й гвардейской и 5-й ударной на передовой? — спросил Костин.

— Да, товарищ полковник, — ответил Троев. — Мы видели первую волну танков и самоходок. Оросительные каналы, заполненные водой, заставляли технику останавливаться и ждать саперов. Техника становилась мишенью для немецких 88-миллиметровых зенитных орудий. Местность сильно заболочена. Одна лишь главная шоссе́нная дорога № 1 и три узкие параллельные оказались забиты подбитыми танками и самоходками. А уходя в сторону от шоссе́йки и параллельных дорог, техника и пехота увязали в грязи и в болоте.

— За время нашего пребывания на передовой наши войска смогли продвинуться лишь на полтора километра, — добавила Ана Липко. — При попадании в броню 88-миллиметровых снарядов наши тридцатьчетверки и самоходки загорались как свечи...

Последние слова Аны меня шокировали. Я живо себе представил, как наша танковая рота разведки попадает в эту страшную мясорубку. Мне почудилось, будто я услышал крик моего механика-водителя Ивана Чуева: «В нас попали! Горим, командир! Выбираемся через десантный люк! Вверху снайперы снимают каждого!» Мне послышался душераздирающий крик живьем горящих танкистов: «Заклинило десантный люк!»

Примерно в два часа пополудни я стал свидетелем телефонного разговора подполковника Андреевко с начальником оперативного отдела нашей армии. Из чего я узнал, что маршал Жуков, желая во что бы то ни стало усилить темп наступления, принял решение ввести в сражение 1-ю гвардейскую и 2-ю гвардейскую танковые армии, а также два отдельных танковых корпуса, которые

по первоначальному плану предполагалось направить на Берлин лишь после того, как 8-я гвардейская и 5-я ударная армии прорвут Зееловскую оборонительную преграду и широко откроют ворота на Берлин. Однако Зееловская оборонительная полоса вдоль западного берега Одера шириной 20 километров оказалась насыщенной сплошными линиями траншей, дотами, дзотами, противотанковыми и противопехотными рвами и заграждениями, полями мин, — нашим двум общевойсковым армиям (со всеми приданными им отдельными бригадами, полками, дивизионами и батальонами) оказалось это не по зубам. Маршал Жуков также воочию убедился, что все дороги, ведущие ко второй и третьей линиям немецкой обороны Зееловской преграды, простреливались прямой наводкой 88-миллиметровыми зенитными орудиями, минометами, пулеметами и фаустпатронами.

После возвращения с переднего края Троева и Липко полковник Костин направил с группой разведчиков майора Заботина в качестве связного звена с разведуправлениями фронта, а также 8, 5 и 1-й танковой армиями. Вернувшись в 22.30, он доложил о том, что произошло на передовой после того, как в сражение были введены 1-я, 2-я танковые армии и 11-й отдельный танковый корпус:

— На дорогах, ведущих ко второй и третьей оборонительным линиям противника, образовались заторы из горелых и подбитых танков, орудий, тягачей, убитых и тяжелораненых советских солдат и офицеров. Около 15.00 на шоссе № 1 и трех узких параллельных дорогах образовались пробки. А в 16.30 советская эскадрилья бомбила по ошибке своих: танки и самоходки 1-й гвардейской танковой армии и артиллеристов и пехотинцев 8-й гвардейской армии. Одна или две из тех бомб упали возле населенного пункта Райтвайн вблизи НП маршала Жукова и генерала Чуйкова.

Слушая доклад майора Заботина, я вспомнил, как во время Померанской операции наш танковый взвод, стоявший на опушке леса, бомбили и наши и немцы...

17 апреля 1945 года Одерский плацдарм

Немецкие радиостанции взахлеб говорят о выдающихся успехах генерал-полковника Готхарда Хейнрици и солдат Восточного фронта. Мы поняли, что противник действительно выстроил мощную оборонительную полосу у ворот Берлина. Его 88-миллиметровые зенитные орудия наносят 1-му Белорусскому фронту, стремящемуся в лоб взять Зеелы, огромный ущерб. Ради этого генерал Готхард Хейнрици оголил Берлин, забрав из его противовоздушной обороны зенитные орудия, хотя англо-американские бомбежки столицы Германии не прекращаются ни днем ни ночью. А тем временем маршал Конев, командующий 1-м Украинским фронтом, согласно радио-сообщениям, успешно форсировал реку Нейсе (приток Одера), прорвал оборону противника и с успехом наступает в сердце Германии. В то же время на севере войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского захватили плацдарм в районе немецкого порта Штеттин вблизи Балтики.

В шесть утра подполковник Андреев приказал:

— Надевайте наушники, Никлас, и слушайте, что там говорит немчура о боях на Зеелах за 16 апреля.

Среди тысячи разных радиоголосов в эфире, говорящих на разных языках, неизменно звучит слово «Зеелы». Би-би-си:

Вчера в 4 часа утра маршал Жуков из своего бункера на Кюстринском плацдарме осмотрел Берлин и приказал: «Сейчас, товарищи, сейчас!»

Да, смешными бывают комментаторы даже на Би-би-си... Я нашел берлинскую радиостанцию и застал, кажется, последние фразы доктора Геббельса, в которых он захлебывался от переполнявших его эмоций:

«...На Одере решается судьба немецкого народа и судьбы Европы!.. Наступает переломный момент войны!.. Вражеским полчищам на Одере нанесено кровавое поражение! Настало время для поиска конфликта между союзниками!»

Я перевел слово в слово услышанное, на что Андреенко заметил:

— Ну что ж, сегодня мы им покажем кузькину мать!

7.00 утра, время московское. Капитан Троев и старший лейтенант Ана Липко сообщили подполковнику Андреенко, что взятый вчера пленный унтер заговорил.

— Он нам подтвердил, — сказала Ана, — что группа немецких унтер-офицеров, включая его самого, после прочтения приказа фюрера намеревалась арестовать и казнить своего капитана, командира роты, который им приказал покинуть передний край и уйти на вторую линию обороны поближе к Зееловским высотам. Но капитан, как сообщил нам пленный, успел застрелить двух его сослуживцев, а этот, которого мы взяли живьем, притворился убитым и пережил нашу артподготовку в небольшом доте на самом переднем крае. А вообще...

Не успела Ана Липко закончить фразу, как невдалеке от нас раздались оглушительные залпы новой артподготовки. Продолжать разговор или слушать радио стало совершенно невозможно, и я занялся топографической картой всего 20-километрового участка местности на подступах к Берлину. «Наверно, это та самая «кузькина мать», о которой сказал Андреенко», — подумал я об артподготовке.

Ночью по приказу маршала Жукова большое количество советских орудий и минометов продвинули вперед — ближе к вражеским позициям, чтобы подавить все огневые точки противника на второй оборонительной линии. В том же направлении пошла волна за волной советские бомбардировщики. Мне казалось, что артподготовка и бомбардировка перепахали каждый квадратный метр второй линии обороны и там больше нет ни одной живой души. Но стоило закончиться артподготовке и налетам нашей авиации, как снова заговорили стволы противника.

В 21.30 капитан Троев вернулся с передовой линии нашего танкового корпуса и сообщил, что 1-й гвардейский механизированный корпус под командованием генерала

Кривошеина к северу от самого Зеелова прорвал второй оборонительный рубеж противника, хотя при этом понес большие потери в живой силе и технике. Тысяча с лишним десантников и танкистов убиты, сгорели живьем в своих машинах или тяжело ранены. Несколько десятков танков Т-34-85 и американских «Шерманов» сожжены и подбиты.

— Покажите Никласу на карте, где в настоящее время проходит передний край 12-го танкового корпуса, а также 1-го механизированного корпуса генерала Кривошеина, — приказал капитану подполковник Андрееenko.

Троев указал на позиции в районе городка Платков.

— Час тому назад в амбаре к югу от Платкова мы обнаружили четырнадцать обнаженных тел. Они были удушены фортепианными струнами. У всех четырнадцати были отрезаны члены. Это было сделано, очевидно, до того, как их удушили. Командир роты из 3-й ударной армии признал в них группу разведчиков-десантников из его батальона.

У меня перед глазами возникла сцена этой варварской экзекуции. Разве может нормальный человек совершить такое над другим человеком, даже если эти двое являются заклятыми врагами? Где и как воспитывают таких садистов? — подумал я. Вспомнилось, как один мальчишка на Сто двенадцатой улице в Нью-Йорке поймал голубя и кухонным ножом отсек ему обе ноги, а потом подбросил птицу в небо. После этого мы, мальчишки, его бывшие друзья, побили камнями все окна в квартире, в которой жил тот садист. На другой день окна были вставлены, а мы их снова побили. В конце концов семье этого мальчишки пришлось уехать с нашей Сто двенадцатой улицы...

— Война есть война! — сказал подполковник по поводу замученных до смерти разведчиков.

— Жестокость порождает жестокость! — вырвалось у меня. — Я представляю себе, как поведут себя товарищи этих наших ребят, когда к ним попадут немецкие пленные.

— Да-да, — произнес капитан Троев, — я тоже об этом подумал...

— Пойдемте со мной к полковнику Костину, — сказал капитану Троеву Андрееenko. — Доложите ему о прорыве

второго немецкого оборонительного рубежа мехкорпусом генерала Кривошеина.

Они ушли. Чтобы расстелить карту на весь стол, мне понадобилось убрать со стола листы бумаги, оставленные на столе подполковником Андреенко. И я невольно обратил внимание на один параграф машинописного текста на одном из листов. Удивился прочитанному и посмотрел внизу листа, кто это написал и когда. Там я увидел: «Маршал Советского Союза Г. Жуков». В параграфе, который я прочел, маршал написал:

«20.20. 17 апреля 1945 года.

№ 1. Хуже всех действовали: 69-я армия под командованием генерал-полковника Колпакчи, 1-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-полковника Катукова и 2-я гвардейская танковая армия под командованием генерал-полковника Богданова. Эти армии имеют в своем распоряжении колоссальные силы и средства, но второй день подряд неуклюже и нерешительно топчутся на месте перед слабым противником».

Меня затронули эти строки, так как я сам был крупницей 2-й гвардейской танковой армии. Как же так, подумалось мне, я знаю, что 1-й мехкорпус нашей армии уже прорвал вторую линию обороны противника, потеряв тысячу человек убитыми, сожженными и ранеными, несколько десятков боевых машин вместе со сгоревшими в них танкистами, а командующий фронтом об этом не знает? Что же это такое? — возмутился я.

В это время вернулись Андреенко и Троев. Подполковник увидел, что его листки лежат не на столе, а на его стуле. Он их поднял, посмотрел на меня и спросил:

— Читали?

— Так точно, — ответил я, — но лишь первый параграф.

— Что скажете?

Глядя прямо в глаза подполковнику, я ему ответил то, о чем мне подумалось. Прямо и откровенно.

Он посмотрел на меня как-то странно. Помолчал. А потом произнес:

— Замечено правильно, но не точно.

— Почему? — удивился я.

— Приказ подписан в 20.20, а Кривошеин прорвал вторую оборонительную линию противника в 21.00.

18 апреля 1945 года Андреенко о Кривошеине

Потери за 3-й день прорыва (по данным оперативного отдела 1-го Белорусского фронта, о них докладывал майор Заботин): 9500 человек убито, тяжело ранено и пропало без вести; 216 танков и САУ сожжены или выведены из строя; 35 танков остались в болоте.

Семь утра. Идет мощная артиллерийская подготовка и бомбежка. Но как только артподготовка и бомбежка закончились, наши войска, бросившиеся в атаку, снова встречаются ожесточенным сопротивлением. Об этом докладывают по радиотелефонам наши офицеры разведки, в 6.00 отправившиеся на передок в корпуса.

Лишь 1-й гвардейский механизированный корпус генерала Кривошеина движется вперед под ожесточенным огнем противника. Но продвижение идет медленнее, чем ожидалось вчера.

Андреенко накануне мне рассказал, что генерал Кривошеин в 30-х годах воевал в Испании. Я подумал: может быть, он там встречался с мужем моей старшей сестры Энн — Артуром, который поехал в Испанию в составе американских добровольцев, которые объединились в бригаду Авраама Линкольна?.. Кроме того, Андреенко сказал мне, что генерал Кривошеин в 1938 году сражался с японцами у озера Хасан, а в конце сентября 1939 года вместе с немецким генералом танковых войск Гудерианом принимал парад советских и немецких войск в Бресте по случаю окончания войны с Польшей...

22.30, время московское. На этот раз подполковник Андреенко сам протянул мне через стол две страницы машинописного текста и сказал:

— Читайте!

Это оказался еще один приказ командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Жукова от 22.00 18 апреля 1945 года. Я его не переписывал, а записывал ночью по памяти:

«1. Штурм Берлина развивается недопустимо медленно.

2. Основная причина этого — плохо организованное наступление, отсутствие взаимодействия между соединениями, отсутствие решительности со стороны офицеров, которые не выполняют возложенные на них боевые задачи.

ТРЕБУЮ:

а) незамедлительно увеличить скорость продвижения 1-й и 2-й гвардейских танковых частей;

б) командующие армиями, ведущими борьбу на линии фронта, должны покинуть свои наблюдательные посты и направиться в свои корпуса, дивизии и бригады. Оставаться в тылу, далеко от своих частей, строго запрещено...»

При написании этого приказа, думается мне, маршал Жуков еще не знал, что 1-й гвардейский мехкорпус генерала Кривошеина в 22.00 нашел слабое звено в обороне противника и прорвал последнюю линию обороны противника к северу от зееловской железнодорожной станции.

23.50, время московское. Еще один приказ маршала Жукова. На этот раз адресованный лично командующему 2-й гвардейской танковой армией. Я записал текст по памяти. В приказе были такие слова Жукова:

«2-й гвардейской танковой армии вменяется в обязанность историческая задача — первой ворваться в Берлин и водрузить красное знамя нашей победы на куполе рейхстага. Поручаю вам лично организовать выполнение этого приказа».

Потрясающе интересный приказ! — подумал я тогда. Зееловская полоса обороны все еще не полностью прорвана, а 2-й гвардейской танковой армии уже приказано водрузить над Рейхстагом красное знамя Победы.

...Что день грядущий нам готовит? Так, кажется, у Пушкина и в опере Чайковского?.. Я пытался снять волнение, вспоминая русских классиков...

19 апреля 1945 года

Ситуация стремительно меняется

Сегодня майор Заботин нам привез данные о потерях 19 апреля 1945 года: 8500 человек убито, ранено или пропало без вести; сожжено и подбито 110 танков и САУ; 86 танков и САУ подбиты и не подлежат ремонту; 18 танков и САУ застряли в болотах.

7.00, время московское. Снова артподготовка и снова авиабомбардировка третьей линии обороны противника. По их окончании по всей долине Одербруха слышится тысячеголосое русское «Ур-р-р-а!!!». Но очень скоро генерал Готхард Хейнрици со своими 88-миллиметровыми зенитными орудиями, минометами, крупнокалиберными пулеметами и фаустпатронами заставил наши войска на время умолкнуть и дожидаться еще одной артподготовки и еще нескольких налетов бомбардировщиков. Немецкие города и городишки по приказу Геббельса должны были превратиться в непроходимые крепости и крепостишки.

Во второй половине дня ситуация кардинально изменилась. Брешь, которую пробили танковые корпуса 1-й и 2-й гвардейских танковых армий, была расширена до такой степени, что в нее смогли устремиться почти все войска 1-го Белорусского фронта, сметая на своем пути остатки оборонительных сооружений противника. Сопrotивление

гитлеровских войск на Зееловской полосе обороны окончательно сникло. Не спасла их и яростная контратака оставшихся на ходу «Тигров» и «Пантер». Советские солдаты, захватившие на станции Зеелова склад фаустпатронов, быстро овладели ими и с их помощью успешно управлялись с контратаками немецких танков.

Но 1-му Белорусскому фронту, чтобы подойти к Берлину, еще предстояло преодолеть сотни противотанковых и противопехотных минных полей, глубоких противотанковых рвов и противопехотных заграждений, тысячи дотов и дзотов.

20 апреля 1945 года По дороге на Берлин

1399-й день Великой Отечественной войны. В это утро не было артиллерийской подготовки, огня 88-миллиметровых немецких зенитных орудий, минометов, пулеметов и разрывов фаустпатронов. Над нами пролетали на запад сотни советских бомбардировщиков, штурмовиков и истребителей.

Водитель нашего автобуса потратил около двух часов, пытаясь пройти сквозь гигантское «кладбище» тысяч и тысяч еще не захороненных трупов наших и немецких солдат и офицеров. Было много раскуроченных, сгоревших танков, вероятно с пеплом танкистов внутри. Там и сям виднелись изуродованные тягачи и пушки, пулеметы, автомобили.

У меня тогда сложилось впечатление, что наши потери в живой силе намного больше, чем немцев.

Нам предстояло выбраться на дорогу, ведущую к немецкому городку Бернау, находившемуся в 20 километрах севернее Берлина. В том направлении выступили все танковые корпуса нашей танковой армии.

В течение дня я подготовил для полковника Костина и начальника штаба армии генерала Радзиевского большую карту, где были показаны направления наступления соединений 1-го Белорусского фронта на Берлин.

На правом фланге фронта севернее Берлина вместе с нашей 2-й гвардейской танковой армией наступали:

47-я общевойсковая армия и 1-я армия Войска польского. В центре на Берлин наступали 3-я и 5-я ударные и 69-я общевойсковая армии, при поддержке двух отдельных танковых корпусов. На левом фланге фронта наступали на Берлин 8-я гвардейская, 1-я гвардейская танковая и 33-я общевойсковая армии.

Одновременно с 1-м Белорусским фронтом успешнее нашего на запад наступали войска 1-го Украинского фронта под командой маршала Ивана Конева. Правое крыло его фронта окружило и уничтожило значительную часть немецких 9-й и 4-й танковых армий. Коневу также предстояло взять южные пригороды Берлина: Темпельхоф и Потсдам, образуя вместе с 1-м Белорусским фронтом вокруг столицы Третьего рейха так называемый «кокон» (или, проще говоря, огромный котел). Левое крыло 1-го Украинского фронта тем временем направилось к городу Торгау на Эльбе, чтобы встретиться с американскими войсками и перерезать пополам гитлеровскую Германию.

На севере с успехом на запад наступали войска 2-го Белорусского фронта под командованием маршала Константина Рокоссовского.

Наш автобус остановился. Обед. Во время нехитрой полевой трапезы подполковник Андреенко сообщил нам, что сегодня, 20 апреля 1945 года, Адольфу Гитлеру исполняется 56 лет и что в этой связи артиллеристы 1-го Белорусского фронта отправили ему «подарки» — первые дальнобойные снаряды по Берлину.

Вечером Андреенко приказал мне надеть наушники и послушать, как отмечают немцы день рождения своего фюрера. Одна из первых немецких станций, которую я выловил в эфире, заканчивала передачу поздравлением Геббельса фюреру. Геббельс призвал весь немецкий народ сплотиться вокруг своего фюрера, так как он, «несмотря на все трудности, приведет Германию к победе». Ну и ну...

В 23.00 по московскому времени подполковник Андреенко объявил нам два очень важных приказа:

— Первый из них — от Верховного главнокомандующего товарища Сталина. Второй — от командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Жукова.

Я записал в свой блокнот оба приказа по памяти (возможно, не дословно):

«20 апреля 1945.

Командующим 1-м Белорусским и 1-м Украинским фронтами и членам военных советов:

1. В некоторых частях Германии, освобожденной Красной армией (к западу от устья реки Одер и к западу от реки Нейсе), необходимо создать немецкую администрацию и поставить мэрами городов немцев. Не следует арестовывать рядовых членов национал-социалистической партии, если они демонстрируют свою лояльность. Задерживать лишь нацистских лидеров, если им не удалось сбежать.

2. Улучшение отношений с немцами не должно приводить к снижению бдительности при более близком знакомстве с немцами.

*И. Сталин
Антонов».*

Маршал Жуков приказал:

«20 апреля 1945. 21.50.

Командующему 2-й гвардейской танковой армией С. Богданову:

2-й гвардейской танковой армии поручается историческая задача: быть первыми в Берлине со знаменем победы. Лично я поручаю вам: от каждого корпуса отправить лучшие бригады с задачей любой ценой прорваться на окраину Берлина со знаменами победы и не позднее 4.00 утра 21 апреля 1945 года сообщить об исполнении для доклада товарищу Сталину и средствам массовой информации».

...До чего же часто мне во время службы в советской Красной армии приходилось слышать и читать в приказах слова: «Любой ценой!» Насколько мне известно, маршал Рокоссовский никогда слова «любой ценой» не употреблял. Я буду очень удивлен, если выяснится, что я ошибаюсь относительно маршала Рокоссовского.

Когда Андреев читал приказ Жукова, я очень внимательно вглядывался в лица майора Заботина, майора Шустрова, капитана Троева и старшего лейтенанта Аны Липко. До чего же мне хотелось увидеть выражение лица командующего нашей армией И.С. Богданова, когда он читал этот приказ Жукова! Ведь он находился примерно в 30 километрах от Рейхстага.

21 апреля 1945 года **Пригород Науена**

1400-й день войны. Позади зееловский ад. Дорога на Бернау по сравнению с Одербрухом выглядела бы земным раем, если бы не масса воронок от снарядов, мин и авиабомб. По обеим сторонам дороги растут и начинают цвести груши и яблони. Их цветение напомнило мне настоящую весну. После смрада из дыма и пороха, после огня и крови дохнуло запахами земли, распускающихся цветов. Словно и не было войны: между деревьями летали и весело чирикали птички. Кажется, это были скворцы...

Андреев, сидевший в автобусе рядом с водителем, приказал ему остановиться. На правой стороне дороги подполковник заметил торчавший из окопа фаустпатрон. Все вышли из машины и увидели, что позади фаустпатрона лежал на спине в луже потемневшей крови мальчишка лет четырнадцати—пятнадцати со значком гитлерюгенда. Руки убитого были подняты, словно он намеревался сдаться. Полчерепа у него было снесено осколком снаряда или пулей. Неподалеку валялась стальная немецкая каска. Рано утром здесь, по этой дороге, прошел мехкорпус генерала Кривошеина. У него на броне тридцатьчетверок и «Шерманов» сидели отличные стрелки-десантники.

— Стрелял снайпер, разрывной пулей, — уверенно сказала Липко.

И никто ей не возразил, так как мы все знали, что она сама долгое время была на передовой классным снайпером, имела на счету более сотни фашистских солдат и офицеров.

Над полем летали, высматривая себе добычу, черные как смола вороны. И снова, как в Малом Тростинце, мне вспомнился верещагинский «Апофеоз войны». На этой картине изображено, как над горой человеческих черепов летают такие же черные, как и здесь, в пригороде немецкого города Науена, вороны.

Я предложил спустить в окоп тело немецкого мальчишки и прикопать. Но почти все уже отошли от окопа, забрав с собой фаустпатрон, осталась лишь Анна. Она согласилась мне помочь. Труп мы похоронили.

Бернау совсем не походил на неприступную крепость. Никаких дотов и дзотов, за которые так горячо ратовал рейхсминистр пропаганды колченогий доктор Геббельс, мы не встретили. На перекрестках кое-где стояли стеклянные или пластиковые телефонные кабины с аппаратами и свисавшими на тонких цепочках толстыми телефонными книгами. Кое-где во дворах бегали немецкие мальчишки, правда, значительно младше того мальчишки из гитлерюгенда. Когда автобус остановился возле котеджа, в котором помощник Костина по хозяйности предложил расположить разведуправление, все, кроме Андреевко, собрались возле прозрачной телефонной кабины, что было в диковинку для всех. Я вошел в кабину и снял трубку. Она, как ни странно, подала звук зуммера.

— Работает телефон! — удивленно воскликнул я.

Все были удивлены. Я поднял валявшуюся на земле телефонную книгу и раскрыл ее посередине. На странице оказались номера телефонов рейхсминистерства пропаганды и телефон приемной доктора Геббельса.

— Чудеса! — снова удивился я. — Здесь есть телефон Геббельса!

Ближе всех к телефонной кабине стояла Ана Липко. Мы встретились с ней взглядом — и поняли друг друга.

Я набрал номер телефона приемной, и в трубке тут же послышался молодой женский голос, сообщивший, мол, вас слушают.

— Hallo! Sagen sie mir bitte, Fraulein. Ist das Doktor Josef Goebbels' buro? (Алло! Скажите мне, пожалуйста, это канцелярия доктора Геббельса?) — спросил я.

— Ja (Да), — подтвердил женский голос.

Я повернул телефонную трубку так, чтобы Ана слышала и переводила разговор всем стоявшим возле кабины.

— Wer ruft an? (Кто звонит?) — спросили в трубке.

— Ich bin ein Amerikanischer freiwilliger in der Sowjetischen Zweiten Garde Panzerarmee und rufe an aus Bernau. Verstehen sie, was ich sage, Fraulein? (Я — американский доброволец в советской 2-й гвардейской танковой армии. Звоню вам из Бернау. Вы понимаете, что я вам сказал, девушка?)

— Ach, mein Gott, mein Gott! (Ох, боже мой, боже мой!) — повторяла она снова и снова.

— Gott ist nicht auf ihrer seite, Fraulein! Kaufen sie lieber einen strauss von roten rosen und dann treffen wir uns! Verstehen sie was ich ihnen sage, Fraulein? (Господь Бог вам не поможет, девушка. Бог не на вашей стороне, а на нашей! Вы лучше купите букет алых роз и встречайте нас! Вы меня поняли, девушка?)

— Ach, mein Gott, mein Gott! (Ох, боже мой, боже мой!) — снова запричитала невидимая собеседница.

Я повесил трубку, вышел из кабины и, подражая той немецкой дежурной рейхсминистерства пропаганды, повторил по-немецки: «Ach, mein Gott, mein Gott!» Все расхотались.

Поздно вечером, когда мы с капитаном Троевым остались в комнате вдвоем, он у меня спросил, знаю ли я, что 1-й Украинский фронт подошел к Берлину ближе, чем мы, 1-й Белорусский. Я ответил, что знаю.

— А ты знаешь, что случится с маршалом Жуковым, если маршал Конев повесит на куполе Рейхстага красный флаг Победы раньше?

— Что? — спросил я.

— Жуков пустит себе пулю в лоб.

— Да?

— Да! — подтвердил с нажимом Троев. — А знаешь, что бы случилось, если бы англо-американские войска взяли Берлин?

— Что же? — вновь спросил я.

— Сталин приказал бы пустить первую пулю в лоб Жукову, а вторую — Коневу.

Я помолчал. Потом спросил:

— А вы, товарищ капитан, не боитесь рассказывать такие анекдоты?

— Вам, Никлас, не боюсь, — последовал ответ.

— А майору Заботину не побоялись бы?

— Нет, не побоялся бы.

— А Липко Ане?

— Тоже не побоялся бы.

— А подполковнику Андреенку?

— Может быть, рассказал бы.

— А майору Шустрову?

— Нет-нет, Никлас, боже упаси! — встрепенулся Троев.

— Спасибо, товарищ капитан, за откровенный разговор, — поблагодарил я.

— Пожалуйста, Никлас. Вы все поняли? — Троев посмотрел мне прямо в глаза.

— Так точно, товарищ капитан!

27 апреля 1945 года

Шарлоттенбург, западная часть Берлина

Ночь я провел на дежурстве, в наушниках. Главное, что услышал, — это выступления Сталина и Трумэна.

И. Сталин:

«От имени Советского правительства я обращаюсь к вам, командиры и бойцы Красной армии и армий наших союзников. Победоносные армии союзных держав, ведущие освободительную войну в Европе, разгромили германские войска и соединились на территории Германии. Наша задача и наш долг — добить врага, принудить его сложить оружие и безоговорочно капитулировать. Эту задачу и этот долг перед нашим народом и перед всеми свободолюбивыми народами Красная армия выполнит до конца. Приветствую доблестные войска наших союзников, стоящие теперь на территории Германии плечом к плечу с советскими войсками и преисполненные решимости выполнить свой долг до конца».

Трумэн:

«Объединение наших войск в самом сердце Германии имеет большое значение для всего мира, и мир об этом

не забудет. Нации, которые смогли вместе планировать свои действия и вместе сражаться плечом к плечу, не смотря на барьеры в языке, коммуникациях и расстоянии, которые мы успешно преодолели, говорят о том, что они могут жить вместе и работать совместно... во имя мира».

Кроме этих двух замечательных заявлений по поводу встречи наших войск на Эльбе я услышал ночью по радио, что Москва салютовала этому историческому событию залпами из 324 артиллерийских орудий и что пышные торжества по этому поводу прошли на Красной площади в Москве и в США на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Я с таким восторгом докладывал обо всем этом подполковнику Андреенку, что сразу и не заметил, что он мрачнее тучи. По окончании рапорта позволил себе спросить:

— Что с вами, товарищ подполковник? Мне казалось, что я вам сообщаю замечательную новость, а у вас...

Он не дал мне закончить.

— Да, Никлас, — сказал он, — эта новость действительно превосходная. Но вот что ее омрачает. Прочтите это сообщение, — получили сегодня от наших людей с запада. — Подполковник подвинул в мою сторону пару страниц машинописного текста. Я сразу понял, «нашими людьми» он назвал советских агентов.

— Читайте вслух, Никлас, — предложил мне Андреенку.

И я стал читать что-то, показавшееся мне несуразным:

— «Русские — монголы. Они привыкли, чтобы ими управляли диктаторы от Чингисхана до Сталина. Не изменились и никогда не изменятся. И мы никогда не узнаем почему, пока не станет слишком поздно».

Дочитав, я вслух предположил:

— Это высказывание Геббельса?

— Нет, Никлас, ошибаетесь! — прозвучало в ответ. — Читайте следующий абзац.

И я его прочел тоже вслух:

— «Мы обещали европейцам свободу. И было бы очень плохо, если бы мы не сдержали своего слова. А это может означать войну с Россией».

Я мгновенно вспомнил агентурные данные о том, что премьер-министр Великобритании дал в начале апреля 1945 года приказ начальникам своих штабов о разработке операции внезапного удара по советским войскам — операции «Немыслимое». Согласно этому плану 47 английских и американских дивизий без объявления войны должны были нанести сокрушительный удар Красной армии. Этот удар должны были, согласно тем же данным, поддержать несколько немецких дивизий, содержащихся в Южной Дании нерасформированными, которых тренировали английские инструкторы. В этой войне против Советского Союза должны были участвовать также, согласно плану, Польша и Венгрия.

— Неужели это слова Черчилля! — воскликнул я.

— Нет, Никлас, снова ошибаетесь! — произнес Андреенко. — Читайте следующий абзац.

И я продолжил читать:

— «Они не имеют военно-воздушных сил... Я сам видел их жалкий транспорт. Это в основном телятники и повозки, запряженные избитыми старыми лошадьми или волами. Моя 3-я в одиночку с небольшим числом жертв может перебить этих русских за шесть недель!»

— Догадался! — рассмеявшись, воскликнул я. — Это сошедший с ума командующий 3-й немецкой танковой армией генерал Хассо фон Мантейфель!

— Нет, это говорит офицерам своего штаба ваш, Никлас, земляк. После Арденн этот американский генерал прославился тем, что в госпитале бил по лицу кулаком своих солдат за то, что они якобы уклоняются от участия в боевых действиях. Я говорю о командующем 3-й американской армией генерале Джордже Паттоне.

Последовала долгая пауза, во время которой подполковник Андреенко взял со стола еще один листок бумаги и сказал:

— А вот еще одно его изречение. Послушайте: «Американцы не понимают простого факта: русские не европейцы, они азиаты. У меня лично нет никакого желания понимать русских. Мне важно знать, сколько свинца или железа надо, чтобы убивать русских, так как все они су-

чи сыны, варвары и алкоголики!» — Андреенко посмотрел мне прямо в глаза и произнес: — Ну, Никлас, что вы мне на это скажете?

У меня потемнело в глазах, состояние мое было стрессовым. Если судить по передачам многих американских военных радиостанций, то о командующем 3-й американской говорилось много лестного, радиокomentаторы соревновались в комплиментах в его адрес. И тут мне пришла мысль, которой я решил поделиться с Андреенко:

— А вы не допускаете, что кое-кто из агентуры просто приписывает генералу Паттону этот бред сивой кобылы?

— Что же, по-вашему, план, который разрабатывают британские генералы по приказу Черчилля, — тоже бред сивой кобылы?

— Так точно, товарищ гвардии подполковник, — ответил я. Другого ответа у меня не нашлось.

Разговор с Андреенко меня озадачил...

28 апреля 1945 года

В наушниках на боевом посту

В моих наушниках — важные новости. Бенито Муссолини пойман при попытке бежать от правосудия вместе с группой немцев, направлявшихся в Альпы. Партизаны, остановившие колонну немцев, узнали дуче. Его и Клару вывели, немцев (по предварительной договоренности) отпустили. Диктатор и его любовница расстреляны и повешены в Милане, на автозаправке у Пьяцца Лорето, вверх ногами.

Радиокomentатор обращает внимание на то, что, когда их ставили к стенке, Муссолини распахнул пальто, показывая, что он не боится казни, а Петаччи пыталась собой заслонить его от пуль... Пожилая женщина подошла к висевшему Муссолини и выстрелила в труп из револьвера пять раз. «Это тебе за пятерых моих сыновей, погибших под Сталинградом», — гневно произнесла она. Еще одно свидетельство сосуществованию Любви и Войны...

(Кстати, впоследствии один из немцев, который ехал в одной колонне с итальянским диктатором, попал к нам в плен, его допрашивала Ана Липко.)

Очень рад возможности слушать любые радиостанции мира. Если бы я попытался делать это вместе с Батей при помощи найденной в землянке коротковолновой партизанской радиостанции «северок», меня бы наверняка вместе с моим командиром загребли смершевцы. Они могли бы меня обвинить в шпионаже в пользу американской разведки, как когда-то взяли на три года в ленинградские Кресты поляка по рождению Константина Рокоссовского.

Полковник Костин собрал офицеров нашего отдела и зачитал вслух приказ маршала Жукова, в котором командарм 2-й гвардейской танковой армии генерал-полковник Богданов С.И. обвинялся в том, что войска армии вместо стремительного наступления в направлении центра Берлина топчутся на месте в районе Шарлоттенбурга и станции метро «Тиргартен».

Полковник Костин приказал майору Заботину, майору Шустрову, капитану Троеву и старшему лейтенанту Ане Липко отправиться на передовую, в корпуса 2-й гвардейской танковой армии и в разведполк армии, чтобы установить истинную картину там происходящего.

В 23.45 я услышал по радио, что большое количество немецко-фашистских войск Берлинского гарнизона концентрируются в Тиргартен-парке, намереваясь всем составом прорваться сквозь плотное кольцо советских войск на запад. Американские и британские военные радиостанции сообщили: иллюзии Гитлера о спасении окончательно рухнули, когда ему доложили, что немецкая 12-я танковая армия генерала Венка, наступавшая по приказу фюрера с запада на выручку, остановлена советскими войсками на 21-м километре от столицы рейха; у Берлинского гарнизона на исходе все боеприпасы и продовольствие. Комендант гарнизона генерал артиллерии Вейдлинг заявил, что оборона Берлина не сможет продлиться более трех дней.

30 апреля 1945 года
На подступах к столице Германии. Немецкий мальчишка-фаустник

3.30, время московское. По сообщению мюнхенского корпункта американской военной радиостанции, войска США освободили немецкий концентрационный лагерь смерти Дахау. Обнаружены горы человеческих тел вблизи крематориев (похожую картину мы видели в польском Майданеке в июле 1944 года). Немецкие местные жители вблизи Дахау — взрослые и дети — занимались грабежом: обыскивали карманы в одежде трупов, камнями выбивали у них золотые зубы. Потрясенные увиденным, американские солдаты в ярости закричали: «Kill 'Em!» («Убей их!») и открыли огонь на поражение по местным жителям, убив около 80 гражданских немцев. Любой эсэсовец, попадавший на пути американским солдатам, расстреливался в упор. Казнены были и 122 эсэсовца, сдавшиеся в плен.

6.00. Совинформбюро подтвердило число уничтоженных и захваченных вражеских танков на Зеелах — 1500. Я открыл свой блокнот и прочитал запись: немецкий генерал Хейнрици на Зеелах располагал всего 525 танками, которые у него были на ходу. 19 апреля мы убедились, что далеко не все они остались на поле боя подбитыми или сожженными, часть из них явно ушла на юго-запад на соединение с немецкой 4-й танковой армией. Информационная война велась со всех сторон, в том числе и с нашей. Но особенно много лживой информации в последние дни войны сообщалось немецкими радиостанциями. «Совинформбюро не следовало бы подражать ведомству Геббельса», — подумалось мне. Но высказывать подобные мысли вслух, будучи и без них на крючке у Смерша (как сказал мне в свое время Батя), небезопасно, если я желаю вернуться на родину живым.

6.30. Сообщение из Италии на английском языке: «После трех недель переговоров немецкий гарнизон в Италии безоговорочно капитулировал. 22 немецкие ди-

визии и шесть итальянских фашистских дивизий (около миллиона человек) сложили оружие и вошли в лагерь для военнопленных».

Радио Би-би-си: в Вене Красная армия создала временное австрийское правительство; американские и японские войска на Окинаве «зашли в тупик»... Надо признать, довольно странная формулировка, подробности комментатор британской вещательной станции не объяснил.

Немецкая радиостанция из Гамбурга: в воскресенье, 29 апреля, в Берлине советник Вагнер был доставлен в рейхсканцелярию, где совершил свадебный обряд между фюрером и Евой Браун. Оба они поклялись, что они всецело арийского происхождения. Невеста подписалась как «Ева Гитлер».

7.30. Все четверо офицеров разведки благополучно вернулись. Майор Заботин, майор Шустров, капитан Троев и старший лейтенант Липко были очень уставшими. Не успев толком умыться и привести себя в порядок, они вошли в кабинет полковника Костина, чтобы доложить результаты своих наблюдений за передним краем корпусов и подразделений 2-й гвардейской танковой армии. В некоторых местах они принимали непосредственное участие в ожесточенных боях в квартале Берлин-Вестенд и районе Шарлоттенбург.

Я полагал, что полковник Костин даст сначала высказаться офицерам, прибывшим с передовой, но он неожиданно для меня произнес:

— Послушаем, что нового услышал сегодня ночью по радио старший лейтенант Никлас.

Почему «старший лейтенант»? Ведь на моих погонах всего две звездочки... Оговорился полковник?..

Я доложил о том, что услышал ночью в радиоэфире.

Потом докладывал майор Заботин. Я всегда любил слушать, как лаконично и конкретно, «без воды», майор излагает проверенные факты и вносит конкретные, рациональные предложения.

— На передовой, — начал Заботин, — вместе с танкистами 1-го мехкорпуса генерала Кривошеина я провел

более сорока часов, посетил все бригады, батальоны и роты на пути их наступления. Первое: чем ближе они выдвигаются к центру, тем плотнее становится оборона противника. Противник использует массивные железно-каменные, четырехметровой толщины баррикады, а также высокие старые здания со стенами метровой толщины. Входы и окна у немцев заделаны и превращены в амбразуры, через которые ведется снайперский, пулеметный, гранатометный огонь, а также стрельба фаустпатронами. Второе: все эти огневые средства находятся в таких зданиях с первого до верхнего этажа. Третье: на танках 1-го мехкорпуса катастрофически мало десантников-автоматчиков, которые могли бы поэтажно обезвредить такие здания. Мною установлено, что командиры танковых рот вынуждены на время останавливать свое продвижение вперед, оставлять в танке лишь по одному танкисту, в то время как остальные члены экипажа проламывают заделанные двери зданий и поэтажно зачищают дома. На это уходит много времени, и корпус теряет убитыми и ранеными ценные кадры. Предлагаю: потребовать от штаба 1-го Белорусского фронта направить незамедлительно в состав 1-го мехкорпуса одну мотострелковую дивизию или как минимум одну бригаду, которая должна заняться поэтажной зачисткой зданий и разрушением баррикад противника. Это сократит потери личного состава и боевой техники...

Следующей была Ана Липко, посетившая 12-й гвардейский танковый корпус в районе станции метро «Тиргартен». Липко доложила, что все бригады и подразделения 12-го гвардейского танкового корпуса, где она провела около сорока часов, «не топчутся на месте», а ведут интенсивные бои с ожесточенно сопротивляющимся противником.

— Прошлой ночью, — докладывала Ана, — 34-я гвардейская мехбригада захватила мост через канал Ландвер. Другие бригады следуют за 34-й, стремясь выйти к Тиргартен-парку. Все военнопленные, с которыми мне довелось беседовать, заявили, что группа противника, засевшая в парке, готовится во что бы то ни стало прорвать советское кольцо окружения и сдать в плен союзникам.

Страшатся возмездия... Простые граждане в Берлине голодают. Я видела, как в некоторых местах дети, старики и женщины толпами набрасывались на продуктовые магазины и ларьки. Убитую лошадь растащили по кускам за десять минут... Немки посылают своих детей к нашим полевым кухням, те просят у солдат кусочки хлеба, сахара, немного супа или каши... В районе метро «Тиргартен» вдоль улиц я видела повешенных на деревьях немецких военных и гражданских мужчин, женщин и подростков с табличками на груди: «Тот, кто был недостаточно храбр, чтобы драться, должен был умереть!» В местах, где не было деревьев, людей вешали на фонарных столбах. Людей казнили отряды фанатиков из СС.

На обратном пути в шесть утра, — продолжала Липко, — я случайно наткнулась на спящего в окопчике мальчишку. Лежал в обнимку с фаустпатроном. Я забрала у него фауст, когда он еще спал. Разбудила его и допросила. Оказалось, он был среди тех детей, которых доставили во двор рейхсканцелярии 20 апреля, в день рождения Гитлера. К ним вышел из бункера сам фюрер и вручил тем из них, кто на Зеелах поджигал фаустпатронами советские танки, Железные кресты. Я привела этого мальчишку сюда, у него может быть ценная информация.

— Очень хорошо! — похвалил полковник Костин. — Приведите его ко мне после того, как нам доложат майор Шустров и капитан Троев.

Первый доложил о положении дел в 9-м гвардейском танковом корпусе, а второй — о действиях разведполка 2-й гвардейской танковой армии.

Наконец Ана привела в кабинет Костина мальчишку-фаустника. Худой как тростинка, пытался стоять по стойке «смирно», но руки и ноги у него тряслись, он не знал, куда их деть.

Ана сказала ему что-то вполголоса, и он начал говорить.

— Ich heisse... (Меня зовут...) — начал он дрожащим голосом, — Гюнтер Винер...

Подросток рассказал о себе: родился в Берлине 11 августа 1931 года, в районе Лейпцигской площади — это в квартале от имперской канцелярии. Когда он упомянул

имперскую канцелярию, я заметил, что полковник Костин и подполковник Андреенко обменялись многозначительными взглядами.

— Рассказывай дальше, — строго велела мальчишке Ана Липко.

— 11 апреля этого года, — продолжил тот, — меня и двенадцать моих одноклассников, членов гитлерюгенда, зачислили в фауст-отряд фольксштурма.

Трясущимися руками Гюнтер вынул из нагрудного кармана книжку (удостоверение) члена гитлерюгенда, открыл первую страницу, потом вторую — со своей фотографией, именем и фамилией.

Подросток рассказал, что ни он, ни его одноклассники не хотели идти в фольксштурм, но у них не было выбора. Если мальчики его возраста прятались, их вылавливали и вешали на деревьях или фонарях, как предателей.

— Спросите его, — сказал подполковник Андреенко Ане Липко, — может ли он нам сейчас нарисовать план расположения рейхсканцелярии, ее двора и бункера, из которого выходил к ним фюрер? Спросите также, как далеко от Тиргартен-парка находится вход во двор рейхсканцелярии.

После того как Гюнтер дрожащими руками нарисовал все, что от него потребовали, Костин внимательно посмотрел на рисунок и затем передал его Андреенко.

— Все свободны до 10.00. А старший лейтенант Липко и мальчишка остаются здесь на некоторое время, — объявил нам полковник Костин.

Ровно в 10.00 я вошел в кабинет полковника Костина. Там уже сидели Заботин, Троев и Ана Липко.

— Садитесь, старший лейтенант Никлас, — сказал мне полковник.

Снова ошибся начальник или... или меня повысили в звании, ни слова мне сказав?

Все увидели удивление на моем лице и заулыбались. И я понял: действительно, теперь я — старший лейтенант.

— Петля вокруг логова фашистского зверья затягивается, — вновь заговорил полковник, — вокруг двух важнейших центров: Рейхстага и имперской канцелярии, во

дворе которой находится бункер фюрера. В 9.30 мы получили приказ разведуправления штаба фронта, подписанный генералом Трусовым, согласно которому мы должны сформировать особый отряд из наших наиболее опытных разведчиков и отправить его в сад рейхсканцелярии для поиска «крупной рыбы» — живой или мертвой. Командующий армией генерал-полковник Богданов приказал: отряд будет состоять из взвода самых опытных бойцов нашего разведполка, двух опытных саперов с овчарками-нюхачами, прошедшими обучение в Малаховке под Москвой, и четырех офицеров-разведчиков штаба армии. Генерал-полковник Богданов назначил майора Заботина командиром этого отряда особого назначения. Его заместителем назначен капитан Троев. Старший лейтенант Ана Липко несет ответственность за немецкого гида, а старший лейтенант Никлас будет осуществлять радиосвязь отряда с подполковником Андреенко — руководителем этой ответственной операции.

До 22.00, — продолжил полковник Костин, — вам предстоит внимательно ознакомиться с топографической картой местности вашего маршрута в направлении имперской канцелярии, а также со многими фотографиями и трофейными лентами кинохроники с главарями Третьего рейха.

22.00. Тремя бронетранспортерами МЗА1 отряд доставили к переправе через канал Ландвер, о котором упоминала Ана Липко в своей информации Костину. Лишь у переправы я с удивлением узнал, что так называемым немецким гидом будет у нас не кто иной, как Гюнтер.

Майор Заботин изложил четкий порядок нашего движения и время, когда мы должны начать движение попластунски от юго-западной окраины Тиргартен-парка вдоль Тиргартенштрассе до переулка, граничащего с садом имперской канцелярии.

— Впереди отряда двигаются, — объявил майор Заботин, — два сапера со своими собаками — нюхачами мин; на расстоянии вытянутой руки от них следуют Ана Липко и Гюнтер; за ними на таком же расстоянии следуют я и Никлас с портативной рацией; далее — взвод разведчи-

ков вместе со своим командиром; замыкает отряд капитан Троев. Большую часть маршрута будем двигаться по-пластунски под жестоким перекрестным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем. Справа от нас ведет огонь 8-я гвардейская армия генерала Чуйкова, слева в Тиргартен-парке — большая группировка противника, которая намерена прорваться на запад. Все ясно?

— Ясно! — за всех ответил капитан Троев.

— А теперь несколько слов для нашего гида Гюнтера, — сказал тихо и твердо майор Заботин. — Прошу перевести мои слова дословно: «Если ты, глупый фаустник, хочешь утром 2 мая увидеть своих маму и папу — не вздумай нас обмануть или ввести в заблуждение. Иначе вместо встречи с родителями ты встретишься с крупной пулей, выпущенной из вот этой штуки тебе в лоб. Понял?»

Ана перевела слово в слово.

— О нет-нет, я вас не обману и не подведу, герр майор, — испуганно залепетал Гюнтер.

Не успели мы приблизиться к Тиргартен-штрассе, как вдруг справа от нас заговорили минометы генерала Чуйкова. Мы залегли. Мины летели через наши головы в Тиргартен-парк. Оттуда последовал ответный, тоже минометный огонь и тоже через наши головы. Я думал: стоит кому-то из минометчиков чуть-чуть неточно направить мину, и она полетит не через наши головы, а прямо на них... Скольким из нас удастся увидеть сад имперской канцелярии?

1 мая 1945 года Возле Тиргартен-парка

Огонь минометов, начавшийся неожиданно, так же неожиданно прекратился. Но от места, где мы залегли, мы уже до полуночи не удалялись. Потом продолжили двигаться по-пластунски.

С наступлением 1-го Мая Заботин разрешил всем выпить по глотку чистого медицинского спирта из наших флагов.

— Твой отец рабочий человек? — спросила шепотом у Гюнтера Ана.

— Ja! — ответил немецкий пацан.

— Можешь хлебнуть из моей фляги за 1-е Мая, — разрешила ему Липко.

Он пригубил и закашлялся, зарывшись в рукав.

В час ночи мы вошли в небольшую лощину. Залегли отдохнуть.

— Связывайся с командиром, Никлас! — приказал Заботин.

— Есть! Что передать?

— Передать: «01.05.1+».

Связался, передал. Такие короткие сообщения ни один пеленгатор не засечет!

Вскоре пришел ответ: «15161-41171-186».

— Приказано продолжать, — доложил я Заботину.

Поползли дальше. Слева вспыхнуло огромное зарево, и тут же Чуйков открыл артиллерийский огонь по площадям в Тиргартен-парке. Противник не остался в долгу. Снова снаряды с двух сторон пролетают над нами. Хочется влипнуть в землю и лежать не двигаясь. Но мы так никогда не доберемся до сада имперской канцелярии, надо ползти вперед. Если мне суждено остаться живым после этого особо важного задания, смогу ли я маме, Майку, Кате или Валерику когда-нибудь объяснить, что это значит — ползти под перекрестным артиллерийским огнем час, два, три? Я думал: а что, если летящие навстречу друг другу снаряды или мины встретятся лоб в лоб прямо над нами? Страшно подумать!

Огонь со стороны 8-й гвардейской армии по Тиргартен-парку становился все интенсивнее. Парк отвечал тем же. Одна крупная мина (непонятно чья) разорвалась в последней шеренге взвода наших разведчиков: трое убитых и трое, включая капитана Троева, раненых. Ранения — мелкие осколочные. У капитана — в голову и шею. Перевязку всем троим сделала Ана. Ей помогал Гюнтер. Все трое раненых заявили Заботину, что могут двигаться вперед.

Убитых похоронили в воронке. Записку с фамилиями заложили в пустую флягу.

Полдень. Саперы со своими собаками на нашем пути обнаружили огромную яму.

— Связь, Никлас! — приказал Заботин.

— Вызываю! — ответил я. И через минуту: — Есть связь!
Текст?

— Текст, — сказал Заботин, — такой: «05.01.12+1».

Вскоре пришел ответ: два плюса.

— Перекур с дремотой до 13.00, — дал команду Заботин. — Никлас, включите рацию на прием!

— Включаю! — ответил я.

Надел наушники. В начале каждого часа Би-би-си давала новости. Услышал и перевел:

— «Русские водрузили красный флаг над Рейхстагом...»

Все мы хором, дружно произнесли три раза тихо: «Уррааа! Уррааа! Урррааа!»

— «...Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер при посредничестве графа Бернадота пытался связаться с фельдмаршалом Монтгомери и генералом Эйзенхауэром. Оба ему отказали».

— Найдите Москву, Никлас! — сказал Заботин.

Нашел. Застал окончание приказа Сталина, который зачитывал, если не ошибаюсь, Юрий Левитан. Развернул один наушник, чтобы слышали все:

— «...Приказываю: сегодня, 1 мая, произвести салют в столицах союзных республик, а также в городах-героях: Ленинграде, Сталинграде, Севастополе и Одессе — двадцатью артиллерийскими залпами. Да здравствует наша могучая Советская Родина! Да здравствует великий советский народ, народ-победитель! Да здравствуют победоносные Красная армия и Военно-морской флот! Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины! Вперед, за окончательный разгром гитлеровской Германии!»

Заботин разрешил всем, как он выразился, «принять на грудь» по глотку спирта. Саперы покормили своих четвероногих помощников-нюхачей.

В 13.00 мы продолжили двигаться вперед, в основном по-пластунски. В 21.00 оказались рядом с перекрестком, по которому били советские «Катюши» 8-й гвардейской.

Это было ужасно, ни описать, ни рассказать словами. Конец света! Настоящий ад! Их залп во сто крат страшнее бомбежек или обычных артобстрелов.

В 23.30 мы достигли сада рейхсканцелярии, где слышались непрерывные разрывы гранат, автоматные, пулеметные очереди и душераздирающий ор рукопашного сражения. Но нам приказано в бой не вступать. Вблизи Герман-Геринг-штрассе, четко обозначенной на рисунке Гюнтера, для нашей временной базы нашелся подвал разрушенного авиабомбой огромного здания с метровой толщины стенами. В подвале над нами козырьком навис большой кусок пола первого этажа.

2 мая 1945 года

Возле рейхсканцелярии

00.10.

— Связь! — приказал Заботин.

Я послал в эфир позывные и QRK (вопрос).

— Готов, — громко докладываю Заботину.

Он мне в ответ:

— Шифруй: «В саду идет жестокий бой. Ваше решение?»

Я передал шесть групп цифрами: «31751-99519-18214-93122+61662-26196 QRK».

Через минуту поступил ответ: «7518!» — и после паузы: «17111-92194-11219+144».

— Приказано ждать, — кричу сквозь гул и грохот Заботину. — И слушать Гамбург.

— Переходите на прием Гамбурга! — следует приказ Заботина.

По радио не только из Гамбурга, но и со всех немецких радиостанций звучит музыка Вагнера. Потом — барабанный бой и вслед за ним — национальный гимн Германии. А после всего этого — заявление гроссадмирала Дёница. Я его записал на слух и перевел «с листа» для Заботина:

— «Наш фюрер Адольф Гитлер умер сегодня днем на своем командном пункте в рейхсканцелярии, борясь до

последнего вздоха против большевизма. 30 апреля 1945 года фюрер назначил меня своим преемником. Моей главной задачей является сохранение немецкого народа от уничтожения руками большевиков. Для этого война будет продолжаться... Мне необходимо заручиться вашим доверием, потому что ваш путь — мой путь... Если мы сделаем все, что сможем, то всемогущий Бог не оставит нас, ибо мы так много страдали и принесли так много жертв...»

Я переключился на русскоговорящее радио и сразу понял, что гроссадмирал Дёниц врет. Гитлер не умер 1 мая 1945 года на своем «командном пункте», он и Ева Браун покончили жизнь самоубийством 30 апреля 1945 года.

Жестокая автоматная стрельба и разрывы гранат в саду рейхсканцелярии стали затихать. Майор Заботин тут же отправил на разведку в сад командира взвода разведчиков и двух его солдат.

— Полчаса туда, полчаса там и полчаса назад, — дал команду Заботин.

Затихающей стрельбой воспользовался Гюнтер. Он подошел ко мне и жалобным тоном спросил:

— Herr Nicholas, habe ich ehrlich die aufgabe beendet, die sie mir gegeben haben? (Я честно выполнил все, что мне было поручено выполнить?)

— Ja, ja, Gunther, du bist ein guter junge. (Да-да, Гюнтер, ты молодец.)

— Danke, Herr Nicholas, — заискивающе поблагодарил Гюнтер и добавил: — Darf ich Herr Major fragen, ob ich jetzt nach hause gehen kann? Ich weiss nicht ob meine Mama und meinen Papa am leben sind (Можно мне попросить господина майора, чтоб он меня отпустил домой увидеть, живы ли мои мама и папа?)

— Du kannst, Gunther, du kannst. Aber es ist besser, wenn ich es für dich tua. (Можешь, Гюнтер, можешь. Однако лучше, если сделаю это я.)

— Vielen dank, Herr Nicholas! (Спасибо большое, господин Никлас!)

— Товарищ майор, — обратился я к Заботину, — мне кажется, этот Гюнтер выполнил все, что мы от него потребовали. Он даже помог Ане перевязывать наших ране-

ных. Что, если мы позволим ему вернуться домой? Он хочет увидеть, живы ли его мама и папа.

— Это отличная идея, товарищ майор! — услышав наш разговор, подключилась Ана. — Пусть Гюнтер пойдет домой, товарищ майор. Пожалуйста!

Майор Заботин наконец улыбнулся и протянул Гюнтеру свою огромную, как у моего отца-сталевара, руку и сказал:

— Держи!

Гюнтер смутился. Он не понимал, что майор Заботин имеет в виду.

— Dies ist für Einen händedruck (Это для рукопожатия), — объяснила ему Анна, и он протянул майору свою тоже. Через секунду Гюнтер аж присел от боли: рука у майора была как-железная перчатка — такая же в свое время была у моего Пап.

— Хорошо, — сказал мальчишке майор Заботин. — Ступай и знай наших!

Ана перевел эти слова, и Гюнтер воскликнул:

— Danke, Herrn! Vielen Dank! (Спасибо, господа! Большое спасибо!)

Мальчишка бросился бегом прочь и словно растворился в темноте. Доберется он домой живым и увидит ли он своих маму и папу живыми? — думал я. Что он им расскажет о советской Красной армии в Берлине?

— Зря отпустили! — с досадой произнес один из раненых разведчиков. — Они сожгли живьем моих родителей!

— А моих расстреляли в Киеве, — со вздохом добавила Ана.

Но я понимал: мои уставшие от войны боевые товарищи просто зло ворчали, никто не хотел, чтобы глупый малолетний фаустник был расстрелян.

3.00. Вернулись три наших разведчика. Но их ждали раньше.

— Что вас задержало? — встретил их раздраженным вопросом майор Заботин.

Один из разведчиков, лейтенант, начал рассказывать:

— До входа в рейхсканцелярию мы двигались по саду только по-пластунски. Сплошные воронки, сотни убитых... наших и не наших. Двери в канцелярии чуть открыты. Заглянули, внутри было довольно светло. Видим: двое наших солдат с автоматами ППШ охраняют немцев, лежащих на мраморном полу лицом вниз. «Вы кто?» — спросили солдаты, вскинули на нас автоматы. Отвечаем: «Разведка, 2-я гвардейская танковая Богданова». Они автоматы опустили. Мы задаем вопрос: «А вы чьи?» — «5-я ударная Берзарина». Мы: «Так это вы штурмовали?» Отвечают: «Кто же еще? Два батальона. Половина наших полегло». Потом мы спросили, кто это на полу лежит, нашивки у них странные. Отвечают: «Это эсэсовцы. Один немецкий и восемь французских. Приказано всех доставить живьем Берзарину». Потом попросили нас помочь связать пленных.

— Неужто французские эсэсовцы? — спросил капитан Троев.

— Мы тоже удивились, — отвечал лейтенант. — Но потом к нам подошел офицер, переводчик из 5-й армии, и подтвердил — да, мол, это так. Батальон французских СС охранял территорию сада. Спрашиваем: «Фрица тоже доставите Берзарину?» Отвечает переводчик: фриц утверждает, что он из охраны фюрера. Немец рассказал, что Ева отравилась цианистым калием, а Гитлер застрелился. Их обоих и овчарку Блонди отнесли в глубокую воронку вблизи бункера, облили четырьмя канистрами бензина и сожгли...

— Вы сами бункер видели? — спросил лейтенанта майор Заботин.

— Нет. Вход разворочен минами или крупнокалиберным снарядом.

— Хорошо! Молодцы, отдыхайте, — сказал разведчикам Заботин. — Как только начнет светать, отправляемся туда на поиски живых или мертвых главарей. Если найдем, то наш марш-бросок будет не напрасным.

4.30. Мы не без труда «перелезли» через Герман-Геринг-штрассе, заваленную бетонными глыбами. Трасса была разворочена минометами, завалена грудой орудий-

ных гильз разного калибра, оружием, множеством неубранных трупов советских и немецких солдат. Было видно, что вокруг правительственного квартала шли ожесточенные и кровопролитные сражения. Поблизости все еще слышались орудийные и пулеметные очереди.

Мы приблизились к тому месту, где у Гюнтера на рисунке значились «зеленые ворота», и вошли на территорию сада рейхсканцелярии, который сейчас правильнее было бы назвать кладбищем. Повсюду виднелись взорванные и обгорелые стволы деревьев, обломки тяжелого вооружения, развороченные минометы и пулеметы, канистры и консервные банки и, наверное, не менее двух сотен погибших советских и немецких солдат. В воздухе, несмотря на мелкий холодный дождь, пахло порохом, кровью, дымом и горелым мясом. Были видны следы рукопашных схваток. В одной глубокой воронке от авиабомбы мы с майором Заботиным увидели лежащих чуть ли не в обнимку советского и немецкого солдата. Узнать, кто из них чей, можно было лишь по обуви и оружию. С одной стороны лежал ПППШ — 7,62 миллиметра, с другой — «Шмайссер MP38» — 9 миллиметров. Воронки от авиабомб, артиллерийских снарядов и крупных минометов служили последним пристанищем в последнюю военную ночь в Берлине для более, наверное, чем двухсот молодых людей различных национальностей. Мы ползали от воронки к воронке и всматривались в мертвые лица и профили, особенно тех, кто лежал в военной форме с погонами высокого ранга, и тех, кто был одет в гражданский костюм.

В 6.00 вокруг нас и вдалеке наступила странная, неслыханная многие годы на фронтах тишина. Заботин насторожился и сказал:

— Включите приемник, Никлас. Что-то странное происходит.

Я включил и, как иногда бывает, попал на станцию, работавшую очень близко от нас. Диктор сказал что-то мне непонятное по-немецки и сразу после этого перешел на русский с немецким акцентом. Я сразу повернул один из наушников так, чтобы Заботин мог слышать:

— «Солдаты, офицеры и генералы! На тридцатый день апреля фюрер покончил жизнь самоубийством, предоставив нас, давших ему нашу клятву, самим себе. Вы уверены в том, что по приказу фюрера мы все еще должны бороться за Берлин? Ведь нам не хватает тяжелого оружия, боеприпасов и продовольствия, что делает нашу дальнейшую борьбу бессмысленной. Каждый час нашей борьбы увеличивает ужасные страдания гражданского населения Берлина и наших раненых. Каждый, кто умирает сейчас в Берлине, в настоящее время напрасно приносит себя в жертву.

Таким образом, от имени Верховного командования советских войск, я призываю вас прекратить сопротивление немедленно».

Диктор сообщил, что был зачитан приказ Хельмута Вейдлинга, генерала от артиллерии, командующего обороной Берлина.

2 мая 1945 года

Находка на территории рейхсканцелярии

— Что будем делать, товарищ майор? — спросил я.

— Продолжать поиск, — твердо сказал Заботин.

В 7.00 майор Заботин остановился возле обгоревшей пары: трупов полной женщины и тощего мужчины. Я тоже подошел к ним.

— Они? — спросил меня Заботин.

— Кто? — не понял я.

— Фюрер и Ева?

Я долго всматривался в обугленные трупы. Потом вспомнил о Блонди и вслух произнес:

— А где собака?

Присмотрелся внимательнее к мужчине и чуть ли не крикнул:

— Геббельс!

Я обошел вокруг и, на этот раз не удержавшись, крикнул:

— Магда и Геббельс!

Подошли наши товарищи, тоже стали вглядываться.

— Посмотрите, — продолжал я тем временем, — у него ортопедическая обувь и вместо кости железка. А профиль: яйцеобразный череп.

— У Магды партийный значок, — произнесла Ана Липко. — Мы его видели крупным планом в хронике, которую нам показывали.

— Это точно Геббельс и Магда! — сказал капитан Троев.

— Никому ничего не трогать! — приказал майор Заботин. — Никлас, пройдите по Зеленому выходу и дайте открытым текстом: «Обнаружили Геббельса и его жену Магду! Ждем ваших указаний». Повторите это несколько раз.

— Есть!

Я ушел к тому месту, через которое мы все вошли в сад, и начал передавать открытым текстом то, что было мне приказано. В это время в сад вошла еще одна группа разведчиков. Такие же измученные и грязные с ног до головы — тоже, наверное, ползли по-пластунски...

Вдруг из здания рейхсканцелярии в так называемый сад вышла большая группа довольно чисто одетых и вооруженных до зубов советских солдат и офицеров. Даже издали было хорошо видно, что по-пластунски и по грязи они не ползали. Впереди большой группы — генерал, рядом с ним офицер с рупором, а также мужчина в гражданском и женщина в берете и военной форме. Офицер прокричал в рупор:

— Внимание! Внимание! Всем офицерам и солдатам незамедлительно... повторяю: не-за-мед-ли-тель-но покинуть территорию рейхсканцелярии!

Майор Заботин, капитан Троев и Ана Липко находились ближе к вошедшим, чем был я. Они, очевидно, сразу поняли, что за группа вошла в сад. У меня было впечатление, что Заботин хотел подойти к генералу, но одумался, пронзительно, как атаман, свистнул и громким командным голосом приказал всем нашим:

— За мной!

Когда я с ним поравнялся, он спросил:

— Передать успели?

— Так точно, три раза.

— Ответ был?

— Нет.

А потом он негромко пробормотал, будто самому себе:

— С ними спорить, что... ссать против ветра!

Мы поняли, что это были люди из Смерша.

— Куда идем, товарищ майор? — спросила Ана Липко.

— К Рейхстагу и к Бранденбургским воротам. Туда должен подойти корпус Кривошеина.

Возле Рейхстага — солдаты, матросы, летчики, танкисты, пехотинцы, сержанты, офицеры, генералы. Связистки и регулировщицы, снайперши, санитарки и врачи.

Только не было здесь моей любимой Принцессы Оксаны...

Стены и колонны Рейхстага буквально облепили солдаты и офицеры. Всем им хотелось оставить на нем свой автограф на всех языках Советского Союза.

— На каком же языке мне оставить свой автограф? — спросил я у своих, ставших мне родными, товарищей по оружию — Заботина, Троева и Аны Липко.

Они чуть ли не хором ответили:

— На английском, конечно!

— Вы, Никлас, можно сказать, здесь сейчас единственный представитель американского народа!

— Уговорили!

Пишу осколком снаряда крупными буквами:

**Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A. — Makeevka, Donbass,
Ukraine — Aktyubinsk, Kazakhstan — Berlin, Germany.**

2 May 1945 Nicholas

Не успел я окончить свою писанину, как по плечу меня кто-то хлопнул мощной рукой. Обернулся: передо мною был он! Жихарев!

— Жив?!

— Жив, как видишь! — весело ответил Жихарев. — Пойдем к моему танку!

Командирский танк Жихарева стоял прямо у Рейхстага.

— Коричневый планшет! — приказал Жихарев своему механику-водителю.

Тот подал ему планшет из натуральной кожи, похоже трофейный.

— Держи! — сказал мне Батя громко. А потом добавил вполголоса: — ...со всеми твоими блокнотами, Никлас.

Мы крепко-крепко, по-мужски, обнялись и долго не выпускали друг друга из объятий. ...И вдруг Жихарев стал тяжело сползать вниз.

Вокруг закричали:

— Вон из того, второго с краю, окна на втором этаже!

Пушка одного из танков Жихарева выстрелила по тому окну.

...Тяжелораненый Жихарев лежал у моих ног. Я бросился перед ним на колени, прижался своей небритой щекой к его небритой щеке. Он прошептал:

— Выгаци из моего кармана фотокарточку моей Аллочки... дочери... Она же еще несовершеннолетняя... балерина... какого-то ансамбля песни и пляски... Будь ей опекуном...

— Я найду ее, Батя! Найду! Честное слово!

— Я тебе верю, Ник... Ник...

Это были его последние слова. Я взял у него фотографию, еще не зная, что на ней изображена моя будущая жена и мама моего сына. Все это — впереди, все это еще будет. Как будут и годы службы в оккупированной Германии. А пока — я, американский доброволец в Красной армии, дошел до Берлина и оставил свой победный автограф на стене поверженного Рейхстага.

Все эти фронтовые годы меня сопровождала не только война, но и Любовь. Любовь и война шли в одной парадоксальной, трагической связке.

Наверное, Любовь сберегла меня на войне.

Бурлак Никлас Григорьевич
АМЕРИКАНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ
В КРАСНОЙ АРМИИ

На Т-34 от Курской дуги до Рейхстага.
Воспоминания офицера-разведчика
1943—1945

Ответственный редактор *А.Ю. Безугольный*
Художественный редактор *Е.Ю. Шурлапова*
Технический редактор *Н.В. Травкина*
Корректор *М.Г. Смирнова*

Подписано в печать 18.02.2013.
Формат 84×108^{1/32}. Бумага типографская. Гарнитура «Ньютон».
Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,8.
Уч.-изд. л. 15,68 + вклейка = 16,11.
Тираж 3 000 экз. Заказ № 1622.

ЗАО «Издательство Центрполиграф»
111024, Москва, 1-я ул. Энтузиастов, 15
E-MAIL: CNPOL@CNPOL.RU

WWW.CENTRPOLIGRAF.RU

Отпечатано в ОАО «Рыбинский Дом печати»,
152901, Ярославская обл., г. Рыбинск, ул. Чкалова, 8
e-mail: printing@yarosavl.ru www.printing.yarosavl.ru

Георгий Пшеняник

КРАХ ПЛАНА «ЭДЕЛЬВЕЙС»

СОВЕТСКАЯ АВИАЦИЯ
В БИТВЕ ЗА КАВКАЗ

Автор этой книги Георгий Андреевич Пшеняник — непосредственный участник битвы за Кавказ, в 1942—1943 гг. занимавший должности начальника штаба 88-го истребительного авиационного полка, а затем — старшего офицера и начальника отделения по использованию опыта войны штаба 4-й воздушной армии. Используя собственный командно-штабной опыт, а также многочисленные примеры боевой работы советских летчиков, автор анализирует вопросы организации боевых действий авиации в оборонительных и наступательных операциях Красной армии, проведенных на Северном Кавказе в период с июля 1942 по октябрь 1943 г. В книге рассказывается о деятельности командования авиационных объединений, соединений и частей, принимавших участие в сражениях за Кавказ. Это первое в отечественной военно-исторической науке обобщающее исследование, посвященное участию советской авиации в битве за Кавказ.



Переплет, формат 133×206 мм, объем 384 с.

Алексей Тимофеев

СОВЕТСКИЙ АС АЛЕКСАНДР КЛУБОВ

ГВАРДЕЙЦЫ ПОКРЫШКИНА ПРОТИВ
ПИЛОТОВ ЛЮФТВАФФЕ

Именно Александр Клубов был лучшим в 9-й гвардейской истребительной авиадивизии, которая в жестоких боях над Яссами в мае—июне 1944-го безоговорочно сломила последнюю попытку люфтваффе вернуть себе господство в воздухе. За неделю боев гвардии капитан Клубов сбил 9 немецких самолетов. А ведь здесь были и пикировщики Ю-87 Руделя, и знаменитая 52-я истребительная эскадра, в которой воевали самые результативные немецкие асы Эрих Хартман и Герхард Баркхорн. Даже среди легендарных гвардейцев-покрышкинцев Клубов выделялся мастерством, аналитическим умом,

физической мощью и отвагой, а также общей эрудицией, увлечением классической поэзией. Дважды Герой Советского Союза А.Ф. Клубов отличился в боях на Кавказе и на Кубани, на юге Украины и в Польше. На его официальном счету — 31 победа в воздухе. Погиб летчик в авиакатастрофе в ноябре 1944-го. Командир дивизии, трижды Герой Советского Союза А.И. Покрышкин проникновенно сказал в своих мемуарах: «В моей жизни Клубов занимал так много места, я так любил его, что никто из самых лучших друзей не мог возместить этой утраты. Он был беззаветно предан Родине, авиации, дружбе, умный и прямой в суждениях, горячий в споре и тонкий в опасном деле войны».

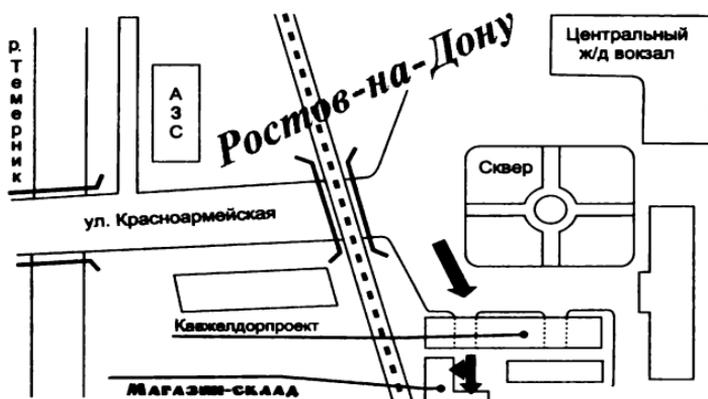


Фирменные магазины «Издательства Центрполиграф»

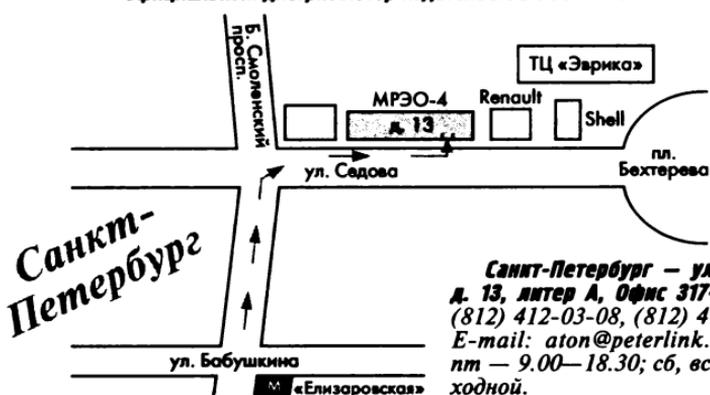


Москва – ул. Октябрьская, д. 18, тел. для справок: (495) 684-49-89, мелкооптовый отдел – тел. (495) 684-49-68; пн–пт – 10.00–19.00, сб – 10.00–17.00, курьерская доставка книг по Москве.

Ростов-на-Дону – Привокзальная пл., д. 1/2 (мелкооптовый отдел), тел.: (8632) 38-38-02; пн–пт – 9.00–18.00.



Официальный дистрибьютор издательства ООО «АТОН»



Санкт-Петербург – ул. Седова, д. 13, литер А, Офис 317-А, тел.: (812) 412-03-08, (812) 412-79-13. E-mail: aton@peterlink.ru. Пн–пт – 9.00–18.30; сб, вскр – выходной.

НА ЛИНИИ ФРОНТА

ПРАВДА О ВОЙНЕ

Никлас Бурлак

АМЕРИКАНСКИЙ ДОБРОВОЛЕЦ В КРАСНОЙ АРМИИ

**НА Т-34 ОТ КУРСКОЙ ДУГИ ДО РЕЙХСТАГА.
ВОСПОМИНАНИЯ ОФИЦЕРА-РАЗВЕДЧИКА**

1943—1945

В ваших руках удивительное свидетельство о Великой Отечественной войне — воспоминания американского гражданина Никласа Бурлака, волею судьбы с семьей оказавшегося в 1930-х годах в Советском Союзе и разделившего горькую судьбу нашей страны в 1940-х. Автор несколько раз был тяжело ранен, дважды терял в бою экипаж своей тридцатьчетверки. Он уверен, что жизнью своей обязан большой любви, неожиданно встреченной им в совсем неподходящей для этого военной обстановке, но однажды трагически оборвавшейся. Никлас Бурлак прошел через крупнейшие сражения второй половины Великой Отечественной войны — Курскую битву, освобождение Белоруссии и Польши, взятие Берлина. В мае 1945 года он, как и многие советские воины, на стенах Рейхстага кратко описал свой путь от родного дома до логова врага. У Никласа Бурлака надпись начиналась очень необычно для советского офицера: «Bethlehem, Pennsylvania, U.S.A.». В США эту замечательную книгу в 2010—2012 годах автор издал под именем М.Дж. Никлас, увековечив в псевдониме память двоих своих братьев Майка и Джона, также хлебнувших все «прелести» советской жизни.

ISBN 978-5-227-04323-8



ЦЕНТРОЛИГРАФ®